В. М. Живов

ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ XI-XIII века

STUDIA PHILOLOGICA

STUDIA PHILOLOGICA

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА
ИМ. В. В. ВИНОГРАДОВА

В. М. Живов

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ XI–XIII века

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2006

ББК 63.3(2)4
Ж 67

Живов В. М.

Ж 67 Восточнославянское правописание XI—XIII века / РАН; Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. — М.: Языки славянской культуры, 2006. — 312 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 5-9551-0154-3

Сборник включает серию работ, посвященных проблемам правописания в восточнославянских рукописях XI—XIII в. Исследуются принципы, которым следовали писцы при копировании церковнославянских текстов. Сопоставляются принципы некнижного письма, которым пишут те, кто учился читать, но не учился профессионально писать и которое представлено прежде всего в берестяных грамотах, и книжного письма, которым пользовались профессионалы. Рассматриваются условия профессиональной книжной деятельности, соотношение орфографии, орфоэпии и живого произношения писцов. Особое внимание уделяется орфографическим правилам, которые употребляли книжные писцы, исследуются возможности реконструкции этих правил. Анализируются как общие проблемы орфографической нормы XI—XIII вв., так и несколько частных проблем (отражение на письме палатальных сонорных, правописание рефлексов **er* и т. д.).

Книга представляет интерес для историков славянских языков и специалистов по истории письменной культуры славян.

ББК 63.3

В оформлении переплета использована иллюстрация из:
Типографский Устав: Устав с кондакарем конца XI — начала XII века, л. 47 об.

ISBN 5-9551-0154-3

Содержание

Предисловие

Данный сборник составлен из статей разных лет, посвященных восточнославянскому правописанию XI—XIII века. Некоторые из них были опубликованы в труднодоступных изданиях, что и побудило меня предпринять эту перепечатку. Перепечатываемым статьям предпослана новая работа, в которой я постарался подвести некоторый итог моим исследованиям в данной области. Хотя вошедшие в сборник статьи посвящены разным явлениям, характерным для правописных практик древней Руси, они объединены единым подходом к изучению языковых особенностей восточнославянских рукописей. Этот подход развивает концепцию Н. Н. Дурново, согласно которой правописная практика определяется орфографической системой писца, а не написаниями оригинала, который он копирует, или его собственным живым произношением. Основная проблема состоит, на мой взгляд, в том, как именно и за счет чего формируется орфографическая система писца, какие ее параметры являются общепринятыми и нормативными, а какие могут быть отнесены на счет индивидуального выбора пишущего.

Язык в этой перспективе предстает не как абстрактная система, а как набор инструментов, используемых пишущим в определенных целях. Инструменты могут быть более простыми и более сложными. К простейшим инструментам относятся те, овладение которыми происходит при обучении грамоте (чтению по складам). В этой связи встает вопрос о том, какие соотношения между звуками и буквами задавались этой процедурой, каков был состав складов (и состав азбук), как умения, полученные при обучении чтению, трансформировались в навыки письма. Этот вопрос, затрагиваемый почти во всех статьях

сборника, приобрел совершенно новые очертания в результате изучения берестяных грамот, позволившего А. А. Зализняку говорить об особой бытовой (некнижной) системе письма. При сопоставлении книжного письма с бытовым стало особенно очевидным, до какой степени книжная правописная практика зависела от использовавшихся книжными писцами орфографических правил. Орфографические правила представляют собой достаточно сложный инструмент языковой деятельности. Реконструкция этих правил, определение того, как они применялись, какие писцы владели ими, а какие нет, — это едва ли не основной сюжет публикуемых статей.

Статьи перепечатываются без существенных изменений и дополнений, хотя сейчас я бы ряд тезисов сформулировал иначе (например, те положения, в которых используется понятие диглоссии). Благодаря исследованиям последних лет существенно мог бы быть расширен и материал, который послужил основой для сделанных в публикуемых работах выводов; новый материал их подкрепляет, хотя никак принципиально не меняет линии аргументации. Осведомленный читатель без особого труда сможет сам приобщить эти новые данные к тем, которые приводятся в вошедших в сборник статьях. В приложении печатается статья о Н. Н. Дурново и его идеях в области исторической русистики — как дань памяти замечательному ученому, труды которого и до сего дня остаются определяющими для всей проблематики истории восточнославянского правописания.

Изменения в основном коснулись библиографических данных. То, что в момент публикации было в печати, теперь давно напечатано, так что появилась возможность дать точные библиографические указания. Я снабдил также старые ссылки на труды Н. Н. Дурново по истории русского языка (часто малодоступные) новыми библиографическими указаниями, отсылающими к собранию его трудов в этой области, изданному в 2000 году.

Москва, август 2005 г.

Норма, вариативность и орфографические правила в восточнославянском правописании XI—XIII века *

Нормативность и вариативность. Письменные языки славянского средневековья радикально отличаются от современных письменных (литературных) языков степенью допустимой вариативности на орфографическом и морфологическом уровнях. В церковнославянских рукописях чуть ли не каждая форма представлена в нескольких возможных графических вариантах, отражающих и возможные различия в произношении, и различия в орфографических принципах, и различный выбор вариантных морфологических показателей. При сопоставлении с тщательно стандартизованными современными литературными языками, в которых вариативность сведена к минимуму, ситуация в церковнославянских текстах производит впечатление полного разнобоя, в котором просматриваются лишь зачаточные формы упорядоченности. Это впечатление побуждает ряд исследователей говорить о том, что в церковнославянском узусе раннего периода вообще отсутствовала книжная норма (Ворт 1978). Мне такая точка зрения представляется неоправданной, во всяком случае если понимать норму достаточно широко, не отождествляя ее со стандартизованностью современных литературных языков.

О наличии нормы (представлений о правильности лингвистических форм) однозначно свидетельствуют многочисленные исправления в дошедших до нас рукописях: если рукопись

---

* Автор глубоко признателен А. А. Пичхадзе и Б. А. Успенскому, прочитавшим эту статью в рукописи и сделавшим ряд ценных замечаний.

правится, это значит, что писец заменяет неправильные с его точки зрения элементы на правильные, т. е. обладает представлением о норме и проводит эти представления в своей языковой практике. Лингвистические исправления являются постоянным элементом книжного дела в древней Руси, во многих случаях они осуществляются вполне последовательно, так что нормализация — это обычный, а не исключительный феномен языковой установки восточнославянских книжников. В рукописях XII—XIV вв. встречаются приписки, в которых писец в виде жеста самоуничижения просит прощения за то, что он писал, но не исправлял, и обращается к читателю с просьбой исправить его огрехи, не осуждая его; тем самым правка при списывании рассматривается как естественная составляющая процесса профессионального копирования, в том числе, видимо, и правка орфографическая[1].

В большинстве случаев мы можем лишь реконструировать этот процесс рекуррентной перелицовки. Эта реконструкция дает нам возможность объяснить формирование орфографических систем, характерных для разных периодов истории церковнославянского языка, как кумулятивный эффект последовательно проводившихся правок. Писец, переписывающий оригинал предшествующего периода, приводит его правописание в соответствие с нормами своего времени. Он может это делать не вполне последовательно, и тогда его продолжатель (или продолжатели), производя следующие списки, довершают его дело. Замечу, забегая вперед, что кумулятивный характер этого процесса указывает на зависимость между последовательно-

---

[1] См. весьма красноречивую запись писца Тимофея на Лобковском прологе 1282 г.: «**а ци кто хъıтрѣ попъ или дьıакъ почнеть цисти книг[ы] сиꙗ аче кде о͠ци и бра҃тьє въ своиєи гроубости боу криво написалъ не исправил[ъ] а сами исправѧче цтите примете ѿ б͠а мьздоу б͠лгословите а не кльнит[е]**» (ГИМ, Хлуд. 187, л. 148 об.; см. публикацию с несколькими погрешностями: Столярова 2000, 132). Ср. еще в записи писца Феофана на Галичском евангелии 1357 г.: «**ѡже боудоу не їсправил. в коемь мѣстѣ. исправѧ б͠а дѣл. чтите. а не кленѣте**» (Жуковская 1957, 41). О призыве к читателю исправить ошибки писца и не осуждать его как элементе формуляра писцовых записей см.: Столярова 1998, 83—84, 89, 100—101, 125—128.

стью в проведении нормативных установок и тем, насколько часто переписывается рукопись; частота копирования находится, понятным образом, в связи с жанром рукописи.

Процесс аккумулируемых изменений, приводящих к формированию новой нормы, можно проиллюстрировать на многократно описанном и прозрачно мотивированном утверждении нормы написания **ж** вместо **жд** на месте **dj*. Н. Н. Дурново писал, что

> звуковой системе русских живых говоров XI в. сочетание *žd* не было свойственно: *ž*, как и другие шипящие, могло стоять только перед гласными и перед палатальными согласными; между тем *d* в этом сочетании в книжном произношении русских грамотных людей не было палатальным. Только позднее, благодаря выпадению *ь* в слабом положении, в русских языках стало возможным сочетание *žd* с *d* непалатальным. Но в XI в. *ь* после *ž* перед непалатальным *d* сохранялось. Несоответствием между книжным произношением *žd* и звуковой системой живого языка объясняется то, что тенденция к устранению *žd* из книжного языка замечается очень рано; *žd* постепенно было вовсе устранено из языка в тех случаях, где оно соответствовало о.-сл. **dj*, и заменено русским *ž*; старшие памятники, указывающие на такую замену, относятся к XI в. (Архангельское ев. и др.) (Дурново 2000, 651—652).

Процесс устранения **жд** может рассматриваться как кумулятивное изменение, приводящее к замене одной нормы другою. Процесс этот был несколько более длительным, чем тот краткий отрезок времени, на который, по видимости, указывает Дурново, обрисовывающий лишь его общие контуры; к тому же он был осложнен рядом мелких, но характерных деталей. Для первоначального периода восточнославянской письменности можно говорить о норме, предполагающей написание **жд** на месте **dj*. Так, исключительно **жд** фиксируется в Новгородском кодексе первой четверти XI в.[2] Эта норма, хотя и с некоторыми

---

[2] В тексте псалмов, написанных на цере, релевантные примеры отсутствуют. В надписях на полях встречается, однако, **отъхождение** (Зализняк и Янин 2001, 23). В «скрытых» текстах, отпечатавшихся на досках кодекса и прочитанных А. А. Зализняком, находим: **трѹждаахѫ сѧ**, **жѧждѫщѧѩ**, **проваждаахѫ**, **прохлаждении**, **трѹждаѭщеи** и т. д. (Зализняк 2002б, 50, 52).

отклонениями, сохраняет свою значимость для обоих почерков Остромирова евангелия (ОЕ[1] и ОЕ[2]). В первом почерке на 26 форм с **жд** приходится только 3 формы с **ж** (10.34%): **прѣ/жє** 7а, **рожє//нꙑи** 8аб, **прихожѫ** 23в (ср.: Козловский 1885—1895, 113; Лант 1949, 105—106)[3]. Во втором (основном) почерке ОЕ **ж** на месте **dj* встречается в 27 случаях, однако в подавляющем числе случаев сохраняется **жд** (Лант 1949, 105; примеры см.: Козловский 1885—1895, 113—114). Такая же ситуация и в Изборнике 1073 г. (И1073); оба писца этой рукописи, как правило, сохраняют **жд**; **ж** в соответствующих рефлексах употребляется приблизительно в 8% случаев (Лант 1949, 114). Не менее последовательна в рассматриваемом отношении Чудовская псалтырь (ЧП; см. публикацию: Погорелов 1910); в ней на 192 формы с **жд** приходится всего 11 форм с **ж** (5.42%)[4]. В этот же ряд могут быть поставлены и Тринадцать слов Григория Богослова (РНБ, Q.п. I.16), в которых Лант насчитывает около 14% «русских» написаний (Лант 1949, 140), и Путятина минея (РНБ, Соф. 202), в которой пропорция написаний с **ж** составляет 14.29%[5]. Сходные

---

[3] Г. Лант, впрочем, ошибочно говорит лишь о двух (а не трех) случаях «of the Russian spelling» в первом почерке (Лант 1949, 106).

[4] Никакими особыми свойствами формы с **ж** не обладают; все основы с **ж** встречаются и в варианте с **жд**. Поскольку число форм невелико, приведу полный список: **прѣже** 6в, **въхожє/ниѥ** 26г, **огражє/нъ** 47г, **пооубѫжаѭть** 51в, **въсхожє/нии** 75а, **постъı/жѫ сѧ** 96б, **оутвьр’жє/ниѥ** 96в, **огражениѥ** 96в, **рожь/ство** 105а, **насла/жаѭшти** 165в, **с’зижю** 175в.

[5] В абсолютных цифрах в этой рукописи на 180 написаний с **жд** приходится 30 написаний с **ж**. Каких-либо лексических привязок в формах с **ж** не наблюдается. Приведу полный список примеров с **ж**, пользуясь изданием Баранов и Марков 2003 (доступно также в электронном виде на сайте www.mns.udsu.ru; ср. еще: Марков 1968, 553): **оутврьжениѥ** 1 об., **стража** 6, **въсхожениѥмь** 12, **рожьствѣ** 14, **стражѭщи** 18, 20 об., 21 об., **рожьствоу** 18, **рожьшѫ** 24, **оутвьрьжии** 30 об., 83, **рожъшиꙗ** 32 об., **рожъствѫ** 33, **распложениꙗ** 34, **рожьствомъ** 35, **рожьшиꙗ** 36 об., 55, **рожьство** 49, **прѣже** 52, **р(о)ж(ь)ства** 53 об., 60, **рожьствѣ** 53 об., **подажь** 59 об., **р(о)ж(ь)ство** 70 об., 109 об., **стражоуштє** 84, **сѫгражанє** 110 об., **стражоущи** 117, **стражоущоу** 132, **сътоужаѭща** 133 об. Стоит, видимо, отметить, что существенная часть этих форм находится в сокращенных заголовках к песням канонов.

характеристики присущи и Пандектам Антиоха (ПА — ГИМ, Воскр. 30, см. изд.: Поповски 1989б): из пяти писцов этой рукописи лишь у двух встречаются написания с **ж** на месте **dj*, тогда как три писца вполне последовательно воспроизводят **жд**; даже и два «погрешающих» писца в подавляющем большинстве случаев не погрешают и пишут **жд**: у писца В (по определению И. Поповского) 13 примеров с **ж**, у писца Е — всего 4 примера (Поповски 1989а, 109)[6].

Насколько оправданно для этих ранних рукописей говорить о нормативности написания **жд** на месте **dj*, кажется спорным вопросом. Относительная последовательность данных написаний может быть объяснена как подражание южнославянским протографам: нормативность этого подражания по отдельным лингвистическим параметрам зависит от его сознательности (целенаправленности). Не будет, однако, слишком смелым допущением предположить, что отдельными писцами формы с **ж** на месте **dj* могли рассматриваться как ошибочные или, во всяком случае, как сомнительные. В перечисленных выше рукописях прямых свидетельств такого восприятия нет. Тем не менее по крайней мере в одной рукописи рубежа XI—XII вв., а именно в Бычковско-Синайской псалтири[7], у одного из писцов в трех случаях имеются исправления **ж** на **жд** (**д** дописано сверху): **прихож^{д}а/хоу** (л. 63), **въсаж^{д}и** (л. 83 об.), **зиж^{д}єни** (л. 90 об.) (см. Альтбауер и Лант 1978, 72, 93, 100; Кривко 2004б, 175; ср. об этой рукописи ниже). Если писец, который употребляет **ж** и **жд** приблизительно в равной пропорции, может испытывать беспокойство в отношении написаний с **ж**, подобное же беспокойство может быть, видимо, приписано и писцам, употреблявшим **жд** более последовательно. Исправления, как уже было сказано, предполагают норму, хотя, как в данном случае, она обычно не

---

[6] При этом в двух случаях (по одному у писца В и Е), включенных в подсчет, буква **д** соскоблена; понятно, что время такого рода правки трудно установить; она могла быть произведена существенно позже написания рукописи.

[7] Иногда эта рукопись, фрагменты которой разбросаны по разным хранилищам (Тарнанидис 1988, 109—110), может датироваться и просто XI в. (Зализняк и Янин 2001, 19).

выдерживается с полной последовательностью и существует лишь в течение относительно недолгого периода.

Действительно, уже для 1070-х годов можно говорить о разрушении данной нормы и о начале переходного периода, периода постепенного становления новой нормы. Из датированных рукописей на этот процесс указывает Изборник 1076 г. По подсчетам Г. Ланта в рефлексах **dj* **ж** употребляется в 62% случаев, тогда как на долю «традиционного» **жд** приходится 38% (Лант 1949, 119)[8]. Еще более показательна ситуация в Архангельском евангелии 1092 г., написанном двумя почерками (АЕ[1] и АЕ[2]). В первом почерке параметры сходны с Изборником 1076 г.: **жд** встречается в 24 случаях, **ж** — в 30 случаях (55.56%) (Лант 1949, 106). Второй писец, Мичько, решительно поворачивает в сторону **ж**, которое встречается у него более чем в 90% случаев (там же; ср. еще Дурново 1931). Поскольку оба писца работали одновременно, различия в их узусе по рассматриваемому признаку показывают, какова могла быть дисперсия параметров в переходный период. Сходная ситуация в Минее 1097 г. (М1097). В данной рукописи первые три писца, объединяемые С. П. Обнорским в одну группу (первая часть), употребляют **жд** в 49 случаях, **ж** — в 147 случаях (75%); четвертый писец (вторая часть) употребляет **жд** в 14 случаях, **ж** — в 170 случаях (92.39%) (Обнорский 1924, 217; ср. Лант 1949, 132—133). Аналогичные соотношения можно наблюдать и в ряде недатированных рукописей конца XI — начала XII в. Так, например, в Бычковско-Синайской псалтири в первом почерке в «подавляющем большинстве случаев» на месте **dj* пишется **ж**, тогда как написание **жд** представлено единичными примерами (их всего 6) (Кривко 2004а, 87—88). Во втором почерке той же рукописи соотношение иное: **жд** встречается в 25 случаях, **ж** — в 27 случаях (51.92%) (Кривко 2004б, 175).

Естественно, что в этот же период появляются и рукописи, сплошь характеризующиеся окказиональным употреблением **жд** при доминирующем **ж**. К таким рукописям относятся в

[8] Т. Ротт-Жебровски дает и абсолютные цифры: **жд** употребляется в 63 случаях, **ж** — в 104 случаях, что как раз и составляет 62.28% (Ротт-Жебровски 1974, 190).

первую очередь новгородские Минеи 1095 (М1095) и 1096 г. (М1096). Полные статистические данные для этих рукописей отсутствуют (цифры, которые дает В. Комарович для М1096, неверны и неправдоподобны, см. Комарович 1925, 37). Однако выборочные подсчеты, сделанные Г. Лантом, показывают, что в М1096 **жд** пишется на месте **dj* приблизительно в 6% случаев, а в М1095 аналогичный показатель еще меньше и составляет менее 2% случаев (Лант 1949, 125; ср. Карнеева 1916, 123). Такая же правописная практика характерна и для февральской минеи из собрания Синодальной типографии рубежа XI—XII вв. (РГАДА, ф. 381, № 103 — см. СК 1984, № 40, с. 80—81); и в ней **ж** пишется в подавляющем большинстве случаев (Тот 1981, 154—155). Для этих рукописей, таким образом, можно считать, что нормативным в них является написание с **ж**, тогда как написания с **жд** выступают как отклонения от нормы. Это не означает, конечно, что данная новая норма стабилизировалась уже в конце XI в. И в первой половине XII в. появляются рукописи с существенно большей пропорцией отклонений; видимо, пропорция может зависеть и от индивидуальности писца, и от той школы (скриптория), к которой он принадлежит (для раннего периода этот фактор не поддается анализу), и от жанра рукописи. Можно указать, например, на Ефремовскую Кормчую, в которой, по приблизительным подсчетам С. П. Обнорского, написания с **ж** встречаются более чем в 500 случаях, тогда как написания с **жд** представлены 350 примерами (таким образом, написания с **ж** составляют около 59%) (Обнорский 1912, 62). Аналогичная пропорция наблюдается и в Минее РГАДА, ф. 381, № 131 (так называемая «Ильина книга» — см. издание: Крысько 2005). Здесь на 136 примеров с **жд** приходится 160 примеров с **ж** (54,05%) (Верещагин и Крысько 1999, 4—5). Можно указать и на еще более консервативные рукописи, появляющиеся позднее новгородских миней. К ним относится, например, Юрьевское евангелие 1119—1128 гг. (ГИМ, Син. 1003), орфография которого архаична по многим параметрам. На первых 50 листах этой рукописи **жд** встречается в 64 случаях, **ж** — в 25 случаях (28.09%). Менее консервативно Мстиславово евангелие (МЕ — ГИМ, Син. 1203; см. публикацию: Жуковская 1983). Выборочные подсчеты (л. 1а—50г, 75а—105г, 150а—180г) дали здесь

следующие результаты: **жд** встречается в 63 случаях, **ж** — в 136 случаях (68.34%)[9].

В середине XII в., однако, появляются рукописи, в которых написания с **ж** проведены с полной последовательностью. К их числу относится Галицкое евангелие 1144 г. (ГИМ, Син. 404), орфографически один из наиболее выдержанных памятников своего времени. Хотя мои подсчеты ограничиваются Евангелием от Матфея (л. 1—67 об.), данные достаточно показательны: на 66 написаний с **ж** не приходится ни одного написания с **жд**; последовательность **жд** вообще здесь не представлена, поскольку рефлексы **zdj*, **zgj* и **zg* перед передними гласными передаются сочетанием **жч** (**ижченоуть** 8 об., **дъжчить** 11, **въжчелѣшѧ** 28 об. и т. д.). Лексический фактор, по видимости, никак не влияет на последовательность в употреблении **ж** в рефлексах **dj*. Лексика с этими рефлексами, представленная в исследованном тексте, достаточно разнообразна, см.: **преже** 3 об., **ражѧютьсѧ** 4 об., **вожь** 4 об., **вельблоужь** 5 об., **прохожѧше** 7 об., **жажюще** 8, **осоужени** 13 об., **стражѧ** 16, **созижю** 36, **ноужѧ** 39, **заблоужьшѧѧ** 39 об., **межю** 39 об., **ѕижющеи** 47 об.

Сходная ситуация в Добриловом евангелии 1164 г. (РГБ, Рум. 103). В основном в нем употребляются формы с **ж**: **вижь** 110а, **прихожахоу** 110в, **прохожаше** 111б, **стражюще** 112б, 112в,

---

[9] Несколько моментов в МЕ заслуживают отдельного комментария. Во-первых, написание рефлексов **dj* распределено в этой рукописи неравномерно. В самом начале написания с **жд** доминируют. Так, на первых 10 листах **жд** встречается в 17 случаях, **ж** — в 3 случаях (15%), однако на следующих 20 листах уже устанавливается среднее для всей рукописи соотношение: **жд** встречается в 18 случаях, **ж** — в 37 случаях (67.27%). В дальнейшем значительных колебаний не наблюдается. Кажется вероятным, что (как это нередко случается) писец поначалу больше ориентировался на свой оригинал, однако по мере продвижения основным руководством для него становилась собственная орфографическая практика. Во-вторых, элементов лексикализации того или другого написания в памятнике практически не заметно: одни и те же формы встречаются и с **ж**, и с **жд**. Есть, однако, два исключения. Только с **жд** пишется корень **щюжд-** (**щю/ждиихъ** 50б, **щюждиихъ** 50б) и наречие **съ зажда** (л. 41а, 61г, 86в, 176в); в обоих случаях, видимо, писец затруднялся соотнести воспроизводимые им формы с элементами своего живого языка.

118в, **зижющемоу** 115б, **одежи** 116а, **роженꙑхъ** 116б и т. д. При выборочном подсчете (я просмотрел л.106 об.—161 об., 164—169, 171—173, 179—187, 212 об.—214 об., 242—245) обнаруживается, что при 84 употреблениях **ж** в рефлексах **dj* имеется лишь одно отступление от этой нормы (1.18%). Это единственное отступление, и оно, возможно, обусловлено тем, что у писца были сложности в идентификации формы. Речь идет о стихе Лк **17** 28: «**тако/же ꙗкоже бꙑⷭ҇ во дн҃и / ноѥвꙑ ꙗдѧхоу и / пьꙗхоу. коупова/хоу и продаꙗхоу. / сажахоу и граждѧ/хоу**» (л. 142б); **градити** — это относительно редкий глагол, особенно в значении ‘aedificare’ (ср. Срезневский, I, стб. 575), в большинстве редакций Евангелия он не употребляется[10]; соотнесение его с **городити** живого языка могло быть для писца затруднительно.

Понятно, что и сами рукописи Галицкого и Добрилова евангелий, и дата их написания могут рассматриваться как рубежные в процессе формирования новой нормы лишь в качестве символических вех. Неверно было бы утверждать, что после 1144 г. не появляется рукописей с отступлениями от новой нормы, однако можно утверждать, что со второй половины XII в. подобные отступления появляются в ограниченном количестве и во многих случаях являются мотивированными (прежде всего лексически мотивированными). Таким образом, если М 1095 с ее ничтожной пропорцией **жд** в рефлексах **dj* выступает как провозвестник будущей нормы, опережающий свое время (как показывает, например, написанное через четверть века Юрьевское евангелие, в котором кумулятивный процесс утверждения новых вариантов практически не запечатлелся), то Галицкое евангелие оказывается воплощением новой нормы, отражающим доминирующую правописную практику.

Об императивном характере новой нормы ясно свидетельствует Троицкий сборник конца XII — начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12, см. изд.: Поповски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пан-

---

[10] Ср. в Галицком евангелии: «**Такоже ѩкоже бꙑⷭ҇ во дн҃ı лотовꙑ ѩ/дѩхоу и пьѩхоу. коуповахоу и про/даѩхоу. / сажѩхоу. здахоу**» (л. 160). Именно этот вариант представлен и в современном синодальном переводе.

декты Антиоха. Как установил И. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989а, 120—134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно с уже упоминавшейся старейшей рукописи Пандектов — ГИМ, Воскр. 30 XI в. (см. изд.: Поповски 1989б), так что соответствующие рукописи представляют собой древнейшую в славянской письменности пару антиграф—апограф. Троицкий сборник написан несколькими писцами, орфография которых различается по ряду параметров. Все они, тем не менее, приводят правописание копировавшейся ими рукописи XI в. в соответствие с орфографическими нормами своего времени (ср. Живов 1996б, 189—191), так что сопоставимые части Воскр. 30 и Троицкого сборника могут служить полигоном для проверки норм, сформировавшихся в XII в., и установления характера их реализации.

Для настоящей работы были проанализированы лл. 64.12 — 115 об.17 Троицкого сборника. Результаты представлены в следующей таблице (для Воскр. 30 указана глава, параграф и стих Пандектов по изд.: Поповски 1989б; для Троицкого сборника — лист и строка):

Воскр. 30	Троицк. 12
свобаждаемь 7: 1.10	**свобажаѥмъ** 67 об.20
нуждьно 7: 2.17	**нужьно** 68.22
тоуждемоу 11: 1.9	**тоужемоу** 69.3
даждь 11: 4.2	**дажь** 69.8
дроугыижде. 11: 11.1	**дроугъіиже** 69 об.13—14
ноуждьнаа 11: 11.4	**ноужьнаго** 69 об.15
тождевѣръныꙗ 23: 2.1	**тожевѣрьныꙗ** 70 об.17
ноужда 23: 8.5	**ноужа** 71.15
рождъшѧѩ 24: 2.4	**рожьшаꙗ** 72.8—9
рождъшѫѭ 24: 12.1	**рожьшую** 72 об.22
страждоуштиимъ 25: 6.7	**стражющимъ** 74.4
даждъ 25: 9.6	**дажь** 74.16
наслаждаи сѧ 25: 10.8	**наслажаи сѧ** 74 об.1
дохаждаеть 26: 2.8	**дохажаѥть** 76 об.9
благонадѥждънъ 27: 1.9	**благонадежьнъ** 79.14—15
оутоуждене 27: 9.2	**оутоужене** 80.16
оутвръждениѥ 27: 9.10	**оутвьржениѥ** 80.21—22
посраждамъ 27: 14.17	**посражемъ** 82 об.4—5
заблѫждьшеѥ 27: 16.6	**заблоужьшеѥ** 83.10
троуждаѫштиимъ сѧ 27: 16.10	**троужающимъ сѧ** 83.13—14
виждь 27: 19.4	**вижь** 83.21
такождѥ 32: 3.7; 32: 9.1	**также** 84.2—3; 84.23

досаждѥниѥмь 32: 9.1	**досажениѥмь** 84 об.1
нюждеѫ 33: 1.12	**ноужею** 85.17
побѣждаѥмъи 33: 1.14	**побѣжаѥмъи** 85.18
нѫжди 33: 1.15	**ноужи** 85.20
тоуждихъ 33: 7.3	**тоужаїхъ** 85 об.16—17
оскѫждаѥтъ 33: 10.5	**ѡскоужаѥть** 85 об.24—86.1
тоуждаꙗ 34: 1.1	**тоужаꙗ** 86.22
прѣждѥ 34: 4.2; 34: 9.3	**прѣже** 86 об.21; 88.14
инъждѥ 34: 6.1	**инъже** 88.1
расѫждали 34: 10.4	**расоужали** 88.20
осѫждѥни 34: 10.5	**осоужени** 88.21
оутвръждѥниѥ 34: 11.3	**оутвьржениѥ** 88 об.1—2
сѫждѫ 34: 13.6	**соужю** 88 об.14
надежда 36: 6.2	**надежа** 90.15
оутврьждены 71: 1.6	**оутвьржены** 91.15—16
прѣжде 71: 1.108	**прѣже** 93.1
побѣждаема 104: 1.10	**побѣжаѥма** 93.18
ограждаеть сѧ 104: 1.42	**ѡгражаѥть сꙗ** 93 об.20
въздеждѣте 104: 1.69	**въздежѣте** 94.18
оутврьжденье 104: 1.85	**оутвьржениѥ** 94 об.5
сѫжденъ 105: 1.54	**соуженъ** 95 об.19—20
ноуждьнъıихъ 105: 1.66	**ноужьнъıихъ** 96.5—6
прѣжде 106: 1.125	**прѣже** 99 об.6
прѣждереченныꙗ 130: 1.1	**прѣжереченнъıꙗ** 130
рожденоѥ 130: 1.115	**роженоѥ** 101 об.14
прѣждереченъıꙗ 130: 1.150	**прѣже/реченъıꙗ** 102.8—9
ноуждьно 130: 1.154	**ноужьно** 102.12
ноужди 130: 1.185	**ноужи** 102 об.10
сѫграждане 126: 1.63	**соугражанѥ** 104.2
троуждаѭщии сѧ 126: 1.68	**троужающии сꙗ** 104.8
оутврьжденꙗ 128: 1.32	**оутврьжениꙗ** 106 об.15
сажденнѥ 128: 1.33	**саженнѥ** 106 об.16
оутврьжденнѥ 128: 1.50	**оутврьженнѥ** 107.4
прѣпобѣждаѥмъ 128: 1.73	**прѣпобѣжаѥмъ** 107.20
виждоу 128: 1.168	**виждоу** 108 об.6
прѣжде 21: 1.9; 21: 9.4; 21: 18.3	**прѣже** 109.3; 109 об.19; 111.15
рожденъıихъ 21: 3.1	**роженъıихъ** 109.8
оугождъша 21: 4.3	**оугожьша** 109.14
тоуждааго 21: 16.6	**тоужаго** 110 об.6
нѫжда 21: 17.18; 102: 1.5	**ноужа** 111.10; 111 об.5
нѫждьно 102: 1.135	**ноужьно** 112 об.3
наслажденьи 89: 1.6; 89: 1.31	**наслаженни** 112 об.22; 113.16—17
побѣжденьѥ 89: 1.70	**побѣженнѥ** 113 об.20
продажди 89: 1.97	**продажь** 114.17
прѣжде 90: 1.8; 90: 1.53	**прѣже** 114 об.6; 115.11
одежда 90: 1.16	**ѡдежа** 114 об.11
жажда 90: 1.36	**жажа** 114 об.23

Как можно видеть, в 76 случаях писцы Троицкого сборника исправляют **жд** в рефлексах **dj* на **ж**. Исправлениями остаются не затронуты лишь 6 следующих примеров (отступления от нормы составляют, таким образом, 7.32%):

Воскр. 30	Троицк. 12
тоуждї 6: 1.65	**тоужди** 66 об.18
вѣждама 104: 1.52	**вѣждема** 94.5
вѣждама 104: 1.57	**вѣждама** 94.8
ѭрождѧ 130: 1.80	**оуро/жда** 101 об.2—3
рождениѥ 128: 1.118	**рождениѥ** 107 об.22
вѣждѫ 90: 1.65	**вѣж**[д]**ю** 115.18

По крайней мере 5 из этих примеров специфичны. Они представлены словами, которые, по всей видимости, отсутствовали в живом языке писца и могли быть не вполне известны ему из его читательского опыта. Это относится прежде всего к слову **вѣжда**, которое в форме с **ж** на месте **dj* (**вѣжа**, **вѣжь**) в восточнославянских памятниках XI—XIII вв. не встречается (см. СДЯ XI—XIV, II, 291—292; Срезневский, I, стб. 483). Редким и, возможно, отсутствовавшим в восточнославянском разговорном языке является и слово **ѭрождѧ** в соответствии с греч. βλακεία ‘леность, нерадивость, слабоумие’ (PG, LXXXIX, col. 1841C; ср. **Ѹрожда** — Срезневский, I, стб. 1257 со значением ‘уродливость ума, глупость’ и примером из Слов Кирилла Иерусалимского с греч. соответствием μωρία). С формой **тоуждї** у писца Троицкого сборника таких проблем не должно было возникать, поскольку отождествление с в.-слав. **чоуж-** не требовало особой проницательности и в ряде других случаев писец (писец B по классификации И. Поповского) успешно с этим справлялся (см. примеры в таблице, л. 69.3, 85 об. 16—17, 86.22, 110 об. 6). Тем не менее это исправление не могло быть столь автоматическим, как другие; здесь возникали затруднения (особенно при первом столкновении: рассматриваемый пример является первым в части, скопированной писцом B), а при затруднениях писец обычно был готов обезопасить себя и повторить написание своего оригинала.

Не исключено, что по сходной причине писец сохраняет и написание **рождениѥ**, хотя идентификация **рожд-** и **рож-** ле-

жала на поверхности и, как правило (см. л. 72.8—9, 72 об.22, 101 об.14, 109.8), осуществлялась писцом без всяких сбоев. В рассматриваемом случае, однако, затруднения мог вызывать контекст. В Пандектах читалось: «**ничтоже тако распалѧѥть. и движить с҃рце на любовь бж҃ьꙗ. ꙗкоже б҃ословьѥ. рожениѥ бо се съı благод҃ѣти ѥго. прьвъıꙗ оубо. и даръı д҃ши дароуить любѧщимъ б҃а**» (128: 1.115—120). Поскольку речь шла о воздействии «богословия» на сердце, в результате которого в нем что-то происходит с благодатью, и вместе с тем говорилось о том, что «богословие» «распаляет» сердце, **рожениѥ** могло контаминироваться с **ражениѥ**, т. е. с разжиганием (распалением) благодати (которая, вообще говоря, идет от Бога, а не рождается в человеке, а в человеке может лишь возрастать)[11]. Рефлексы **zg* перед передними гласными последовательно передаются в Троицком сборнике через **жд**, так что существительное, производное от глагола *разжечь* (**раждечи**, см. Срезневский, III, стб. 17), как раз и должно было иметь форму **раждениѥ**. Если у писца возникали сомнения этого рода, он и в данном случае мог предпочесть не рисковать и воспроизвести оригинал[12]. Таким образом, норма написания **ж** в рефлексах **dj* сохраняет для писцов Троицкого сборника полную актуальность, что, однако, не делает недопустимыми отдельные отступления от этой нормы.

---

[11] Непонимание и сопутствующие ему ложные ассоциации появляются из-за несовершенства перевода, ср. греческий текст: «Γεννᾷ γὰρ αὕτη ὅσα τῆς αὐτοῦ χάριτος. πρῶτα πάντων καὶ δῶρα τῇ ψυχῇ χαρίζεται τοῦ ἀγαπῶντος τὸν Θεόν» (PG, LXXXIX, col. 1836C). Возможно, впрочем, что перевод делался с иной версии греческого текста, отразившейся в латинском переводе, лучше соответствующем славянскому тексту («Germen enim ipsa cum sit gratiae divinae…» — PG, LXXXIX, col. 1835C). Как бы то ни было, в славянском тексте без обращения к оригиналу формы с трудом поддаются идентификации (ср. хотя бы **прьвъıꙗ**), синтаксис оказывается темен, и недоумения переписчика выглядят естественными.

[12] Замечу попутно, что подобные сомнения оформлялись, конечно, не в терминах рефлексов праславянского, а в терминах орфографических правил (ср. Живов 1986, 299—300): писец должен был решить, имеются ли в настоящем случае условия для трансформации **жд** → **ж**, что требовало соотнесения копируемого слова с известными ему формами его живого языка (*рожати* или *розжечи*).

Приведу еще данные рукописи ГИМ, Син. 330 конца XII в., содержащей Студийский устав церковный и монастырский (СК 1984, № 138, с. 159—161; см. издание: Пентковский 2001; ср. также: Ищенко 1968, 8). Подсчеты по части, содержащей монастырский устав (л. 196 об.—280), дают следующие цифры. В рефлексах **dj* **ж** пишется 116 раз, **жд** — 3 раза (2.52% от общего числа). Таким образом, и здесь написание **ж** является нормативным. Отклонения наблюдаются в следующих случаях: **ноуждьно** 206, 218 об.; **тоуждю** 218 об. В последнем случае мы скорее всего имеем дело с той же мотивацией отклонения, что и в Троицком сборнике (писец справляется с формами **чюжемоу** 219, **щюжего** 240 об. [bis], однако основы **тоужд-**, видимо, не опознает). Другие два отклонения допущены, надо думать, по недосмотру; во всяком случае, формы с основой **ноуж-** неоднократно встречаются в тексте [13].

Об императивности анализируемой нормы свидетельствуют и прямые исправления, встречающиеся в рукописи Богословия Иоанна Дамаскина рубежа XII—XIII вв. (ГИМ, Син. 108). Здесь имеется правка **ноуждга** → **ноужга** 7а, **тождк** → **тожк** 7б, **идежде** → **идеже** 5б, **прежде** → **преже** 8в и т. д. (Успенский 2002, 128). Правка, по всей видимости, была произведена вскоре после написания рукописи, т. е. может датироваться приблизительно тем же временем, что и создание Троицкого сборника. В рукописях более позднего времени **жд** в рефлексах **dj* встречается только в качестве окказионального реликта (появляющегося при невнимательном списывании более ранних рукописей). Так, например, в Галицком евангелии 1266—1301 гг. (РНБ, F. п. I.64) в рефлексах **dj* повсеместно пишется **ж** (ср., в частности: **жажю** 15а, **жажеть** 26б, **жажющеи** 28а) и лишь один раз появляется

[13] Определенные элементы лексикализации написаний с **жд** просматриваются и в памятниках, в которых нормативный характер **ж** еще только намечается. Так, в основном почерке Стихираря середины XII в. (ГИМ, Син. 279) на 54 формы с **ж** приходится 13 форм с **жд** (19.40%). Четыре из этих 13 примеров представлены словом **ноужда** (л. 52, 59, 84, 122 об.), которое с **ж** не пишется ни разу. Еще один пример — это форма **каждении** Gen. pl. (л. 162), которая могла казаться писцу странной в варианте с **ж**. Сложным для идентификации могло представляться писцу словосочетание **въ вѣкы наслѣ/ждающи**, л. 121 об. (от **наслѣдовати**).

жажьдю 145г (Малкова 1987б, 321) с характерной вставкой еря, свидетельствующей о том, что **жд** после падения редуцированных может восприниматься как обычная группа согласных.

Рассмотрение данного частного аспекта становления восточнославянской орфографической книжной нормы позволяет увидеть, как в принципе сочетаются нормативность и вариативность. Прежде всего норма избирательна — в том смысле, что она проводится по одним признакам (например, соотнесение написания **ж** с [ž], звучащим в живом языке) и не проводится (или в большинстве рукописей проводится непоследовательно) по другим (например, во многих новгородских рукописях варьируют написания типа **дъжгь** и **дъждь** в соответствии с [žg̑]). Даже и в тех случаях, когда норма актуальна для писца, она не исключает отступлений и, соответственно, не уничтожает вариативности. Отступления могут появляться в силу разных причин. Копируемая форма может вызывать у писца трудности, в силу которых он оказывается не в состоянии привести ее в соответствие со своей орфографической системой. Писец может быть робок или недостаточно профессионален и ориентироваться на оригинал при всяком недоумении. Или он может быть небрежен и непоследовательно реализовать свои собственные орфографические правила, воспроизводя написания оригинала по невниманию. Причины могут быть разнообразны, но эффект оказывается одним и тем же: написания варьируют как в рамках одной рукописи (точнее, одного почерка), так и от одной рукописи к другой.

Нормативность и писец как субъект языковой деятельности. Вариативность и нормативность кажутся противоречащими друг другу понятиями, поскольку нормативность рассматривается имперсонально. Норма понимается как некая абстрактная регламентированность, как ценностная проекция языковой системы. Насколько такое понимание адекватно в общем случае, можно сейчас не обсуждать. Оно явно соотнесено с существованием нормативных грамматик и нормативных словарей, в том числе и орфографических. Эти пособия, с одной стороны, как бы фиксируют языковую систему, а с другой — придают этой фиксации нормоустанавливающий характер. Ничего похожего на запечатленную норму этого рода у восточных славян в сред-

ние века не существовало. Они не пользовались ни грамматиками, ни словарями и не располагали представлениями о едином и общеобязательном языковом стандарте. Тем не менее, как было показано выше, понятие о «правильном» и «неправильном» языковом употреблении у них существовало, и именно оно обусловливало осуществлявшиеся ими языковые исправления.

В принципе можно было бы сказать, что у каждого писца имелась своя собственная норма, хотя очевидно, что такое утверждение проблематизирует само понятие нормы и вступает в противоречие с обобщающими наблюдениями о динамике нормы (типа тех, которые были сделаны в предшествующем параграфе). Подобные наблюдения указывают на то, что некоторые моменты регламентации были общими для многих, если не для всех книжников определенного периода, так что обнаруживается надындивидуальный характер регламентации книжного языка. Иного и нельзя было бы ожидать, поскольку книжная деятельность отнюдь не была личным предприятием каждого из книжников, а обладала институциональными формами, пусть даже несколько размытыми при сопоставлении с лингвистическими институциями современного общества: писцы получали своего рода профессиональную выучку (т. е. усваивали правописные навыки от своих старших наставников) и нередко работали в скрипториях.

О восточнославянских скрипториях XI—XIV вв. мы не располагаем почти никакими сведениями (см. Карский 1928, 259) — если отбросить переходящие из работы в работу домыслы [14] и поставить под сомнение суждения, основанные на плохо поддающихся интерпретации летописных сообщениях

---

[14] Ср., например, фантастические и полностью безосновательные гипотезы Т. Л. Мироновой (Миронова 1999; ср. еще Миронова 1996). Столь же безосновательны опыты датирования недатированных рукописей XI в.: хронологические домыслы являются фундаментом для домыслов из истории письменности, ср. гипотезу Л. П. Жуковской о том, что Реймсское евангелие старше Остромирова, а во Францию было вывезено Анной Ярославной (Жуковская 1981, 17—27). Менее фантастична гипотеза Л. В. Столяровой о существовании на рубеже XI—XII вв. скриптория в новгородском монастыре св. Лазаря (Столярова 1998, 193—221); и эта гипотеза, однако, лишена всякой доказательной силы.

(типа статьи 1037 г. в Повести временных лет, ср. Лант 1988; ср. Гиппиус 2002, 100—101, 122). Рукописи, переписанные большими группами писцов, такие, например, как ПА в списке Воскр. 30 (работало пять писцов), или Троицкий сборник (Троицк. 12 — работало семь писцов), или Мерило Праведное по списку XIV в. (в работе участвовало по крайней мере восемь писцов, среди них два старших учителя-каллиграфа — см. Милов 1963; Зализняк 1990, 5—6) и т. д. (примеры многочисленны), свидетельствуют о существовании коллективов писцов, работавших совместно и взаимодействовавших друг с другом (ср. еще ряд примеров у Л. В. Милова: Милов 1963, 32). Такая совместная книжная деятельность представляет определенную форму институализации, создающей контекст для обмена правописными навыками, которые получают в результате надындивидуальный характер и обусловливают общие черты в динамике нормы (коллективных представлений о «правильных» написаниях).

Тем не менее любому историку восточнославянской письменности хорошо известны многочисленные примеры рукописей, написанных несколькими писцами, орфографические системы которых отличны друг от друга. Во многих случаях правописание писцов, работавших вместе (или, по крайней мере, одновременно), различалось не только степенью мастерства, но и отдельными орфографическими принципами, что, вообще говоря, позволяет утверждать, что они придерживались разных орфографических норм. Многократно описаны различия между первым и вторым почерком Архангельского евангелия (Дурново 2000, 400—401; Соколова 1930; Лант 1949, 82 сл.): в АЕ[1] «мягкость согласных не обозначается; є и ѥ, ѧ и ꙗ не различаются», тогда как в АЕ[2] «ѥ и є, ѧ и ꙗ различаются с большой правильностью ‹…›; употребляются изредка буквы ꙉ и н҄, и вообще довольно строго различаются л и н мягкие и немягкие» (Дурново 2000, 401).

Типографский устав конца XI — начала XII в. (Третьяковская галерея, К-5349; ср.: Дурново 2000, 401—402; Успенский, III, 209—245) написан двумя почерками (ТУ[1] и ТУ[2]). В ТУ[1] проводится различие между є и ѥ, противопоставлены ѣ и є, ѧ употребляется после согласных, ꙗ — после гласных и в начале

слова, с помощью **л҄** и **н҄** обозначаются палатальные сонорные, в рефлексах редуцированных с плавным еры пишутся перед плавным, рефлексы **dj* отражаются в виде **ж** (**рожьствъмь** 55 об., **съхожениѥ** 61 об.), в рефлексах **CerC* ставится «южнославянский» **ѣ** (**непрѣстаи** 25, **чрѣды** 30 и т. д.). В ТУ[2] отсутствует систематическое противопоставление **е** и **ѥ** (**еси** и **ѥси** 34, 37, **стѥпень** 34, **постьничьское** 37 об.); **ѣ** и **е** нередко смешиваются (**добродетельми** 32 об., **вероѹи** 33, **каплѣ** Voc. 32 об.); **ꙗ** часто ставится после согласных; палатальность сонорных не обозначается (и йотированные гласные, и буквы **л҄** и **н҄** ставятся безотносительно к этимологии); в рефлексах редуцированных с плавным еры пишутся или после плавного, или с обеих сторон плавного; рефлексы **dj* могут отражаться в виде **жд** (**жаждоѹ** 46 об., **рождѥниѥ** 34 об.); в рефлексах **CerC* ставится «восточнославянский» **е** (**прешьдъ** 32, **посредѣ** 41 об.).

В новгородской Минее 1097 г. выделяется четыре почерка (см. Обнорский 1924, 173; ср.: Дурново 2000, 403; Лант 1949, 128—133) Первые три писца, написавшие л. 1—108, обнаруживают весьма сходные правописные навыки, так что Обнорский называет их одной «рукой», навыки четвертого писца, написавшего л. 108—174 об., существенно отличны. Так, в первой части в Instr. Sg. имен *о*-склонения в безразличном употреблении встречаются написания с **-мь** и **-мъ**, тогда как во второй части писец избегает написаний последнего рода (возможно, исправляя в этом отношении свой оригинал; Обнорский 1924, 193—194). В первой части в рефлексах редуцированных с плавным еры пишутся или перед плавным, или с обеих сторон плавного, хотя существенна и пропорция «южнославянских» написаний с ером после плавного; во второй части доминирует специфическое написание с ерами перед плавным и надстрочным знаком над плавным (там же, 198—207). Как уже указывалось выше, две части различаются и пропорцией написания **жд** в рефлексах **dj*.

Равным образом несколькими почерками написан Стихирарь середины XII в. (ГИМ, Син. 279); над рукописью в одно время работало пять писцов (два листа, 105—106 об., написаны более поздним шестым почерком), некоторым из них принадлежит всего по нескольку строк. Последний почерк (л. 162—168 об.)

отличается от всех прочих окказиональным (бессистемным) употреблением буквы **ѫ**, (**пѫть** 164 об., **нисѫсъ** 166 об., **разѫмьно** 168 и т. д.), а также относительно выдержанным написанием нестяженных форм имперфекта и полных прилагательных. Неоднократно привлекало внимание и различие в орфографических системах первого и второго писца Успенского сборника (УС^{1} и УС^{2}). Именно опираясь на это различие, Н. Н. Дурново сформулировал основополагающий тезис, согласно которому правописание рукописи определяется орфографической системой писца, а не написаниями оригинала. Оригиналами для собранных в УС сочинений служили разные (переводные и оригинальные) тексты, предположительно гетерогенные по своим лингвистическим параметрам. Тем не менее, «правописание первой половины жития Феодосия, писанной первым писцом, не отличается от правописания переводных повести прор. Иеремии и жития Афанасия, а правописание второй половины жития Феодосия, писанной вторым писцом, — от правописания писанных им же житий Ирины и Иова, между тем как правописание этих двух частей жития, восходящих к одному оригиналу, сильно разнится» (Дурново 2000, 394). Они разнятся, в частности, в таких существенных деталях, как употребление букв **ѧ** и **ꙗ**: в УС^{1} **ꙗ** употребляется и после согласных, тогда как УС^{2} избегает такого употребления.

Такие примеры могут быть приведены и в большем количестве. Дело, однако, не в их числе, а в той теоретической задаче, которую они ставят перед историком восточнославянской письменности. Сколь различные правописные системы могут сосуществовать в рамках одной рукописи? Существуют ли ограничения на подобные различия и — в случае утвердительного ответа — каков источник таких ограничений? Можно ли говорить об общем ядре различных орфографических систем одного периода, которое в этом случае и предстает как норма, и о разнообразии в апроприации этого ядра разными книжниками, создающем сферу вариативности?

Эти вопросы легче поставить, чем на них ответить, поскольку ответ требует сплошного обследования рукописей XI—XIII вв., в то время как на сегодняшний день, несмотря на существенные достижения последних лет, бóльшая их часть остается не-

изученной. Ответы, таким образом, могут иметь лишь предварительный характер. Тем не менее ряд закономерностей может быть установлен. Сколь бы тривиальными они ни выглядели, они создают теоретические рамки, в которых целесообразно обсуждать поставленные задачи. Они могут служить основой для типологии рукописей (или типологии писцов) и определяют координаты, в которых содержательным образом описывается динамика нормы. Закономерности состоят в сочетаемости отдельных признаков орфографических систем. Наличие одних признаков предполагает наличие других и вместе с тем исключает наличие третьих. Эти закономерности действуют прежде всего в пределах одного почерка, но они могут быть экстраполированы и на рукопись в целом, т. е. задавать ограничения на сочетание отдельных орфографических систем в рамках одной рукописи. До некоторой степени эти же закономерности могут быть приложены и к рукописям, созданным в один период, указывая на то, какие орфографические системы могут сосуществовать в пределах одного отрезка времени. Различия, характеризующие один период в отношении к другому, как раз и раскрывают динамику нормы.

Для уяснения предлагаемой здесь теоретической схемы проиллюстрирую сказанное, взяв лишь ограниченное число признаков и указывая лишь на наиболее очевидные соотношения. Для раннего периода (XI — начало XII в.) можно рассмотреть следующие признаки:

1. Окончание **-тъ** в третьем лице презенса.
2. Воспроизведение этимологически правильного употребления юсов (не более 30% отклонений).
3. Флексии Instr. sg. **-омь**, **-ємь** наряду с флексиями **-ъмь**, **-ьмь**.
4. Написание рефлексов редуцированных с плавным в виде «плавный + еры» преимущественно перед написаниями с ерами перед плавным или с обеих сторон плавного.
5. Написание **жд** преимущественно перед **ж** в рефлексах **dj*.
6. Последовательное обозначение палатальных сонорных (с помощью особых букв, или надстрочного знака, или написания йотированных гласных после сонорного).
7. Написание **рѣ** преимущественно перед **рє** в рефлексах **CerC*.

Закономерности могут быть представлены в виде таблицы, в которой указывается сочетаемость в пределах одного почерка наличия (+) или отсутствия (–) данного признака с наличием или отсутствием каждого другого признака. Обязательность сочетания обозначается знаком «+», невозможность — знаком «–», в тех случаях, когда сочетание не обязательно, но возможно, ставится знак «+/–», в тех случаях, когда нет уверенности в том, как соотносятся два признака, ставится знак вопроса.

	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
–1	–	+	+	+	+	+	+
–2	–	–	+	+	+	+/–	+
–3	–	–	–	+?	+?	+/–	+
–4	–	–	–?	–	+/–	+/–	+
–5	–	–	–?	+/–	–	+/–	+
–6	–	+/–	+/–	+/–	+/–	+/–	+
–7	–	–	–	–	–	+/–	–

Сделаю выборочные пояснения к данной таблице, демонстрирующие ее устройство. Окончание **-тъ** в третьем лице презенса встречается лишь в небольшом числе древнейших памятников, наиболее тщательно воспроизводящих написания южнославянских протографов, а именно в Остромировом евангелии и Слуцкой псалтири (Козловский 1885—1895, 116; Тот 1982, 186), — памятники одноерового письма, естественно, не в счет; окончание **-тъ** исчезало стремительно, поскольку его замена на **-ть** была частным случаем нормализации правописания еров (Лант 1987, 149). Понятно, что в памятниках, демонстрирующих **-тъ**, присутствуют и все другие черты, восходящие к южнославянским протографам, что и отражено плюсами, стоящими в первой строке[15]. Для весьма ограниченного круга памятников характерно и

[15] Не совсем ясно, как соотносится эта черта с обозначением палатальности сонорных. В ОЕ палатальность обозначается — преимущественно йотацией последующего гласного и в нескольких случаях крючком при **ʌ** (Козловский 1885—1895, 20). В Слуцкой псалтири для этой цели, возможно, используется надстрочный знак (Тот 1982, 161), хотя достоверные данные отсутствуют.

стремление к употреблению юсов в соответствии с теми позициями, которые они занимают в южнославянских протографах (что и обозначается традиционно как стремление к «этимологически правильному» написанию, хотя этимология, очевидным образом, была для славянских книжников безразлична). К ним относится ОЕ, Туровские листки и Тринадцать слов Григория Богослова (Дурново 2000, 407), а также ряд отрывков (Слуцкая псалтирь, Житие Кондрата, Житие Феклы — Тот 1985, 75—93). Как можно видеть, и эта черта обладает большой предсказующей силой. В рукописях, обладающих этой чертой, появляются и другие «южнославянские» характеристики, кроме окончания **-тъ** в третьем лице презенса (отсутствует в Туровских листках и у Григория Богослова); неопределенной остается лишь ситуация с обозначением палатальных сонорных (они никак не обозначаются в Житии Кондрата — Тот 1985, 155—156).

Вопрос о том, как соотносится с другими признаками наличие флексий Instr. sg. **-омь**, **-ємь**, требует дальнейшего исследования и уточнения. Окказионально эти флексии употребляются едва ли не в большинстве памятников XI — первой половины XII в., вливаясь в конце концов в массу написаний с прояснившимися редуцированными. Существенную пропорцию в отношении к написаниям с **-ъмь**, **-ьмь** они составляют, однако, лишь в относительно небольшом числе памятников; уже в ОЕ их пропорция менее 10% (Дурново 2000, 664), хотя имеются рукописи, в которых флексии **-омь**, **-ємь** доминируют (например, Путятина минея). Какова значимая пропорция написаний с **-омь**, **-ємь**, подлежит уточнению; только при этом условии можно будет осмысленно говорить о соотношении данного признака с такими чертами, как написание рефлексов редуцированных с плавными и **жд** в рефлексах **dj*. Что касается первых двух черт, то здесь ситуация ясна: в рукописи может быть существенная пропорция написаний с **-омь**, **-ємь**, при том что нет ни **-тъ** в презенсе, ни этимологически правильного написания юсов. Ясна и ситуация с двумя последними признаками: обозначение палатальных сонорных прямо с характером окончаний в Instr. sg. не связано, тогда как существенная пропорция написаний с **-омь**, **-ємь** соотнесена с доминирующим употреблением **рѣ** в рефлексах **CerC*.

Сходные проблемы возникают и в отношении написания рефлексов редуцированных с плавным. Преимущественное написание еров после плавного может иметь место и в рукописях, не знающих ни презенса на **-тъ**, ни этимологически правильного употребления юсов. Соотношение с употреблением Instr. sg. на **-омь**, **-ємь** и с пропорцией **жд** в рефлексах **dj* требует дополнительного исследования. Последнее соотношение, как кажется, не обладает иерархической структурой. Есть рукописи, такие как И1073[1] или ЧП, в которых доминируют «восточнославянские» написания еров с плавными, тогда как пропорция **ж** незначительна (Лант 1949, 114). Есть, однако же, и рукописи с противоположным соотношением, например М1097, в которой у первого писца преобладают «южнославянские» написания с ерами после плавного, тогда как написания с **ж** в рефлексах **dj* встречаются существенно чаще, чем написания с **жд**. Прямой связи между написаниями рефлексов редуцированных с плавными и обозначением палатальных сонорных не просматривается. Что же касается употребления **рѣ** в рефлексах **CerC*, то и в данном случае высокая пропорция «южнославянских» написаний с ерами после плавного индуцирует и высокую пропорцию написаний с **рѣ**.

Соотношение с другими признаками признака преимущественного написания **жд** в рефлексах **dj* очевидно из сказанного выше. Ясна и ситуация с обозначениями палатальных сонорных: орфографические системы, предусматривающие такие обозначения и не предусматривающие их, сосуществуют, и их реализация не зависит от реализации других признаков (за исключением, возможно, лишь **-тъ** в презенсе, предполагающего особо выраженное следование южнославянской традиции). Употребления **рѣ** в рефлексах **CerC* удерживается в восточнославянских рукописях дольше, чем какая-либо другая черта южнославянской традиции, не находящая опоры в живом языке пишущих. Соответственно, наличие всех прочих рассматриваемых здесь «южнославянских» написаний (признаки 1—5) предопределяет реализацию этого признака.

Изложенная выше схема соотношения различных параметров правописания представляет собой лишь небольшой и неполный фрагмент описания разнообразия орфографических си-

стем, реализующихся в рукописях одного периода. Можно было бы пополнить число признаков и можно было бы раздвинуть хронологические рамки. Однако и в виде наброска эта схема показывает, сколь много зависит от индивидуального выбора писца, и вместе с тем проясняет те ограничения, которые накладываются на идиосинкразии книжника.

Понятно, что при изменении хронологических параметров в анализ оказываются вовлечены другие признаки. Все признаки, конечно, могут быть выстроены в единый ряд, и характер их соотнесения представлен в единой таблице; такое представление могло бы продемонстрировать динамику правописной практики на всем протяжении XI—XIV вв., но было бы лишено наглядности (которая является единственным raison d'être всяческих таблиц). Воздерживаясь в силу этого от умножения столбцов и строк, остановлюсь кратко на том, как могла бы выглядеть та часть таблицы, которая описывала бы правописание XII — начала XIII в.

Для этого периода большинство признаков, рассмотренных выше, перестает быть релевантным, поскольку в этот период больше не появляется рукописей с окончанием **-тъ** в третьем лице презенса, воспроизведением этимологически правильного употребления юсов или преимущественным написанием рефлексов редуцированных с плавным в виде «плавный + еры». В начале XII в. встречаются еще рукописи с преимущественным написанием **жд** в рефлексах **dj*. Рукописи с флексиями Instr. sg. **-омь**, **-ємь** появляются, но эти флексии оказываются элементом не архаичной, а новой правописной практики, развивающейся в связи с падением и прояснением редуцированных. С этим судьбоносным процессом связано постепенное преобразование орфографических систем, в которых сначала «фонетические» правила замещаются «морфологическими», а затем (впрочем, уже за пределами трактуемого сейчас периода) происходит перестройка всего механизма употребления еров (см. Хабургаев 1976; Живов 1984, 262—263; Успенский, III, 162—178).

Для периода XII — начала XIII в. можно было бы рассматривать следующий набор признаков (не претендую на то, чтобы он был исчерпывающим): (1) употребляется буква **ж**; (2) имеется существенная пропорция (конкретные параметры подлежат

уточнению) написаний с **жд** в рефлексах **dj*; (3) последовательно обозначаются палатальные сонорные (с помощью особых букв, или надстрочного знака, или написания йотированных гласных после сонорного); (4) имеется существенная пропорция (конкретные параметры подлежат уточнению) написаний с **рѣ** в рефлексах **CerC*; (5) большая часть слабых редуцированных в корнях не обозначается[16]; (6) большая часть слабых редуцированных в суффиксах (на стыке суффикса и основы) не обозначается; (7) имеются неединичные случаи необозначенных (опущенных) слабых редуцированных в предлогах и приставках; (8) на месте (бывших) сильных редуцированных в корнях в большинстве случаев пишется **о**, **є**; (9) на месте (бывших) сильных редуцированных в суффиксах и окончаниях в большинстве случаев пишется **о**, **є**; (10) на месте редуцированных в рефлексах редуцированного с плавным в большинстве случаев пишется **о**, **є**; (11) имеются неединичные случаи написания **о**, **є** на месте редуцированных в предлогах и приставках; (12) на месте **є** в новых закрытых слогах в большинстве случаев пишется **ѣ** (новый **ѣ**).

Я оставляю будущему исследователю попытки разобраться в том, как для этих признаков могла бы быть заполнена таблица, аналогичная приведенной выше. Это явно непростая проблема, требующая объемных и кропотливых исследований, статистических подсчетов[17] и, видимо, усовершенствования

---

[16] Из подсчетов должны быть, естественно, исключены те корни, в которых еры с древнейших времен опускались в качестве орфографической условности, — **кнѧз-**, **кт-**, **мног-**, **вс-**, **книг-** и т. д. (см. о них Дурново 2000, 418—434; Успенский 2002, 136—137). О неправомерности интерпретации подобных примеров как свидетельств начального этапа восточнославянского процесса падения редуцированных, который при подобной трактовке начинается в «безударных» первых слогах слова (эта трактовка восходит к А. А. Шахматову и затем некритически воспроизводится в десятках работ, затрагивающих данный вопрос, ср. хотя бы: Шевелов 1979, 238—239), см. Зализняк 2004а, 63—64 (ср. еще Зализняк 1985, 168—172).

[17] Ценные, хотя и не всегда адекватно интерпретируемые статистические данные о написании еров в рукописях XII в. можно найти в работах О. В. Малковой — Малкова 1966; Малкова 1987а; Малкова 1987б.

теоретического аппарата, который должен был бы предусмотреть возможность соотнесения статистических значений отдельных признаков (в процентах, а не в общих характеристиках типа «большой части» или «неединичных случаев»). Именно в рамках подобного построения можно увидеть, где писец следует обычной для его времени практике, а где он уникален в своем индивидуальном выборе. Так, например, именно на фоне общей картины становится ясна необычность правописной манеры писца Симоновской псалтири последней четверти XIII в. (см. издание: Амфилохий 1873—1878; лингвистическое описание прискорбным образом отсутствует). Он окказионально употребляет **ѫ**, в рефлексах **CerC* чаще пишет **рѣ**, нежели **ре**, но при этом последовательно ставит **ж** в рефлексах **dj* и по большей части опускает еры в соответствии со слабыми редуцированными на стыке основы и суффикса и в корнях (**застоупникъ** Пс **41** 10, **помощникъ** 45: 2, **отци** 43: 2, **овца** 43: 12).

Предлагаемое построение задает типологию рукописей (писцов), которая обладает определенной предсказательной силой в отношении того, какие правописные практики могут совмещаться в рамках одной рукописи. Как мы видели, навыки писцов в этих случаях могут различаться по ряду существенных признаков, однако же они (естественно, при условии одновременной работы писцов) всегда, насколько мне известно, принадлежат к близким (в терминах предлагаемой классификации) орфографическим типам. Нет, скажем, таких рукописей, в которых один писец стремился воспроизвести этимологически правильное написание юсов, а другой писал бы **ж** преимущественно перед **жд** в рефлексах **dj*.

Важно отметить, что для орфографических систем, сосуществующих в один исторический период, предсказательная сила рассматриваемой классификации существенно меньше. Иными словами, в один период могут существовать системы, типологически весьма несходные. Нормативное ядро для каждого данного периода определяется лишь немногими общими признаками; оно лишь частично ограничивает разнообразие сосуществующих орфографических систем. Именно поэтому для любого периода оказывается возможным говорить об «архаически» написанных рукописях и рукописях «инновативно-

го» письма, имея в виду не хронологию (поскольку речь идет о памятниках одного периода), а типологию, поскольку эта типология предполагает определенную псевдохронологическую шкалу инновативности.

Поясню сказанное одним примером. Большинство рукописей XII в. в той или иной мере отражает падение и прояснение редуцированных, однако характер и степень отражения этого явления в разных рукописных традициях весьма различны. С почти исчерпывающей полнотой результаты данного процесса запечатлелись в Добриловом евангелии 1164 г. (Малкова 1967), которое порою трактуется как характерный в данном отношении памятник второй половины XII столетия. Такая трактовка, несомненно, неправомерна, поскольку других сходных в этом аспекте рукописей не появляется не только в тот же период, но и в течение как минимум последующего полувека. Более ограниченное отражение результатов падения и прояснения редуцированных отмечается, однако, в большом числе рукописей.

Одной из основных категорий, в которых отражается прояснение редуцированных, являются флексии Instr. sg., которые начинают писаться в виде **-омь**, **-ємь**. Так, например, обстоит дело в Типографском евангелии № 6 XII в. (РГАДА, ф. 381, № 6). В первом почерке этой рукописи встречается, по данным О. В. Малковой (там же, 12), «250 случаев употребления **о**, **є** на месте **ъ**, **ь** в сильной позиции», из них 150 приходятся на окончания Instr. sg., при том что с «**ъ**, **ь** это окончание отмечено всего около 20 раз» (там же), т. е. написания с ерами составляют приблизительно 12% от всех релевантных примеров (там же, 13). Во втором почерке аналогичные цифры составляют 17 и 4 примера, т. е. написания с ерами составляют приблизительно 19%. Сходное положение в Выголексинском сборнике XII—XIII вв. (там же; ср. еще: Судник 1963, 96; Голышенко 1977, 28), с той, однако, замечательной особенностью, что в 19 случаях **о** в данном окончании самим писцом исправлено на **ъ**. Наиболее радикально Добрилово евангелие, в котором результаты прояснения редуцированных в суффиксах и окончаниях представлены в 638 случаях из 643 (99.22%); в Instr. sg. лишь одна форма записана с **ъ**: **вѣтръмь** 52г (Малкова 1987б, 206—207). Это выделение флексии Instr. sg. из других последовательностей с сильными редуцированными

(особую продвинутость данного контекста в отражении результатов прояснения редуцированных) трудно не связать с тем обстоятельством, что в предшествующей рукописной традиции **-омь**, **-ємь** уже существовали, так что новое написание могло контаминироваться со старым, предваряющим написание **-ъмь**, **-ьмь** и «освященным» древностью.

Совсем другую ситуацию наблюдаем в Стихираре, ГИМ, Син. 279, вряд ли написанном существенно ранее Добрилова или Типографского евангелия. Падение редуцированных отразилось и в этом памятнике, хотя и в очень ограниченном объеме (что, возможно, связанно с тем, что он нотированный). Слабый редуцированный пропущен всего в 4 случаях: **вѣрно** 30 об., 88, **злодѣиство** 42, **злобою** 157 об.[18] О падении редуцированных косвенно свидетельствует и написание **мъ** в окончаниях Instr. sg., поскольку отвердению /m/ должно было предшествовать падение финальных редуцированных (именно с конца слова и начинается данный процесс); таких примеров в основном почерке рукописи (л. 11—97, 98_9—104 об., 106 об. (кроме стр. 8—15) — 147 об., 149—162_9) восемь: **андро/никъмъ моудръимъ** 35 об., **словъмъ** 90 об. и т. д. Флексии Instr. sg. пишутся с ерами перед **м** в 107 случаях (**соудъмь** 15 об., **лицьмь** 16 об., **страхъмь** 17 и т. д.), в 16 случаях встречаются написания с **о**, **є** (эти написания составляют, таким образом, 13.01% от общего числа): **ѥстьствомь** 32 об., **словомь** 61, **ангеломь** 63, **праздьникомь** 86 об. и т. д. В 6 случаях (посчитанных как формы с ерами) имеются исправления **-омь** на **-ъмь** или **-ємь** на **-ьмь**: **богъмь** 58, **пꙋтьмь** 68 об., **ѥстьствъмь** 100, **млекъмь** 115 об., **поспѣшьствъмь.** 121 об., **оубииствъмь** 156.

Особый интерес этого примера состоит в том, что писец продолжает руководствоваться правилом, предписывавшим писать

---

[18] Не включаю в подсчет примеры с корнями **кнѧз-**, **мног-**, **вс-**, в которых еры не пишутся в силу традиционного сокращения. Любопытно отметить, что в нескольких случаях сокращенного написания этих корней над первым согласным стоит особая невма (над **в** в **всѣмъ** 20 об., **вси** 50, **всємь** 127 об., над **м** в **многострастьнии** 47). Это ясно свидетельствует о том, что пропуск еров в данных случаях является орфографическим приемом, не имеющим никакого отношения к фонетической реализации. Отмечу еще написание **мъногостра/стьнє** 109 об., где **ъ** исправлен из **о**.

еры в окончаниях Instr. sg., хотя, как об этом свидетельствуют пропуски еров в отдельных формах и, по-видимому, окказиональное, противоречащее этому самому правилу написание **о** в тех же флексиях Instr. sg., в его живом языке этому ничто не соответствует. Писец явно следует в данном случае орфографической традиции, связывая именно с ней свой выбор правописной практики. На сознательность этого выбора указывают исправления в формах Instr. sg. В силу этого выбора рукопись и приобретает «архаический» характер. У писцов Типографского или Добрилова евангелия другие установки; они скорее являются модернизаторами, нежели хранителями традиции. Их правописная практика соответствует этим установкам.

Таким образом, различие в установках определяет и разнообразие правописных практик, сосуществующих в один исторический период. Оно идет не из «языка» как некоего абстрактного начала и не из «объективной» исторической фонетики, но от писцов как субъектов языковой деятельности. Нормативность в этих условиях состоит в том, чтó единодушно выбирается всеми писцами данного периода. Именно подобным образом и возникает то нормативное ядро, о котором мы говорили выше. Так, скажем, ни писцы Типографского и Добрилова евангелия, ни писцы Стихираря, при всем различии в их установках, не употребляют йотированных юсов, все они ставят гласную перед плавным в рефлексах редуцированного с плавным, пишут **ж** преимущественно перед **жд** в рефлексах **dj*. Постулируя нормативность, мы апеллируем к этому ядру, оставляя вместе с тем свободное пространство для вариативности и учитывая тем самым функционирование языка как средства, используемого пишущим в соответствии с его индивидуальными пристрастиями, задачами и выбором традиции, которая по тем или иным причинам оказывается для него привлекательной.

Вариативность и историко-культурные параметры. Индивидуальный выбор оказывается существенным моментом в формировании правописной практики в силу того общего (и отнюдь не специфичного для средних веков и восточнославянского ареала) обстоятельства, что язык живет не как абстрактная метафизическая система, а как инструмент в руках у его поль-

зователя. Располагая вариантами, пользователь языка вовсе не стремится от них избавиться и унифицировать свой узус. Как раз такое стремление специфично и в историко-культурном, и в социальном отношении и характерно в первую очередь для эпох формирования языкового стандарта, когда унифицированный узус превращается в форму лингвистического капитала (см. Бурдье 1991; ср. еще: Живов и Тимберлейк 1997). Вне этого особого исторического контекста пользователь языка никакого отвращения к вариативности не испытывает; напротив, он нередко предпринимает попытки как-либо этой вариативностью воспользоваться, решить какие-либо свои коммуникативные задачи с помощью той возможности выбора, которую создает существование вариантов.

Задачи, которые решаются дифференциацией вариантов на разных языковых уровнях, различны. Дифференциация морфологических вариантов, как правило, служит для сообщения дополнительной семантической информации. Так, например, обстоит дело с вариативностью Acc.=Nom. и Acc.=Gen. у существительных ед. числа муж. рода в период становления категории одушевленности: используются оба варианта, и с их помощью может противопоставляться индивидуированный и неиндивидуированный одушевленный объект (см.: Тимберлейк 1997а). В различных семантических и эвфонических целях могут использоваться формы имперфекта с аугментом и без него (Тимберлейк 1997б; Тимберлейк 1998; Живов 2003). Различные функции могут получать флексии Acc.=Gen. sg. **-аго** и **-ого** (Гиппиус 1993, 74—76). Подобные примеры нетрудно умножить. Во всех этих случаях мы имеем дело с относительно индивидуальными практиками — в том смысле, что они могут быть представлены в одних текстах и отсутствовать в других (имею в виду тексты одного времени), т. е. использоваться в качестве инструмента одними авторами (писцами) и не использоваться другими или использоваться разными авторами в разных целях. Существенно, однако, что интенция сделать из вариативности какое-либо употребление присутствует во всех этих случаях и может рассматриваться как постоянное и имманентное свойство существования морфологических вариантов.

С чисто орфографическими вариантами складывается, как кажется, несколько иная ситуация — во всяком случае, вплоть до периода после второго южнославянского влияния и развития грамматического подхода к книжному языку, когда орфографические условности начинают использоваться для дифференциации омонимичных лексических и грамматических единиц (Успенский 2002, 325—334; ср. еще: Живов 1995). Это не означает, однако, что орфографические варианты вплоть до этого момента существуют без всякой «мотивированности», т. е. без всякой функциональной нагрузки. Характер письма связан с характером текста. Поэтому выбор той или иной правописной практики может служить указанием на то, какой по характеру текст производит пишущий. Тем самым этот выбор может быть сознательным и значимым, входить в интенции пишущего и нести определенную информацию, важную для адресата данного текста.

Наиболее очевидным образом эта функциональная мотивированность проявляется у противопоставления книжного и некнижного письма (о некнижном письме как систематической правописной практике см. Зализняк 2004а, 21 сл.; Зализняк 2002а; ср. еще ниже). Эти два типа письма довольно последовательно распределены по типам текстов. Книжным письмом пишутся книжные (церковные) тексты и тексты, обладающие определенным официальным статусом. Некнижным письмом пишутся некнижные тексты частного и сиюминутного характера, официальным статусом не обладающие (так называемые бытовые берестяные грамоты). Это распределение не выдерживается с абсолютной последовательностью, однако оно значимо для подавляющего большинства сохранившихся текстов[19]. Бо-

---

[19] Исключения немногочисленны и, как кажется, могут быть объяснены особыми обстоятельствами появления аномальных текстов. Так, с одной стороны, можно указать на список А договора Смоленска с Ригой и Готским берегом 1229 г., обладающего официальным статусом, но написанного тем не менее некнижным письмом (возможно, потому, что писец был неуверен в своей способности передать нестандартный нецерковный материал в книжной орфографии). С другой стороны, это два берестяных текста второй половины XIII в., содержащие церковные молитвы и написанные некнижным письмом, — новгородские берестяные грамоты

лее того, можно утверждать, что оно было значимо для авторов дошедших до нас документов.

Свидетельством может служить новгородская берестяная грамота № 724 третьей четверти XII в. (текст и комментарии см. Зализняк 2004а, 350—354). Грамота представляет собой письмо от Саввы из Югорской земли в Новгород. Первая часть письма написана на лицевой стороне бересты, вторая, своего рода постскриптум, — на обороте. В первой части идет речь о сборе дани и о конфликтах, возникших на этой почве; это своего рода официальное донесение. На обороте Савва пишет о своих личных делах, о правах на владение какими-то участками. В официальной части Савва пишет по-книжному, что включает опущение еров и отсутствие диалектных форм. В неофициальной мы находим обычное бытовое письмо с диалектными формами и сохранением рефлексов редуцированных, обусловленным практикой скандирования (**къняззь**, **мъстѣ**, **ѹчястокѣ**, **довѣдока**), восходящей к «тому предельному варианту чтения по складам, при котором консонантные сочетания разбиваются на отдельные склады» (Зализняк 1993, 253). По словам А. А. Зализняка, «грамота № 724 оказывается уникальным свидетельством того, что в древней Руси грамотные люди (или, по крайней мере, некоторые из них) умели писать в разных манерах, т. е. были способны при надобности менять свою орфографическую и грамматическую установку» (Зализняк 2004а, 352).

Несколько менее яркое, но все же значимое свидетельство подобного умения дают записи уставом XIII в. на последнем листе рукописи Огласительных поучений Кирилла Иерусалимского конца XI — начала XII в. (ГИМ, Син. 478, л. 271 об.). Одна из записей сделана глаголицей, другая, теми же чернилами (СК 1984, № 45, с. 84), написана некнижным письмом с меной **ъ** и **о**, **ь**, **є** и **ѣ** (Горский и Невоструев, II, 2, № 114, с. 48). Кажется привлекательным объяснять эту странность не тем, что автор приписки не владел книжным письмом (что было бы несколько

№ 916 и № 419 (последняя представляет собой берестяную книжечку). По-видимому, оба текста записаны людьми, не владевшими книжным письмом и, возможно, писавшими по памяти (см. тексты и комментарий к ним: Зализняк 2004а, 523—524).

удивительно для автора приписки, прочитавшего не самый простой церковнославянский текст и нацарапавшего глаголицей «**спаси г҃и полита**»), а тем, что он противопоставлял основной «сакральный» текст своим личным заявлениям, используя для этого противопоставления оппозицию книжного и некнижного письма (равно как книжного кириллического письма и глаголицы) (ср. еще запись Евсевия на Евсевиевом евангелии 1283 г.: РГБ, Муз. 3168, л. 62в; Столярова 2000, 130).

Как мы видели, книжное письмо в каждый из исторических периодов также существует в ряде вариантов, так что книжник, копирующий рукопись, имеет возможность выбирать из нескольких правописных практик. Мотивировка каллиграфических особенностей рукописей в целом ясна. Роскошные кодексы типа Мстиславова евангелия пишутся более красивым, более стабильным и более отчетливым почерком, чем такие «рабочие лошадки», как изданные В. Ягичем новгородские минеи. Однако насколько сознателен, целенаправлен и значим мог быть орфографический выбор, у нас нет возможности судить, поскольку для этого мы не располагаем никакими прямыми свидетельствами, а свидетельства косвенные открыты для слишком большого репертуара интерпретаций. Что стояло за тем, что писец Галицкого евангелия 1144 г. придерживался относительно традиционной орфографии, стараясь «правильно» (в соответствии с правилами, которыми руководились его предшественники) писать еры, а писец написанного через двадцать лет (в 1164 г.) Добрилова евангелия решил эту традицию игнорировать и радикально упростить правила употребления еров? Было ли это связано с тем, что Галицкое евангелие — это тетр, а Добрилово — апракос? Или с какими-либо общими реформистскими установками писца Добрилова евангелия? Или с характером его образования, обучения письму, доминирующими практиками скриптория, в котором он работал? У нас нет ответа на этот вопрос, и не видно, с помощью каких исследований его можно было бы получить.

Тем не менее некоторые умозаключения, относящиеся к этой сфере, все же могут быть сделаны. Установки писцов, копировавших летописные своды, могли быть различными. В настоящее время некоторой передержкой кажется представление

А. А. Шахматова о процессе составления летописей, согласно которому едва ли не каждый книжник, принимавшийся за летописный труд, манипулировал текстами, доставшимися ему в наследство от его предшественников, редактировал и «сводил» их (отсюда и постоянно употребляемое нами понятие «летописного свода», для древнейшего периода отнюдь не всегда осмысленное). В обычном случае летописцы ставили перед собой более скромные задачи: продолжить труд своего непосредственного предшественника и при необходимости переписать появившуюся в результате подобных трудов рукопись (см.: Тимберлейк 2000). В лингвистическом отношении копирование могло производиться по-разному. Одни книжники унифицировали правописание того оригинала (оригиналов), с которым они работали, приводя его в соответствие с собственной правописной практикой; другие — оставляли воспроизводимый текст как он есть, производя разве что окказиональные изменения; возникавшие в результате второй стратегии кодексы характеризовались лингвистической гетерогенностью.

Обе стратегии обнаруживаются в Синодальном списке Новгородской первой летописи. Написанная первым почерком первая часть летописи (до 1234 г.) воспроизводит особенности своего оригинала без заметной ревизии; второй писец, работавший позже (с 1330 г.) и написавший вторую часть кодекса, унифицировал правописание той части, над которой он трудился. В результате лингвистическая (в том числе и правописная) гетерогенность первой части выражена несравненно сильнее, чем лингвистическая гетерогенность второй части (о том, как образовался Синодальный список, о его составе и почерках см. Гиппиус 1997; ср. также Гиппиус 1992; специально о лингвистической гетерогенности данного списка см. Гиппиус 1996). Гетерогенность первой части распространяется не только на вариативность морфологических форм, но и на орфографические условности (ср., например, о неодинаковом для разных лет употреблении букв оү, ȣ и ү: Гиппиус 1997, 65, примеч. 158).

Насколько мне известно, ни один книжный писец, работавший в XI—XIV вв. с евангельскими или богослужебными рукописями, такой стратегией, как первый писец Синодального списка, не пользовался. Никакой гетерогенности (в пределах одного

почерка), хотя бы отдаленно напоминающей гетерогенность первой части Синодального списка, в церковно-богослужебной письменности рассматриваемого периода не обнаруживается[20]. Это обстоятельство несомненно связано с местом летописей (как типа письменного памятника) в иерархии книжных текстов (об иерархии книжных текстов см.: Гиппиус 1989). В этой иерархии летописи стоят на самой нижней ступени. С одной стороны, они могут почти не подвергаться правке, с другой — замены в них не подвержены столь жесткому контролю, как замены в текстах, использовавшихся при богослужении. Именно поэтому в летописании книжники могут работать и как бесхитростные копиисты (консервирующая установка), и прямо противоположным образом — перенося на воспроизведение летописей те навыки книжного письма, которые они выработали при работе с иерархически более значимыми текстами (унифицирующая установка).

Правописная практика писца связана, таким образом, с типом текста, над которым он трудится. Это означает, в частности, что с типом текста соотносится тип книжного письма, к которому прибегает книжник, и, следовательно, выбор правописной практики несет определенную информацию о содержательных параметрах текста (обладает семиотической значимостью). Наиболее последовательная и тщательно соблюдаемая орфографическая практика наблюдается в образцовых текстах — текстах Св. Писания и богослужения, — правильность передачи которых непосредственно связана с религиозными ценностями. Тексты, предназначенные для частного (например, келейного) чтения воспроизводятся менее тщательно (т. е. с меньшей последовательностью в соблюдении избранной писцом орфографической системы), поэтому, например, в аскетических или церковно-канонических памятниках находим бóльшую лингвистическую вариативность, чем, скажем, в текстах Евангелия, Псалтыри или служебных миней. Эта зависимость правописной

---

[20] О гетерогенности в правописании второго писца Пандектов Антиоха по неоднократно упоминавшемуся списку ГИМ, Воскр. 30 XI в. см. ниже. Пандекты Антиоха, впрочем, представляют собой текст, предназначенный для келейного, а не для богослужебного чтения.

практики от типа текста была в свое время отмечена Н. Н. Дурново, который писал:

> Разное отношение писцов к правописанию их непосредственных оригиналов и вызванные этим либо близость правописания писанных ими рукописей к правописанию оригинала, либо его относительная независимость стояли в связи как с индивидуальными способностями и грамотностью писцов, так и с характером списываемого текста. Писцу не приходилось следить буква за буквой за написаниями оригинала при переписке хорошо знакомых ему текстов, например, Евангелия; наоборот, при списывании малопонятного богословского трактата, где переписчику были неясны самые слова и их грамматическая зависимость, трудно было писцу руководиться своим знанием книжного языка и правописания и приходилось ближе держаться к написанию оригинала; таким образом, a priori можно предположить, что зависимость правописания рукописи от правописания ее непосредственного оригинала тем меньше, чем больше знаком писцу переписываемый текст. Так как естественно, что более ценные рукописи, каковы напрестольные списки Евангелия, поручались более опытным, т. е. более грамотным писцам, то всего менее приходится искать следов правописания непосредственных оригиналов в напрестольных Евангелиях (Дурново 2000, 645—646).

Хотя на самом деле нам неизвестно, как распределялась работа между писцами и какие обстоятельства играли здесь роль, и хотя вряд ли можно утверждать, что напрестольные евангелия всегда написаны более тщательно и последовательно в орфографическом отношении, чем все прочие рукописи (скажем, писец напрестольного Добрилова евангелия 1164 г. допускает существенно бóльшую вариативность, чем писец ненапрестольного, как кажется, Галицкого евангелия 1144 г.), наблюдения Дурново в целом справедливы. Знакомство с текстом представляется, в самом деле, одним из важных факторов, влияющим на особенности правописной практики — возможно, в силу того, что в этом случае внутренний диктант писца получает характер автоматизма.

Было бы, однако, поспешным принимать его за константу, равномерно влияющую на облик дошедших до нас рукописей: одни писцы были более опытными и, видимо, знали тексты почти наизусть, другие (например, в начале своей карьеры) могли

спотыкаться даже и на евангельском тексте. Видимо, на правописную практику мог влиять — причем влиять в противоположном направлении — и другой фактор: религиозная важность текста. Ошибка в Евангелии была страшнее ошибки в аскетическом трактате. Соответственно, над Евангелием книжник работал тщательнее и, возможно, чаще справлялся с оригиналом. Другое дело, что это обращение к оригиналу могло вовсе не приводить к воспроизведению написаний оригинала, поскольку никаких оснований доверять этому оригиналу больше, чем своим навыкам, у опытного книжника не было. Работа над наиболее важными в религиозном отношении памятниками могла, таким образом, характеризоваться не бóльшим автоматизмом (как полагал Дурново), а большей тщательностью, однако тщательность, как правило, понималась как бóльшая (но всегда относительная) выдержанность орфографической системы.

Вариативность в текстах, не входивших в основной корпус (под основным корпусом понимаю Евангелие, Псалтирь, основные богослужебные книги), определялась еще и тем, что в них нередко встречались лексические элементы, которые писец с трудом опознавал или не опознавал вовсе. В подобном случае книжник обычно воспроизводил то, что видел в оригинале (хотя случалось, что он придумывал вместо этого нечто для себя понятное и заменял им смутившее его слово или словосочетание; так в списках появляются испорченные пассажи). Воспроизведенный элемент мог при этом вступать в противоречие с той орфографической системой, которой придерживался писец. Так, как мы видели выше, нередко обстояло дело с реликтовыми написаниями **жд** на месте **dj* в рукописях, последовательно употреблявших в этой позиции **ж** (см. выше о Троицком сборнике и Добриловом евангелии). Красноречивый пример такой орфографической аномалии находим все в том же Троицком сборнике. Переписывая Пандекты Антиоха из рукописи ГИМ, Воскр. 20, писцы, как уже говорилось, последовательно устраняли особенности написания, противостоявшие нормам конца XII — начала XIII в., в частности они устраняли буквы **ѫ**, **ѭ**, **г**, заменяя их «восточнославянскими эквивалентами» (Поповски 1989а, 132). В одном случае, однако, **ѫ** остается неустраненным, ср.:

Воскр. 30	Троицк. 12
подобьнь бо есть постьникь фоуниковоу цвѣтоу. гл҃емꙋмоу алаѳиѫ 7: 1.15—16	**подобьнъ бо ѥсть постьникъ фюниковоу цвѣтоу. гл҃ѥмꙋмоу алаѳиѫ** 68.1—3

Кажется весьма правдоподобным, что название цветка финика было восточнославянскому книжнику неизвестно. Столкнувшись с этим неведомым словом, книжник предпочел его не трогать, воспроизведя в точности ту форму, которая была в оригинале. Он, таким образом, пожертвовал последовательностью своей правописной практики, стремясь избежать искажения непонятной ему лексемы[21]. И в этом случае орфографический выбор писца оказывается опосредованно связан с характером копируемого текста (незнакомые слова встречаются в текстах, относительно маргинальных для православного церковного обихода: **алаѳиѫ** не найдешь ни в Евангелии, ни в Псалтири), а тем самым и с культурным контекстом, в котором работает книжник.

Вариативность, орфографические правила и профессиональные навыки писца. Нормативность письма обеспечивалась орфографическими правилами (как и в современном русском языке). Орфографические правила входили в профессиональные навыки писца и отличали его от авторов письменных текстов, не обладавших профессиональной подготовкой. Тщательность письма, о которой мы говорили выше и которая в разной степени характеризует памятники разного типа, состоит

[21] В одном случае в Троицком сборнике сохраняется **ѭ**. И в этом случае ее сохранение связано, видимо, с тем, что писец испытывал трудности в идентификации форм, а именно, в опознании формы анафорического местоимения ж. рода в Acc. sg. **ѭ**; более естественной ему, возможно, представлялась фраза без этого местоимения (поскольку анафора содержалась уже в местоимении **вьсю**), однако опустить затруднившую его форму он не решился, см. этот пример:

Воскр. 30	Троицк. 12
егда бо люкавънъи съ бѣсъ. обьметъ дш҃оу. и вьсѫ ѭ омрачитъ 25: 1.10—12	**ѥгда бо лоукавьнъıи сь бѣсъ. ѡбьиметъ дш҃ю. и вьсю ѭ омрачитъ** 73 об.6—8

в первую очередь в неуклонности соблюдения правил. То, как соблюдались правила и в какой степени они соблюдались, зависело в существенной степени от природы самих правил, от их сложности, от того, какую лингвистическую информацию они использовали. Поскольку эта проблема подробно обсуждается в ряде моих работ (Живов 1984; Живов 1986), я воздержусь здесь от ее систематического рассмотрения и остановлюсь лишь на тех ее аспектах, которые, как мне представляется, нуждаются в дальнейшем уяснении.

Орфографические правила являются частью того механизма, который соотносит правописание и произношение, т. е. графический уровень и фонетический уровень. Древнее восточнославянское правописание соотносится с современным ему книжным (церковным) произношением, как на это указывал еще А. А. Шахматов[22]. Шахматов понимал книжное произношение как орфоэпическую традицию, реализовавшуюся в церковном (литургическом) чтении. Это понимание, не будучи неверным, апеллировало, однако, к явлению, которое само по себе плохо поддается реконструкции (отсюда ряд ошибочных заключений Шахматова — например, о произношении ѣ). Традицией, на которой основывалось книжное произношение, было не литургическое чтение само по себе, но обучение чтению, а именно, обучение чтению по складам (о традиции этого обучения см. Успенский III, 246—288; Живов 1996а, 20—23). Это обучение, которое в древней Руси проходил всякий грамотный человек, и было той институциональной основой, на которой зиждилась традиция книжного произношения.

Чтение по складам состояло в произнесении, выучивании и записывании графических последовательностей типа «со-

[22] Шахматов писал: «Между живой русской речью и письменным языком оказывалось средостение в виде ‹...› церковного произношения. Переписчики, контролируя списываемые оригиналы известным им церковным произношением, произношением для них авторитетным, для них самих обязательным, стали отступать при переписке от своих оригиналов; но ‹...› делая такие отступления, полагали, что отступают в пользу церковного языка, не заботясь о том, что вместе с тем эти отступления сближали письменный язык (в некоторых чертах) с живым народным произношением» (Шахматов I, 191).

гласный (+ согласный) (+ согласный) + гласный», в котором на первом месте фигурировали все содержавшиеся в азбуке согласные, а на втором — все содержавшиеся в азбуке гласные. В результате возникало соотнесение графического и фонетического уровней, которое может быть представлено в виде **ба** ⇔[ba], **ва** ⇔[va], **га** ⇔[γa], **бє** ⇔[be], **вє** ⇔[ve], **гє** ⇔[γe] и т. д. Отсюда выводились элементарные (базисные) соответствия букв и фонем типа **а** ⇔[a], **б** ⇔[b], **в** ⇔[v], **г** ⇔[γ], **є** ⇔[e] и т. д. Умение читать обеспечивало и умение писать — фиксировать на письме звуковые цепочки в согласии с базисными соответствиями, заданными чтением по складам. Это, однако, не решало всех проблем правописания. Механизм базисных соответствий давал сбои в двух разрядах случаев: (1) в случае звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями; (2) в случае омофоничных букв, т. е. букв, соответствующих одной фонеме — во всех позициях (как **и** и **ї**) или в позиции нейтрализации какого-либо фонологического противопоставления (как **оу** и **ю** в позиции после палатальных согласных).

Именно в этих случаях и должны были работать специальные орфографические правила. Эти правила не входили в элементарное образование и не выучивались при обучении чтению по складам. Они были достоянием профессионального образования книжных писцов. В силу этого они противопоставляли книжное письмо — письмо, оперирующее со специальными орфографическими правилами, — некнижному (или бытовому) письму, основанному исключительно на базисных соответствиях, усвоенных в процессе обучения чтению. В отличие от чтения по складам, которое было, видимо, относительно унифицированным (о возможном существовании и в этой области разных традиций будет сказано ниже), профессиональные навыки книжных писцов могли существенно разниться.

Различия касались, во-первых, набора употреблявшихся ими дополнительных графем, не входивших в использовавшуюся при обучении чтению азбуку, но встречавшихся в копируемых книжных текстах и нужных в ряде случаев для фиксации на письме звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями (например, йотированных букв или специальных графем **ʌ** и **н** для обозначения палатальных со-

норных), и, во-вторых, собственно орфографических правил. Разные писцы использовали их в разных наборах, отличавшихся как детальностью регламентации, так и характером предписаний. Детальность используемого набора указывала, видимо, на мастерство писца. Можно предположить, что разные мастера письма передавали своим ученикам разные совокупности орфографических навыков (скриптории, возможно, служили той институцией, где осуществлялась эта передача); для раннего периода, как уже говорилось, мы не располагаем никакими достоверными свидетельствами для реконструкции этого процесса. Этим, надо думать, было обусловлено отмечавшееся выше разнообразие правописных практик, сосуществовавших в рамках одного исторического периода.

Обращусь сначала к тем правописным практикам, которые были связаны со звуковыми последовательностями, не обеспеченными базисными соответствиями. Здесь можно вновь рассмотреть обсуждавшийся в начале статьи вопрос о правописании **жд** и **ж** в рефлексах **dj*. Для букв **д** и **ж** существовали следующие базовые соответствия: **д** ⇔ [d], **ж** ⇔ [ž]. Приложение этих соответствий к последовательности **жд** должно было бы дать фонетическое сочетание [žd], однако до падения редуцированных группа согласных [žd] была чуждой языку восточных славян и, по всей видимости, ими не произносилась. Можно предположить, что складов типа **жда**, **ждє** в первоначальном букваре не было, т. е. специально произносить данную аномальную последовательность восточных славян не учили. Поэтому при чтении **жд**, появлявшееся в южнославянских рукописях, заменялось соответствующими местными рефлексами, т. е. на месте **dj* читалось [ž], на месте **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной в зависимости от диалекта — [žǯ], [žg] и т. д. В силу этой фонетической адаптации, между прочим, в чтении восточных славян появляется различие, отсутствовавшее в болгарском изводе. Правописная практика постепенно приходит в соответствие с установившимся книжным произношением. На месте **вираждю** появляется **вижю**, и это решало проблемы соотношения орфографии и орфоэпии: **вижю** никаких сложностей не создавало и читалось с помощью базисных соответствий.

Орфографическая адаптация рефлексов **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной проходит более сложным образом и обнаруживает большую вариативность. Дело здесь как раз в том, что произносившиеся в этом случае [žǯ], [žg̯] были звуковыми последовательностями, не обеспеченными базисными соответствиями. Поэтому для них нужно было отдельное орфографическое правило. Это могло быть простое правило, сохранявшее традиционные («южнославянские») написания, типа «там, где слышится [žǯ] (или [žg̯] или [žž] в зависимости от диалекта), пишется **жд**». Оно широко применялось, как показывают многочисленные рукописи, в которых на месте **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной пишется **жд**, а в рефлексах **dj* стоит **ж**. Однако у него были недостатки. Во-первых, оно входило в противоречие с базовыми соответствиями, поскольку **д** оказывалось соотнесено не с [d], а с [ǯ], или [g̯], или [ž]. Во-вторых, оно создавало возможность неправильного чтения оставшегося неисправленным **жд** на месте **dj* (см. ниже). В этих условиях понятно стремление избавиться от указанных недостатков, изменив написание рефлексов **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной. Поскольку произношение (в том числе, видимо, и книжное) было разным в разных диалектных зонах, это стремление приводит к разным результатам в разных писцовых традициях.

Одна из таких возможностей — передать второй член сочетания [ǯ] особым знаком, отсутствующим в азбуке. Поскольку речь идет о палатальном согласном, на него может быть экстраполирован способ обозначения палатальности у сонорных, т. е. крючок. Отсюда появляется «*д* с крючком» (**ꙣ**). Такое решение, естественно, имеет место только в рукописях, употребляющих графемы **ꙥ**, **ꙧ**. Его мы находим, например, в Выголексинском сборнике XII в.: **дъждь**, **въждꙓлахъ**, **пригвождꙓнꙑ** (Судник 1963, 177) и Мстиславовом евангелии: **ижденоу**, **ижденꙓть**, **ижденоуть** (л. 10в, 98а, 126в, 147а, ср. Успенский 2002, 129). Такие же написания есть и в Толстовском сборнике XIII в. (**дъждь**, **ижденеть** — РНБ, F. п. I. 39). Этот способ, достаточно редкий и изящный, представлен исключительно в рукописях, написанных на высоком профессиональном уровне, и может считаться изысканным писцовым приемом. В рукописях после XIII в. он не встречается, т. е. уходит вместе с обозначениями палаталь-

ных сонорных как **л҄**, **н҄**, обнаруживая в этом свою зависимость от них.

Другая возможность используется в писцовых традициях восточнославянского юга и состоит в том, что [žǯ] записывается как **жч**. Вполне последовательно этот способ реализован в Галицком евангелии 1144 г. И это решение достаточно красиво, оно опирается на то обстоятельство, что звонкость функционирует как автоматический признак консонантного сочетания в целом, т. е. может быть обозначена лишь в одном из согласных; этим согласным и оказывается **ж**. Такой подход позволяет второй член сочетания записать в глухом варианте, для которого в азбуке имелась особая буква **ч**; правило в этом случае не входило в противоречие с базисным соответствием [č] ⇔ **ч**. Этот способ предполагает, что в книжном произношении **жд** стало читаться как [žǯ], а затем написание было приведено в соответствие с данным произношением. Понятно, что оно было распространено именно на юге, где указанное книжное произношение соответствовало разговорному.

На севере, во всяком случае в Новгороде, такого соответствия не было; в Новгороде **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной давали [žg̑], т. е. сочетание палатального шипящего с палатальным взрывным. Входило ли такое произношение в книжную орфоэпию, остается неясным; возможно, оно было лишь факультативным вариантом. Как бы то ни было, в соответствии с этим произношением появляется и написание **жг**, встречающееся во многих новгородских рукописях XI—XIII вв. И в этом случае специальное орфографическое правило «там, где слышится [žg̑], пишется **жг**» снимало противоречия между написанием и базисными соответствиями, так как соответствие [g̑] ⇔ **г** реализовалось при чтении складов **ги** или **гю** (так же как и складов **ки** и **кю**, необходимых для чтения заимствованных слов). Такие написания, однако, появляются лишь окказионально, что и указывает на неполноценный статус соответствующего произношения.

В этом контексте целесообразно сделать два замечания. Первое относится к взаимоотношению чтения и письма. Можно сказать, что древние восточнославянские книжники обычно читали так, как было написано (в соответствии с книжным правописанием), а писали так, как читалось (в соответствии с

книжным произношением). В случае звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями, этот механизм двустороннего преобразования мог давать сбои. Об этом свидетельствуют написания типа **прѣжге**, **рожгеноумоу**, **рожгение**, **рожгенъıхъ**, **побѣжгенъ** в Минее 1095 г. (см. Ягич 1886, 0116_{13}, 0179_{6}, 0181_{22}, 0183_{13}, 0217_{7}; ср. Шахматов 1915, 322; Живов 1984, 257), **рожгению**, **ѿ тоужгаго** в Минее 1096 г. (см. Ягич 1886, $5_{20—21}$, 11_{17}; ср. Комарович 1925, 38) или написание **жаждеть** в Мстиславовом евангелии (л. $26б_{12}$). Подобные написания объясняются тем, что при книжном чтении оригинала **жд**, стоящее на месте **dj*, было прочитано (ошибочно, но в соответствии с тем, что книжник видел в рукописи) как [žg] (или [žǯ]), а затем записано с применением того же приема, что и аналогичные фонетические последовательности, закономерно стоящие на месте **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной. Именно возможность такого рода сбоев побуждала книжников, с одной стороны, устранять написание **жд** в рефлексах **dj*, а с другой — искать таких способов написания рефлексов **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной, которые однозначно соотносились бы с их книжным произношением.

Второе замечание связано с ролью азбуки и чтения по складам в развитии орфографической системы. Много раз отмечалось, что судьба рефлексов **dj* в восточнославянской письменности была иной, нежели судьба рефлексов **tj*, несмотря на полный параллелизм в развитии этих рефлексов в живом языке восточных славян. Делались различные попытки объяснить это отсутствие параллелизма в книжном языке. Б. А. Успенский предлагал, например, связывать его с «македонским (западноболгарским) влиянием на русское книжное произношение» (Успенский 2002, 134). Согласно концепции Успенского,

> в македонских диалектах X—XI вв. как *tj, *kt’, так и *skj, stj, sk’ давали [štš], в то время как *dj, *zdj, *zgj, *zg’ давали [žd’]. ‹…› Русские усвоили македонское произношение **щ** как [štš], поскольку в ряде случаев оно совпадало с их разговорным произношением. Очевидно, что они не могли сделать того же самого относительно македонского (или вообще южнославянского) произношения **жд**, поскольку это произношение ([žd’]) не совпадало ни с каким русским произношением (ни с рефлексами *dj, ни с рефлексами *zdj, *zgj, *zg’) (там же).

Это объяснение неудовлетворительно по ряду причин. Произношение [štš] ([šč]) в рефлексах **skj*, *stj*, *sk'* не было общим для всей восточнославянской зоны, при том что нормативность написания **щ** в рефлексах **tj*, **kt'* характеризовала всю восточнославянскую письменность вне зависимости от локализации рукописей. Это означает, что восточнославянские книжники успешно справлялись с перенесением произношения рефлексов **skj*, *stj*, *sk'* на рефлексы **tj*, **kt'* даже тогда, когда это произношение не совпадало с их диалектным произношением. Неясно, почему в этом случае они не могли произвести аналогичную операцию со своим произношением рефлексов **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной ([žǯ]), распространив его на рефлексы **dj*. Сверх того не вполне понятен механизм усвоения македонского произношения. Читали ли македонские книжники в церквях Киевской Руси, а местные жители им подражали? Или македонцы эксплицитно учили восточнославянских христиан подобному произношению и — в силу особенностей восточнославянской фонетики — это обучение оказалось успешным в случае рефлексов **tj*, **kt'*, **skj*, **stj*, **sk'* и безрезультатным в случае рефлексов **dj*, **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной? И как осуществлялось это обучение — принимая во внимание то обстоятельство, что склады с **жд**, видимо, не существовали?

Более правдоподобно, на мой взгляд, объяснение Г. Ланта. Он предлагает следующую концепцию:

> The reason for this lack of parallelism in the two seemingly similar features lies in the graphic system and the usages of church pronunciation. The Bulgarian *št* could represent not only *tj, but also *stj and *skj. ‹…› The Russian would quickly identify the symbol **щ** with his biphonematic *šč*, and doubtless generalized the pronunciation to all occurrences of the letter. Thus he would also say *xoščetь* ‹…› instead of his native *xočetь*, being guided by the spelling. There was only the difficulty of remembering to use this familiar combination of sounds in unusual places. The re-distribution of *šč* was then a feature of the Russian church pronunciation. Words employing it except for stj / skj would be regarded as new lexical items, doublets to the native Russian forms. Why then was the same re-distribution not adopted for «žd» as well? In this case there were two letters used to spell the combination. And this combination was not one which ever occurred in R[ussian] words. It must have caused real difficulty for pronunciation, and it is probable

that very early any attempt to retain it for church usage was abandoned in favor of the native forms (Лант 1949, 106—107).

Таким образом, согласно Ланту, отсутствие параллелизма объясняется тем, что в азбуке у (восточных) славян была отдельная буква для [šč], но не было отдельной буквы для [žǯ]. Если бы болгары не располагали буквой **щ**, а обходились бы диграфом **шт**, с рефлексами **tj* случилось бы в восточнославянской письменности то же самое, что и с рефлексами **dj* и нас бы не озадачивало отсутствие параллелизма. Этот тезис мне представляется верным. Недостает у Ланта лишь определения того, как именно восточные славяне «quickly identif[ied] the symbol **щ** with [their] biphonematic *šč*»[23]. Именно в этом процессе решающую роль играло, как я полагаю, обучение чтению по складам.

В самом деле, обучающийся выучивал склады типа **щa**, **щє**, произнося их с [šč] (или, возможно, другой фонетической последовательностью, которая соответствовала в его живом языке рефлексам **skj*, **stj*). Встречая букву **щ** в читавшихся им текстах, он произносил ее в согласии с установившимися при чтении по складам базовыми соответствиями, а именно, **щ** ⇔ [šč][24]. Это

[23] Мне не кажется также убедительным утверждение, что слова с **щ** на месте **tj* рассматривались восточными славянами в качестве новых лексических единиц, дублирующих их родные формы с **ч**. Как показывают нередкие случаи вариации в подобных формах (например, **хощєть** и **хочєть**) в разных списках одного памятника, восточнославянские книжники эти формы отождествляли. Данные формы выступали для них, видимо, как нормативное и ненормативное написание одного и того же слова.

[24] Отдельный непростой вопрос состоит в том, когда появляются склады с буквой **щ**. В древнейших дошедших до нас букварях, принадлежащих мальчику Онфиму (новгородские берестяные грамоты №199, 201), склад **ща** имеется (Зализняк 2004а, 476), однако эти тексты относятся к довольно позднему времени — началу XIII в. Вместе с тем в ряде древнейших восточнославянских азбук буква **щ** отсутствует (см. Зализняк 1999, 553). Самая ранняя азбука, в которой появляется эта буква, содержится в новгородской берестяной грамоте №460 последней четверти XII в. (Зализняк 1999, 559; Зализняк 2004а, 454). Правда, в азбуке Софии Киевской XI в. (граффити) имеется буква, убедительно идентифицируемая А. А. Зализняком как **ѱ**; Зализняк замечает при этом, что, возможно, «в каких-то из ранних вариантов письменного узуса буквы **ѱ** и **щ** (в

чтение, понятно, имело место и в таких словах, как **щедрота**, и в таких словах, как **хощю**. Благодаря этому чтению **щ** идентифицировалось с [šč]. Данная идентификация поддерживалась теми текстами, которые обучающийся выучивал наизусть, и превращалась в навык книжного произношения. Книжное произношение определяло и правописную практику, которая закрепляла написание **щ** в рефлексах **tj*; в ряде случаев эта практика могла опираться на орфографические правила (например, для начала слова на правило типа «пиши **ч** там, где в разговорном языке слышится [č], пиши **щ** там, где в разговорном языке слышится [šč] (или иные рефлексы **skj*, **stj* в зависимости от диалекта)»)[25]. Никаких причин для эволюции этого параметра правописания ни в ранний период, ни позднее не обнаруживается.

Обращусь теперь к орфографическим правилам, имевшим дело с проблемой омофоничных букв. Навыки книжного пис-

---

кириллице) могли восприниматься как варианты одной и той же буквы» (Зализняк 1999, 558) или, другими словами, **ѱ** было «переосмыслено как **щ**» (Зализняк 2003, 26). Все эти свидетельства, конечно, достаточно разрозненны, и по ним вряд ли можно реконструировать полную картину. Однако эти данные несомненно ставят вопрос о том, как выглядела система чтения по складам в древнейший период (XI — первая половина XII в.). Если эта буква отсутствовала в азбуке, то не могло быть и складов с этой буквой. Если в древнейший период **щ** отождествлялось с **ѱ**, то как должен был читаться склад типа **ща**/**ѱа**? Кажется, что история рефлексов **tj* в сопоставлении с историей рефлексов **dj* может служить аргументом (хотя и не решающим) в пользу того, «что наряду с известными нам ныне типами абецедариев в древней Руси существовали и другие, более полные, которые до нас не дошли; например, что уже в XI в. бытовали такие азбуки, где были и **ь**, и **щ**» (Зализняк 1999, 573). В части, касающейся **щ**, эта гипотеза подтверждается азбуками, которые А. А. Зализняк читает среди «скрытых» текстов Новгородского кодекса начала XI в. (см.: Зализняк 2002б). И в кратком, и в полном вариантах азбук буква **щ** имеется (Зализняк 2003, 26—30). В дополнение к приводимым Зализняком примерам смешения **ш** и **щ** в берестяных грамотах и граффити (Зализняк 1999, 565) можно было бы указать еще на февральскую минею рубежа XI—XII вв. (РГАДА, ф. 381, № 103), для которой также характерно такое смешение (см. Тот 1981, 156).

[25] О том, что именно правило этого типа обусловило замену **щ** на **ч** в корне **щоужд**, см. в моей работе: Живов 1986.

ца — в отличие от умений человека, учившегося читать, но не учившегося (профессионально) писать, — включали использование целого ряда омофоничных букв. Сюда относятся такие наборы, как з и ѕ; и и і (ї); о и ѡ, а также ѻ (*о* широкое); оу, ꙋ, ѵ и ѫ; ф и ѳ; ю и ѭ; ѧ, ꙗ и ѩ; а также ѿ, ѯ, ѱ в паре с соответствующими двубуквенными сочетаниями (список не претендует на полноту, см. подробнее: Зализняк 1999, 572). Сюда могут быть добавлены и все йотированные буквы (ꙗ, ѥ, ѭ, ѩ), не столько даже в силу того, что они воспринимались, видимо, как диграфы, сколько в силу того, что их нейотированные соответствия могли обозначать те же, что и они, звуковые комбинации: ѧ могло обозначать /a/ и окказионально /jä/ (в положении после гласной); є могло обозначать /e/ и /je/ (в начале слова или после гласной); в то же время ꙗ и ѥ могли обозначать не только /jä/ и /je/, но и /ä/ и /e/, когда эти буквы использовались для обозначения палатальных сонорных. В качестве общего замечания стоит указать, что средневековое письмо отнюдь не всегда стремилось к однозначному соотнесению графем и фонем, а попытки приписать ему подобное стремление (например, представить азбуку, созданную Константином-Кириллом, как результат безупречного фонологического анализа, см. Трубецкой 1954, 15—16, 30—31) представляются структуралистским мифотворчеством[26].

В книжном письме омофоничные буквы использовались иначе, чем в письме некнижном. В некнижном письме, как правило, употреблялись лишь те буквы, которые входили в азбуки и, следовательно, изучались при обучении чтению по складам. Так, вплоть до XIII в. в берестяных грамотах лишь в исключительных случаях встречаются ꙗ и ѥ (Зализняк 2004а, 31)[27].

---

[26] Парадигматическим примером отсутствия подобного стремления может служить функционирование букв *u* и *v* в средневековой романской письменности. Обе эти буквы могли употребляться и для обозначения фонемы /u/, и для обозначения фонемы /v/, хотя установление однозначного соответствия (как в современном правописании) было, казалось бы, не слишком сложным предприятием.

[27] Ср. формулировку А. А. Зализняка: «[В] обучении грамоте абецедарии могли играть лишь роль фундамента. Остальное довершала прак-

Избегает некнижная письменность и ряда букв, входивших в азбуки, но выступавших как очевидное излишество, например ѡ (там же, 31—32). Книжная письменность, напротив, в целом культивирует буквы-омофоны, профессионально известные книжным писцам из копируемых ими текстов. В ней разрабатываются правила их употребления, создающие для них определенную функциональную нагрузку. Например, буква ї может замещать и в последовательности ии (во второй позиции) или в конце строки; буква ѡ (а также ѻ) может писаться в начале слова и тем самым маркировать границу между словами. Важными функциями могут обладать йотированные гласные. Они дают возможность графически выразить оппозиции /jä — a/ и /je — e/ с помощью противопоставлений ꙗ — ѧ и ѥ — є (по модели ю — оу = /jü — u/), нейтрализующиеся, впрочем, в позиции после гласной, но нужные для различения /je — e/ в начале слова (Дурново 2000, 452—467; Успенский 2002, 178—180); они могут использоваться также для графического выражения оппозиции палатальных и непалатальных сонорных (Успенский 2002, 159—163; Живов 1996б).

Следует заметить, однако же, что все эти приемы дифференциации омофоничных букв характерны для одних писцов и не характерны для других. Поскольку вместе с тем одни и те же приемы встречаются в разных рукописях, они представляют собой не индивидуальные изобретения, но черты сложившихся правописных практик. В этих чертах наиболее наглядным образом проявляется то разнообразие сосуществующих орфографи-

---

тика: в процессе чтения обучавшиеся убеждались в том, что существуют и некоторые другие, еще не изученные ими буквы. Вероятно, эти дополнительные буквы осваивались разными людьми в разной степени: одни постепенно научались правильно ими пользоваться и включали их в свой активный фонд, другие умели лишь их опознавать» (Зализняк 1999, 573). У пишущих некнижным письмом появление этого дополнительного умения для древнейшего периода (до XIII в.) не характерно, хотя никак не невозможно (поскольку, как показывает грамота №724 [см. выше], некнижным письмом могли пользоваться и те, кто владел письмом книжным). Причины изменения некнижной правописной практики в XIII в. заслуживают отдельного обдумывания.

ческих традиций, о котором говорилось выше. Нужно учитывать также, что ряд букв оказывался омофоничным в определенных позициях. Так, после палатальных согласных, имевших для своего обозначения отдельные буквы (ж, ш, щ, ч, ц), омофонами оказывались а, ѧ и ꙗ; є и ѥ; ѹ и ю; ы и и; ъ и ь. И в этом случае выбор обозначения был орфографической условностью и осуществлялся по-разному в разных правописных практиках.

Вместе с тем те буквы, которым не удавалось получить никакой функциональной нагрузки, достаточно быстро исчезают из книжного письма (ср. Дурново 2000, 666). Так обстоит дело прежде всего с буквами ѭ и ѩ, которые уже в начале XII в. появляются лишь в редких исключительных случаях. Несколько медленнее этот процесс захватывает и буквы ѫ и ѕ, употребление которых поддерживалось их наличием в азбуках. Известно, правда, что писец АЕ[1] довольно широко употребляет ѫ (не противопоставляя его ѹ), и при этом с большей интенсивностью к концу своей части рукописи; наиболее правдоподобное объяснение состоит в том, что ѫ, употребляемый вместо диграфа ѹ, позволял ему сэкономить место и состыковать свои тетради с тетрадями второго писца (ср. Дурново 2000, 400). Эта относительная компактность не была, однако, настоящей легитимирующей функциональной нагрузкой (к тому же в этом качестве по праву выступала лигатура ꙋ, уже в ранних рукописях нередко употреблявшаяся для экономии места в конце строки), и буквы ѫ эта легитимация не спасает. В рукописях второй половины XII в. и она появляется лишь как окказиональное исключение (ср. Успенский 2002, 127).

В некнижной письменности все обстоит по-другому. Как уже говорилось, те дублетные буквы, которые не изучались при обучении чтению (не входили в азбуки), как правило, в некнижной письменности XI—XII вв. не употреблялись. Не свойственно некнижной письменности и стремление к функциональной дифференциации графических дублетов; когда они употребляются, они в основном употребляются безразборно. Этим объясняется и терпимость некнижной письменности к «лишним» буквам. Если книжные писцы отказывались от них, если не находили для них функциональной роли, то некнижные писцы, выучив «ненужную» букву при обучении грамоте (азбуке), без

затруднений пользовались ею как легитимным способом письма даже и в тот период, когда книжные писцы избегали подобного употребления. Так, скажем, **ж** употребляется на равных правах с **оу**. Такое употребление находим, например, в новгородской берестяной грамоте № 516, второй половины XII в.: «**ж опала :ѕ҃: кжнъ** ‹…› **ж сновида :з҃: кжнъ** ‹…› **ж търъцина :г҃: кжнѣ** ‹…›» (Зализняк 2004а, 360). Можно напомнить в этой связи, что для новгородской письменности в качестве омофоничных букв выступали также **ц** и **ч** (в силу цоканья, характерного и для книжного, и для некнижного произношения): в книжной письменности эти буквы дифференцировались с помощью орфографических правил (ср. о них Живов 1984), тогда как в некнижной письменности они употреблялись безразборно (Зализняк 2002а, 605; Зализняк 2004а, 34).

Эти общие замечания имеют существенное значение для интерпретации смешения **о** и **ъ**, **є** и **ь** в памятниках книжного и некнижного письма древнейшего периода. Источником смешения было то обстоятельство, что эти пары букв выступали как омофонические, поскольку при обучении грамоте склады **бо** и **бъ** (и т. п.) читались одинаково как [bo], а склады **бє** и **бь** — столь же одинаково как [be]; соответственно в книжном произношении **ъ** звучал как [o], а **ь** — как [e]. Это произношение возникло независимо от восточнославянского падения и прояснения редуцированных (правдоподобнее всего, в результате усвоения одной из южнославянских традиций чтения по складам, в которой чтение **бъ** как [bo], а **бь** как [be] возникло в результате прояснения редуцированных) и держалось по крайней мере в течение столетия после того, как редуцированные исчезли из живой восточнославянской речи (т. е. читались как [o] и [e] там, где они были написаны, — см. выше о взаимозависимости чтения и письма). Несомненным подтверждением данной точки зрения, восходящей к А. А. Шахматову и Н. Н. Дурново, является недавно найденная надпись на деревянном цилиндре: «**мечьни[ч]ь лазорєво мѣхо**», со смешением **о** и **ъ**, относящаяся к первым десятилетиям XI в. (Зализняк 2004а, 277), т. е. ко времени, безусловно предшествовавшему падению и прояснению редуцированных.

Из сказанного следует, что книжные писцы поступали с парами **о** и **ъ**, **є** и **ь** так же, как и с другими омофоничными буквами. Они применяли орфографические правила для дифференцированного употребления этих букв (аналогично тому, как новгородские писцы поступали с парой **ц** и **ч**). Правила были просты и апеллировали к некнижному произношению релевантных форм. В формулировке Н. Н. Дурново они сводились к тому, чтобы «руководиться правилом писать **ъ** и **ь** там, где в соответствующих словах и формах русской живой речи слышались звуки *ъ* и *ь*, а **о** и **є** там, где слышались звуки *о* и *е*» (Дурново 2000, 663). Некнижные писцы к таким правилам в общем случае интереса не имели, и потому в созданных ими документах господствовало безразборное употребление — смешение **о** и **ъ**, **є** и **ь**[28]. Вопрос этот к настоящему времени детально исследован в разных его аспектах, и можно, не повторяясь, отослать к соответствующим работам: Успенский, III, 143—208; Успенский 2002, 136—155; Зализняк 2002а; Зализняк 2004а, 23—25; Живов 1984, 260—263.

Представляется, что с этим комплексом проблем связан и вопрос об одноеровой правописной практике у восточных славян. И в этом случае развитие книжного правописания отлично от развития некнижного. В книжных памятниках одноеровая орфография представлена в ряде рукописей XI в., начиная с Новгородского кодекса начала XI в. (Залязняк и Янин 2001, 8). Ряд исследователей полагает, что и другие рукописи одноерового письма относятся к числу древнейших (ср. анализ этих рукописей в книге И. Тота: Тот 1985), хотя реальные основания для датировки этих рукописей в пределах XI в. (начало, середина или конец) отсутствуют. Можно с осторожностью согласиться с мнением В. Л. Янина и А. А. Зализняка, согласно которому

---

[28] Речь здесь идет о генезисе «бытовой графической системы», а не об исторических обстоятельствах ее функционирования. Понятно, что автор берестяной грамоты мог смешивать **о** и **ъ**, **є** и **ь** не столько потому, что не стремился к дифференциации в соответствующих парах и не пользовался орфографическими правилами, сколько потому, что так писал его отец (возможно, и мать) или учитель. Возникающими при этом линиями преемственности можно, надо думать, объяснить разнообразие вариантов некнижного правописания: в одних случаях **о** сплошь заменено на **ъ**, в других, напротив, **ъ** на **о**, в третьих обе буквы употребляются недифференцированно и т. п.

«даже Остромирово евангелие, которое традиционно рассматривается как образец самого первоначального состояния русской письменности, в действительности отражает уже значительно продвинутый этап ее развития, а именно этап, когда в практике русского книжного письма уже решительно было отдано предпочтение той из двух пришедших извне графических систем, которая лучше соответствовала древнерусской фонологической системе» (Зализняк и Янин 2001, 8). Из этого, конечно, не следует, что дошедшие до нас одноеровые рукописи написаны ранее Остромирова евангелия, однако, следует полагать, они репрезентируют маргинальную и вымирающую правописную практику, которая к концу XI столетия исчезает окончательно.

Это вымирание можно связать с тем, что книжные писцы писали еры «по правилам», причем по правилам, апеллировавшим к произношению редуцированных в живом языке. Показательна в этом отношении неоднократно упоминавшаяся выше рукопись Пандектов Антиоха ГИМ, Воскр. 30. Рукопись написана пятью писцами, работавшими вместе (возможно, в одном скриптории). Большая ее часть написана вторым писцом (писцом B), правописание которого меняется от начала рукописи к концу. Эти изменения проанализированы И. Поповским (Поповски 1989a, 50—51). В первом фрагменте, принадлежащем писцу B (л. 18d: 7 — 29d), он пользуется одноеровой орфографией, употребляя исключительно **ъ** (другие писцы одноеровой орфографией не пользуются); во втором фрагменте (л. 32a — 64d) одноеровая орфография сменяется двуеровой, хотя в употреблении еров нередко случаются ошибки; начиная с третьего фрагмента (л. 65a — 88d) случаи смешения еров почти исчезают. Этому изменению сопутствует постепенный переход от употребления диграфа **шт** к употреблению **щ**, несколько, впрочем, запаздывающий по отношению к переходу на двуеровое правописание (исключительное употребление **щ** свойственно лишь последнему, седьмому фрагменту, л. 189a — 212d). Можно сказать, что писец B постепенно переходит от непосредственного копирования своего (глаголического) оригинала к употреблению более подходящей книжному языку восточных славян орфографической системы; он как бы учится по ходу дела. Нельзя исключить, что определенного рода обучение и в самом деле имело место, что

в группе переписчиков Пандектов был старший писец, который указывал своим сотрудником на их недостатки[29].

Как бы то ни было, отказ от одноерового правописания непосредственно соотнесен в данной рукописи с употреблением орфографических правил. Именно орфографические правила восточнославянских книжников делают одноеровую орфографию невозможной; исчезновение одноерового книжного письма связывается со становлением восточнославянской орфографической системы, основанной на приспособленных к речевым навыкам писцов орфографических правилах. В этом плане кажется неслучайным, что вымирание одноеровой книжной орфографии хронологически совпадает со становлением восточнославянской нормы написания флексий Instr. sg. **-ъмь**, **-ьмь** (вместо «южнославянских» **-омь**, **-ємь**), также обусловленным употреблением орфографических правил написания еров, апеллирующих к живому языку восточнославянских писцов.

В контексте высказанных соображений не должно вызывать удивления, что в бытовом письме одноеровая графика держится существенно дольше, чем в письме книжном. Древнейшие дошедшие до нас кириллические абецедарии (XI—XII вв.) являются одноеровыми (содержат **ъ** и не содержат **ь**); на основании существующих свидетельств А. А. Зализняк приходит к выводу, что «безъеревые азбуки были в древний период весьма распространены» (Зализняк 1999, 560). Это с большой вероятностью означает, что какая-то часть обучающихся грамоте осваивала алфавит с одним ером. Им эти люди (или во всяком случае некоторые из них) и продолжали пользоваться, поскольку никаких особых неудобств в бытовом письме, не предназначенном для публичного чтения вслух, такая система письма не вызывала. Данную ситуацию можно сопоставить с функционированием

---

[29] Это хорошо объясняло бы радикальность в изменении правописной практики писца В. Вообще говоря, однако, переход от более тщательного копирования в начале рукописи к копированию менее тщательному и в результате более соответствующему естественному для писца узусу (более ориентированному на локальные орфографические правила) представляет собой достаточно обычное явление (ср. выше, примеч. 9 об изменении в написании рефлексов **dj* в Мстиславовом евангелии).

московской скорописи в XVI—XVII вв., в которой также могли не различаться **ъ** и **ь** (на генезисе этого явления в скорописи мы можем сейчас не останавливаться), что ни к каким недоразумениям в обмене информацией не приводило. От XI — середины XII в. до нас дошло не менее десятка берестяных грамот и надписей, написанных в одноеровой графике (Зализняк 2004а, 27—28; Зализняк 2004б, 258—260); наиболее поздняя из них (грамота № 821) относится к середине XII в. Такая ситуация понятна, поскольку писавшие в бытовой системе особого интереса к орфографическим правилам книжного письма не испытывали и в функциональной ясности соотношения графики и фонетики не нуждались. Поэтому у них не было тех стимулов к отходу от одноеровой графики, которые определяли поведение книжных писцов. Исчезновение этой традиции в бытовой письменности во второй половине XII в. надо, видимо, связывать с утверждением той системы чтения по складам, в которой различались склады с ером и с ерем.

Такая система также существовала, надо думать, с весьма раннего времени. Она вряд ли появилась на восточнославянской почве существенно позже, чем одноеровая система. Даже среди грамот и надписей XI в. большинство (из дошедших до нас) написано в двуеровой графике. Конечно, грамотные люди и в XI в. многократно сталкивались с текстами (в частности, с книжными), написанными в двуеровой графике и, видимо, без труда их читали. Чтение таких текстов могло быть стимулом к употреблению двуеровой графики, однако трудно предположить, что этого стимула было достаточно для перехода на двуеровую графику в правописной практике обучавшихся по одноеровой системе. Можно предположить поэтому, что двуеровые азбуки существовали и в XI в. и не дошли до нас лишь по случайности. Система обучения чтению была ориентирована на книжные тексты (Часослов и Псалтирь), которые ученики читали и выучивали наизусть. После того как исчезают одноеровые книжные тексты, система обучения чтению должна была на это — с известным запозданием — отреагировать. Переход к «двуеровому» образованию, в свою очередь, должен был изменить навыки бытового письма — также с известным запозданием. Эти два временных сдвига как раз и приводят к тому, что в бытовой

письменности одноеровая графика исчезает как минимум на полвека позже, чем в письменности книжной.

В рамках предлагаемого подхода можно рассмотреть и еще одну сложную проблему восточнославянского правописания — правописания буквы ѣ и истории ее смешения с є. Сложность вопроса о яти состоит в том, что рукописи со смешением ѣ и є известны уже с древнейшей эпохи и могут происходить из регионов, где фонемы /ě/ и /e/ не смешиваются ни в древнейший период, ни позднее (а в процессе фонетического развития могут совпадать с разными фонемами, что, понятно, исключает их совпадение друг с другом). Таковы, например, новгородские рукописи конца XI — XII в.: второй почерк Типографского устава (Третьяковская галерея, К-5349), Софийская минея начала XII в. (РНБ, Соф. 188), отрывки из которой опубликованы В. Ягичем (Ягич 1886), Стихирарь 1157 г. (ГИМ, Син. 589). Ту же проблему ставят и новгородские берестяные грамоты (и грамоты из Старой Руссы), в которых смешение ѣ и є «наблюдается с самого начала письменной традиции» (Зализняк 2004а, 27; ср. еще Зализняк 2002а, 604—605) и явно не обусловлено фонетически. Вопрос состоит в том, чем же тогда обусловлено это смешение.

Наиболее убедительное, на мой взгляд, решение было предложено Б. А. Успенским (Успенский 2002, 163—173; ср. еще: Живов и Успенский 1984). Оно состоит в том, что противопоставление /ě/ и /e/ в книжном произношении реализовалось иначе, чем в произношении разговорном, во всяком случае на северо-западе восточнославянской территории. В книжном произношении склад бє произносился как [be] (как в современном украинском языке), а склад бѣ — как [b’e] или [b’ê] (качество гласного, видимо, было безразлично). В разговорном произношении согласный смягчался и перед /ě/, и перед /e/ и фонологическое противопоставление реализовалось за счет качества гласного ([b’e] vs. [b’ê]). Это и было источником неполноценных правописных практик. По словам Б. А. Успенского,

> именно это расхождение книжного и разговорного произношения и приводит к смешению ѣ и є на письме. Поскольку в разговорном произношении формы с є (сєло) произносятся так же, как в книжном произношении могут читаться формы с ѣ (дѣло), формы с є

могут записываться через ѣ (сѣло), а отсюда смешение может идти дальше и формы с ѣ могут записываться через є (дело) (Успенский 2002, 169).

В предложенных выше терминах можно сказать, что обучение чтению устанавливало следующую систему базисных соответствий: є ⇔ [е]; ѣ ⇔ [’ê] или [’е]. Поскольку для носителей северо-западных диалектов [ê] и [е] фонологически противопоставлялись, буква ѣ оказывалась полифункциональной (как, скажем, л, которая в рукописях, не располагавших специальными знаками для палатальных сонорных, обозначала и [l], и [λ]). Соответственно, одна из фонетических последовательностей типа [С’ê] или [С’е] оказывалась не обеспеченной базисными соответствиями. В силу этого для правильного употребления букв ѣ и є были необходимы правила, соотносящие книжное и разговорное произношение. Авторы текстов бытового письма правилами не пользовались, что и приводило к смешению ѣ и є в некнижных текстах. Недостаточно опытные писцы в этих правилах путались, что давало тот же результат. Интересно отметить, что ситуация должна была измениться, когда в ряде диалектов северо-запада [ê] перед мягкой согласной перешел в /i/. По мере того как этот переход начинает отражаться в бытовой письменности, в ней убывает число грамот со смешением ѣ и є (Зализняк 2004а, 25—27).

Некоторые итоги. В восточнославянском правописании XI—XIII вв. безусловно присутствуют нормативные элементы, однако они не исключают ни вариативности в текстах, созданных одним писцом, ни гетерогенности правописных практик, сосуществующих в один исторический период. Нормативные элементы, актуальные для каждого данного периода, распространяются лишь на ограниченный набор параметров и даже в рамках этого набора могут реализоваться с большим или меньшим числом исключений. Этот характер реализации был рассмотрен на материале истории написания жд и ж в рефлексах **dj*. Для начального периода восточнославянской письменности нормативным было написание жд, хотя эта норма в большинстве рукописей не выдерживается с абсолютной последовательностью. Начиная с середины XII в. нормативным становится написание

ж, хотя и здесь обычно фиксируются отдельные исключения, мотивированные разными факторами (небрежностью писца, трудностями в понимании копируемого текста и т. д.). Между этими двумя периодами располагается переходная эпоха, когда сосуществуют разные в рассматриваемом аспекте правописные практики, реализующие разные — архаизирующие и модернизирующие — установки писцов.

Установки писцов индивидуальны. С одной стороны, они зависят от избранной ими стратегии лингвистического поведения, и это показывает, что язык, включая его нормативное измерение, является для носителя не трансцендентной данностью, а инструментом, которым он манипулирует в собственных целях. Наиболее отчетливо эта индивидуальность выбора видна в рукописях, написанных несколькими писцами, придерживавшимися разных стратегий. С другой стороны, характер правописной практики зависит от характера текста и в этом плане соотносится с культурно-историческими параметрами, определяющими статус текста и критерии наделения его тем или иным статусом. Связь лингвистической стратегии с типом текста выступает с особой ясностью в противопоставлении книжного и бытового письма — особенно в тех документах, в которых эти две разновидности письма соседствуют. Эта связь, однако же, вполне заметна и при сравнении правописания таких образцовых книжных текстов, как, например, евангелия, с текстами более маргинальными для религиозной культуры восточнославянского средневековья (например, такими памятниками, как летописи). Тип памятника определяет и отношение писца к своему оригиналу, и строгость соблюдения нормы при копировании этого оригинала.

При всем разнообразии правописных практик, сосуществующих в один исторический период, на их гетерогенность накладываются определенные ограничения, которые могут рассматриваться как реализация нормативного принципа. Эти ограничения позволяют представить норму как ядро, общее для всех правописных практик одного периода, и вместе с тем установить иерархическую соотнесенность отдельных черт лингвистического поведения книжников. Одни черты предстают как маркированно уходящие (например, окончание **-тъ** в 3 лице

презенса в памятниках XI в.), предсказывающие появление в той же рукописи других «архаических» черт и определяющих тем самым установку писца как консервативную. Другие черты, напротив, обнаруживают свой инновативный характер (например, написание ѻ, є в рефлексах редуцированных с плавными в памятниках второй половины XII в.), предсказывая появление в той же рукописи других «инновативных» черт и определяя установку писца как модернизирующую. Норма в качестве усредненного конструкта располагается между этими двумя крайностями как доминирующая правописная практика, в которой и архаические, и инновативные для данного периода черты появляются лишь окказионально, в виде исключений (нередко мотивированных особыми причинами).

Обнаруживающаяся при подобном анализе динамика нормы определяется характером овладения книжным правописанием. Основой для него служит обучение чтению по складам, при котором устанавливаются базовые соотношения между фонемами и графемами. Обучение чтению генерирует умение писать, однако этого умения недостаточно для работы книжного писца, который сверх этого общего умения должен обладать профессиональными навыками. О двусоставной природе искусства книжного писца свидетельствует противопоставление бытового (непрофессионального) письма, основанного на умении читать и отразившегося в берестяных грамотах и граффити, и письма книжного, отразившегося в рукописном наследии. Книжное письмо отличает от бытового пользование орфографическими правилами, которые входят в профессиональные знания писца.

Орфографические правила регламентируют те случаи, когда нарушено однозначное соответствие между правописанием и (книжным) произношением (когда для выбора написания недостаточно базисных соответствий между звуками и буквами). Эти правила указывали, как нужно действовать (1) в случае звуковых последовательностей, не обеспеченных базисными соответствиями, и (2) в случае омофоничных букв, т. е. букв, соответствующих одной фонеме. Правила различались степенью своей сложности. Были правила совсем простые — такие, как (до падения редуцированных) написание ѻ в соответствии с /о/ живого языка и ъ в соответствии с /ъ/ живого языка. Были

правила более сложные — такие, как выбор **ѣ** или **є** в рефлексах **CerC*, требовавший обращения к их полногласным коррелятам в живом языке и предполагавший отождествление этих коррелятов с неполногласными формами книжного языка. Простые правила усваивались легче и получали более широкое (универсальное) распространение. Так, правило написания еров в соответствии с редуцированными живого языка утверждается рано и повсеместно; именно с его утверждением можно связывать устранение **-тъ** в 3 лице презенса, замену **-омь**, **-ємь** на **-ъмь**, **-ьмь** во флексиях Instr. sg., исчезновение одноеровых правописных практик. Простые правила вместе с базисными соответствиями как раз и определяют нормативное ядро в узусе отдельного периода.

Более сложные правила применяются одними писцами и не применяются другими. Те писцы, которые их применяют, могут сталкиваться со сложностями в их приложении и нарушать их, когда им не хватает знания, внимания или мастерства. Это создает вариативность в писцовых практиках, которая может иметь место и внутри текста, написанного одним писцом, и в пределах рукописи, написанной несколькими писцами (как гетерогенность правописных практик разных писцов), и во всем массиве рукописей одного периода (как разнообразие узуса в целом). При этом правила могут меняться, поскольку они апеллируют к меняющейся фонетике живого языка. Так, правило написания еров в соответствии с редуцированными остается простым, пока в живом языке существуют редуцированные. После их падения это правило больше действовать не может и заменяется целым набором правил, требующих морфологической информации. Одни из этих правил оказываются простыми (например, правило написания ера в конце слова после твердого согласного), другие — сложными (например, правило написания еров в корнях с чередованием {Ø ~ о} или {Ø ~ е}). Простые правила становятся общепринятыми и определяют новую норму (например, правило написания ера в конце слова, сохраняющее актуальность до 1917 г.). Сложные правила создают вариативность в правописных практиках, с течением времени перестают работать и заменяются предписаниями, более приспособленными к новому состоянию живого языка.

Описанные выше механизмы действуют в восточнославянском правописании по крайней мере вплоть до конца XIV в. Ситуация меняется лишь со вторым южнославянским влиянием, когда возникает в качестве особой традиции правописная практика, основанная на неотступном копировании оригинала, когда писец — в соответствии с наставлениями южнославянских реформаторов орфографии — воспроизводит все детали переписываемого текста, избегая исправлений и поэтому не пользуясь никакими правилами. Эта традиция, впрочем, никогда не становится у восточных славян доминирующей, так что в существенном секторе письменности продолжают работать старые механизмы. В силу этого и в XV—XVII вв. разнообразие правописных практик отнюдь не сходит на нет под воздействием нового нормализаторского пафоса, но скорее лишь возрастает.

Литература

Альтбауер и Лант 1978 — An Early Slavonic Psalter from Rus'. Vol. I: Photoreproduction / Ed. by *M. Altbauer* with the collaboration of *H. G. Lunt.* Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1978.

Амфилохий 1873—1878 — *Амфилохий*, архим. Древле-славянская псалтирь симоновская до 1280 года, сличенная по церковнославянским и русским переводам. Т. 1—3. М.: Тип. П. Лебедева, 1873—1878.

Баранов и Марков 2003 — Новгородская служебная минея на май (Путятина минея). XI век: Текст, исслед., указ. / Подгот. В. А. Баранов, В. М. Марков. Ижевск: Изд. дом «Удмуртский ун-т», 2003.

Бурдье 1991 — *Bourdieu P.* The Production and Reproduction of Legitimate Language // *Pierre Bourdieu.* Language and Symbolic Power / Ed. and Intro. by J. B. Thompson. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press, 1991. P. 43—65.

Верещагин и Крысько 1999 — *Верещагин Е. М.*, *Крысько В. Б.* Наблюдения над языком и текстом архаичного источника — Ильиной книги // Вопр. языкознания. 1999. № 2. С. 3—26; № 3. С. 38—59.

Ворт 1978 — *Worth D. S.* On «Diglossia» in Medieval Russia // Die Welt der Slaven, XXIII (1978), 2. P. 371—393.

Гиппиус 1989 — *Гиппиус А. А.* Система формальных признаков языка древнерусской письменности как предмет лингвистического изучения // Вопр. языкознания. 1989. № 2. С. 93—110.

Гиппиус 1992 — *Гиппиус А. А.* Новые данные о пономаре Тимофее — новгородском книжнике середины XIII века // Междунар. ассоциа-

ция по изучению и распространению славянских культур: Информ. бюл. Вып. 25. М., 1992. С. 59—86.

Гиппиус 1993 — *Гиппиус А. А.* Морфологические, лексические и синтаксические факторы в склонении древнерусских членных прилагательных // Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти проф. Г. А. Хабургаева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 66—84.

Гиппиус 1996 — *Гиппиус А. А.* Лингво-текстологическое исследование Синодального списка Новгородской Первой летописи: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1996.

Гиппиус 1997 — *Гиппиус А. А.* К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сб. Вып. 6 (16). СПб., 1997. С. 3—72.

Гиппиус 2002 — *Гиппиус А. А.* О критике текста и новом переводе-реконструкции «Повести временных лет» // Russian Linguistics. Vol. 26 (2002). № 1. С. 63—126.

Голышенко 1977 — *Голышенко В. С.* Введение // Выголексинский сборник / Под ред. С. И. Коткова. М.: Наука, 1977.

Горский и Невоструев, I—III — *Горский А. В.*, *Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I—III. М., 1855—1917.

Дурново 1931 — *Дурново Н. Н.* Еще раз о происхождении старославянского языка и письма // Byzantinoslavica, III (1931). С. 68—78.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Живов 1984 — *Живов В. М.* Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian Linguistics. Vol. 8 (1984). № 3. P. 251—293.

Живов 1986 — *Живов В. М.* Еще раз о правописании **ц** и **ч** в древних новгородских рукописях // Russian Linguistics. Vol. 10 (1986). № 3. P. 291—306.

Живов 1995 — *Живов В. М.* Буковница 1592 г. и ее место в истории русской грамматической мысли // The Language and Verse of Russia: In Honor of D. S. Worth / Ed. by H. Birnbaum and M. Flier. M., 1995. С. 291—303.

Живов 1996а — *Живов В. М.* Язык и культура в России XVIII века. М.: Школа «Языки рус. культуры», 1996.

Живов 1996б — *Живов В. М.* Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М.: Индрик, 1996. С. 78—202.

Живов 2003 — *Живов В. М.* **ХОѴ-ть-И**. Об идеосинкретических факторах при выборе морфологических вариантов // Rusistika Slavisti-

ka Lingvistika: Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag / Hrsg. von Sebastian Kempgen, Ulrich Schweier und Tilman Berger. München: Otto Sagner, 2003. С. 320—329. (Die Welt der Slaven; Sammelbände Bd. 19).

Живов и Тимберлейк 1997 — *Живов В.*, *Тимберлейк А.* Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии) // Вопр. языкознания. 1997. № 3. С. 3—14.

Живов и Успенский 1984 — *Живов В. М.*, *Успенский Б. А.* Оппозиция рефлексов *ě и *е в книжном произношении и историческая диалектология // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровнего взаимодействия в истории языка). Ужгород, 18—20 сентября 1984 г.: Тез. докл. и сообщ. Т. 2. М., 1984. С. 217—218.

Жуковская 1957 — *Жуковская Л. П.* Из истории языка северо-восточной Руси в середине XIV в. (фонетика галичского говора по материалам Галичского евангелия 1357 г.) // Тр. Ин-та языкознания АН СССР. Т. 8. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 5—106.

Жуковская 1981 — *Жуковская Л. П.* Гiпотези и факти про давньоруську писемнiсть до XII ст. // Лiтературна спадщина Київської Руси i українська лiтература XVI—XVIII ст. Київ: Наук. думка, 1981. С. 9—35.

Жуковская 1983 — Апракос Мстислава Великого / Под ред. *Л. П. Жуковской*. М.: Наука, 1983.

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М.: Наука, 1985.

Зализняк 1990 — *Зализняк А. А.* «Мерило праведное» XIV века как акцентологический источник. München: Otto Sagner, 1990. (Slavistische Beiträge; 266. Bd.).

Зализняк 1993 — *Зализняк А. А.* К изучению языка берестяных грамот // *Янин В. Л.*, *Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М.: Наука, 1993. С. 191—321.

Зализняк 1999 — *Зализняк А. А.* О древнейших кириллических абецедариях // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: ОГИ, 1999. С. 543—576.

Зализняк 2002а — *Зализняк А. А.* Древнерусская графика со смешением ъ – о и ь – е // *Зализняк А. А.* «Русское именное словоизменение» с пролож. избр. работ по совр. рус. языку и общему языкознанию. М.: Языки слав. культуры, 2002. С. 577—612.

Зализняк 2002б — *Зализняк А. А.* Тетралогия «От язычества к Христу» из Новгородского кодекса XI века // Рус. яз. в науч. освещении. 2002. № 2 (4), С. 35—56.

Зализняк 2003 — *Зализняк А. А.* Древнейшая кириллическая азбука // Вопр. языкознания. 2003. № 2. С. 3—31.

Зализняк 2004а — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки слав. культуры, 2004.

Зализняк 2004б — *Зализняк А. А.* К изучению древнерусских надписей // *Янин В. Л.*, *Зализняк А. А.*, *Гиппиус А. А.* Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1997—2000 гг.). Т. 11. М.: Рус. словари, 2004. С. 233—287.

Зализняк и Янин 2001 — *Зализняк А. А.*, *Янин В. Л.* Новгородский кодекс первой четверти XI в. — древнейшая книга Руси // Вопр. языкознания. 2001. № 5. С. 3—25.

Ищенко 1968 — *Ищенко Д. С.* Древнерусская рукопись XII века «Устав Студийский»: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1968.

Карнеева 1916 — *Карнеева М. И.* Язык Служебной Минеи 1095 г. Особенности памятника, свойственные как русским, так и ст.-сл. памятникам // Рус. филол. вестник. Т. 76 (1916). № 3. С. 120—128.

Карский 1928 — *Карский Е. Ф.* Славянская кирилловская палеография. Л.: Изд-во АН СССР, 1928.

Козловский 1885—1895 — *Козловский М. М.* Исследования о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности имп. АН, 1885—1895. С. 1—127.

Комарович 1925 — *Комарович В.* Язык служебной Октябрьской Минеи 1096 года // Изв. ОРЯС. 30 (1925). С. 23—44.

Кривко 2004а — *Кривко Р. Н.* Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. I // Рус. яз. в науч. освещении. 2004. № 1 (7). С. 80—124.

Кривко 2004б — *Кривко Р. Н.* Графико-орфографические системы Бычковско-Синайской псалтири. II // Рус. яз. в науч. освещении. 2004. № 2 (8). С. 170—200.

Крысько 2005 — Ильина книга. Рукопись РГАДА, Тип. 131 / Лингв. изд., подгот. текста, коммент., словоуказ. *В. Б. Крысько*. М.: Индрик, 2005.

Лант 1949 — *Lunt H. G.* The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts: Ph. D. Thesis. University microfilms. Columbia Univ., 1949.

Лант 1987 — *Lunt H. G.* On the Relationship of Old Church Slavonic to the Written Language of Early Rus' // Russian Linguistics. Vol. 11 (1987). P. 133—162.

Лант 1988 — *Lunt H. G.* On Interpreting the Russian Primary Chronicle: the Year 1037 // Slavic and East European Journal. Vol. 32 (1988). № 2. P. 251—264.

Малкова 1966 — *Малкова О. В.* К истории редуцированных гласных *ъ* и *ь* в южных говорах древнерусского языка (по материалам рукописи 1164 г.) // Изв. АН СССР, Сер. лит. и яз. 1966. Т. 25. Вып. 3. С. 240—246.

Малкова 1967 — *Малкова О. В.* Редуцированные гласные в Добриловом евангелии 1164 года: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1967.

Малкова 1987а — *Малкова О. В*. Проблемы фонетического развития диалектов южной зоны древнерусского языка (на материале рукописей XII—XIII вв.): Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1987.

Малкова 1987б — *Малкова О. В.* Проблемы фонетического развития диалектов южной зоны древнерусского языка (на материале рукописей XII—XIII вв.): Дис. ... докт. филол. наук. М., 1987.

Марков 1968 — *Марков В. М*. Путятина Минея как древнейший памятник русского письма // Slavia. Roč. XXXVII (1968). Seš. 4. С. 548—562.

Милов 1963 — *Милов Л. В.* Из истории древнерусской книжной письменности XIV века (палеографические наблюдения) // Вестник Моск. ун-та. Сер. IX, История. 1963. № 3. С. 23—33.

Миронова 1996 — *Миронова Т. Л.* Графика и орфография рукописных книг Киевского скриптория Ярослава Мудрого. М., 1996.

Миронова 1999 — *Миронова Т. Л.* Проблемы эволюции графико-орфографических систем древнеславянского книжного наследия. М.: Скрипторий, 1999.

Обнорский 1912 — *Обнорский С. П.* Язык Ефремовской Кормчей XII века // Исследования по русскому языку. Т. 3. Вып. 1. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности имп. АН, 1912. С. 1—80.

Обнорский 1924 — *Обнорский С. П*. Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 года // Изв. ОРЯС. 29 (1924). С. 167—226.

Пентковский 2001 — *Пентковский А. М*. Типикон патриарха Алексея Студита в Византии и на Руси. М.: Изд-во Моск. патриархии, 2001.

Погорелов 1910 — *Погорелов В.* Чудовская псалтырь XI в. Отрывок толкования Феодорита Киррского на Псалтырь в древнеболгарском переводе. СПб., 1910. (Памятники старославянского языка; Т. III, вып. 1).

Поповски 1987 — *Popovski J.* Najstariji par antigrafa i apografa u slovenskoj pismenosti // Paleographie et diplomatique slaves. № 3. 1987.

Поповски 1989а — *Popovski J*. Die Pandekten des Antiochus Monachus. Slavische Übersetzung und Überlieferung. Amsterdam; Nijmegen, 1989.

Поповски 1989б — *Popovski J.* The Pandects of Antiochus: Slavic Text in Transcription. — **Полата кънигописьнаꙗ**. № 23—24. January 1989.

Поповски, Томсон, Федер 1988 — *Popovski J.*, *Thomson F. J.*, *Veder W. R.* The Troickij Sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra), № 12): Text in Transcription. — **Полата кънигописьнаꙗ**. № 21—22. February 1988.

Ротт-Жебровски 1974 — *Rott-Żebrowski T.* Pismo i fonetyka Izbornika Światosława z 1076 roku na tle pisma i fonetyki zabytków ruskich XI w. i kanonu starisłowiańskiego. Liublin, 1974.

СДЯ XI—XIV, I—VII — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. 1—7 / Под ред. Р. И. Аванесова (изд. продолж.). М.: Ин-т рус. яз., 1988—2004.

СК 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. / Под ред. Л. П. Жуковской. М.: Наука, 1984.

Соколова 1930 — *Соколова М. А.* К истории звуков русского языка: (Рукопись моск. б-ки им. Ленина № 1666) // Изв. АН по рус. яз. и словесности. Т. 3. Кн. 1 (1930). С. 75—135.

Срезневский, I—III — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

Столярова 1998 — *Столярова Л. В.* Древнерусские надписи XI—XIV веков на пергаменных кодексах. М.: Наука, 1998.

Столярова 2000 — *Столярова Л. В.* Свод записей писцов, художников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов XI—XIV веков. М.: Наука, 2000.

Судник 1963 — *Судник Т. М.* Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII—XIII вв. // Учен. зап. Ин-та славяноведения. Т. 27. М., 1963. 173—205.

Тарнанидис 1988 — *Tarnanidis I. C.* The Slavonic Maniscripts Discovered in 1975 at St. Catherine's Monastery on Mount Sinai. Thessalonici, 1988.

Тимберлейк 1997а — *Timberlake A.* **Чемꙋ ѥси слѣпилъ братъ свои**: Templates and the Development of Animacy // Russian Linguistics. Vol. 21 (1997). P. 49—62.

Тимберлейк 1997б — *Тимберлейк А.* Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // Вопр. языкознания. 1997. № 5. С. 66—86.

Тимберлейк 1998 — *Timberlake A.* Linguistic Layering in the *Lavrentian Chronicle* (The Imperfect Consonantal Augment) // R. A. Maguire, A. Timberlake (eds). American Contribution to the Twelfth International Congress of Slavists. Bloomington: Slavica Publishers, 1998. P. 501—514.

Тимберлейк 2000 — *Timberlake A.* Who Wrote the Laurentian Chronicle (1177—1203)? // Zeitschrift für slavische Philologie. Bd. 59 (2000). 2. P. 237—265.

Тот 1981 — *Tom И. X.* Служебная минея на месяц февраль первой половины XII в. (предварительное сообщение) // Acta Universitatis szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes slavicae. Slavistisches Mitteilungen. Szeged, 1981. С. 140—162.

Тот 1982 — *Tom И. X.* Слуцкая псалтырь // Acta Universitatis szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes slavicae, XV. Szeged, 1982. С. 147—191.

Тот 1985 — *Том И. Х.* Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII в. София: Изд-во Болгарской АН, 1985.

Трубецкой 1954 — *Trubetzkoy N. S.* Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem. Wien: Rudolf M. Rohrer, 1954. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungberichte; 228. Bd., 4. Abh.).

Успенский, I—III — *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. 1—3. 2-е изд. М.: Языки рус. культуры, 1996—1997.

Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). 3-е изд. М.: Аспект пресс, 2002.

Хабургаев 1976 — *Хабургаев Г. А.* Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотношении книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история языка / Под ред. Р. И. Аванесова. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1976. С. 397—406.

Шахматов, I—III — *Шахматов А. А.* Курс истории русского языка: Литогр. изд. лекций, читанных в С.-Петербургском ун-те в 1908—1911 гг. Т. 1—3. СПб., 1910—1912.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энцикл. славянской филологии; Вып. XI, 1).

Шевелов 1979 — *Shevelov G. Y.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1979.

Ягич 1886 — Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по рукописям Московской Синодальной Типографии 1095—1097 г. / Труд орд. акад. *И. В. Ягича.* СПб., 1886. (Памятники древнерус. яз.; Т. 1).

PG, I—CLXVI — Patrologiae cursus completus. Series graeca. Vol. I—CLXVI / Accurante J. P. Migne. Paris, 1857—1866.

~

Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI — XIII века*

Памяти Н. Н. Дурново

1. После работ Н. Н. Дурново (1924; 1925—1926; 1926—1927; 1933) стало очевидным, что

> бóльшая часть русских писцов в своем правописании руководилась не столько написаниями своих непосредственных оригиналов и своим живым произношением, сколько усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или церковным произношением (1924, 73 / 2000, 392).

Отсюда, в частности, следует, что

> при анализе старинных памятников со стороны их правописания и языка первой задачей исследователя является определение норм литературного языка и правописания, какими руководились их писцы. Без этого нельзя составить понятие и о чертах живого некнижного языка писцов, отражающихся на написаниях памятника (1933, 48 / 2000, 647).

Иными словами, основу лингвистического изучения рукописи составляет описание ее орфографической системы; лишь на этой основе могут быть интерпретированы отдельные отклонения от данной системы, связанные с влиянием протографа, живого произношения или иных факторов.

Орфографическая система может, в принципе, мыслиться как набор формул, соотносящих звуковые цепочки (скажем,

---

* Впервые опубликовано: Russian Linguistics. Vol. 8 (1984). № 3. P. 251—293.

фонетические слова) со всеми правильными (с точки зрения данной рукописи) записями этих цепочек (ср. Зализняк 1979, 150—151). Такие формулы, вообще говоря, должны давать ответ одновременно на два вопроса, а именно: (а) как может записываться данная звуковая цепочка, (б) как может читаться данная последовательность графем; соотнося графический и фонетический уровни, формулы, таким образом, обеспечивают переход как от написания к произношению (книжному), так и от произношения к написанию.

При таком подходе в орфографической системе естественно выделить два компонента: (A) систему базисных соответствий букв и фонем и (B) набор дополнительных ограничений, указывающих,

(a) как должны употребляться две буквы (или несколько букв), соответствующих — вообще или в определенной позиции (позиции нейтрализации какого-либо фонологического противопоставления) — одной фонеме;
(b) как могут обозначаться (сочетанием с какими-то омофоничными буквами, употреблением особых, не имеющих собственного фонетического значения графем) противопоставления фонем, соотносящихся (в системе базисных соответствий) с одной и той же буквой;
(c) как могут или должны специально записываться определенные слова, словоформы или классы словоформ (например, с помощью различных сокращений или особых сочетаний букв[1] и т. д.).

Система базисных соответствий с большей или меньшей полнотой задается азбукой (азбучным чтением)[2]. В азбуке со-

---

[1] Ср. последний случай в русской дореволюционной орфографии, требовавшей написания -АГО для окончаний прилагательных в родительном падеже ед. числа муж. и ср. рода, произносившихся как [ovъ] или [ъvъ].

[2] Я отвлекаюсь здесь, поскольку это не имеет принципиального значения для дальнейшего изложения, от ряда несоответствий между набором формул, задаваемых древнерусским азбучным чтением, и тем набором, который мог бы установить исследователь древнерусского правописания. Так, в славянской азбуке, по которой учились читать,

держится инвентарь самостоятельных (с точки зрения носителя графической системы, ср. Зализняк 1979, 142—143) букв и указывается основное фонетическое значение каждой буквы. Азбука, тем самым, сообщает формулы типа: А ↔ /a/, Б ↔ /b/, В ↔ /v/, Г ↔ /γ/ и т. д. Именно подобные формулы и усваивались в древней Руси при элементарном обучении грамоте, причем фонетические значения букв давались, естественно, в соответствии с правилами книжного (а не живого, диалектного) произношения (которое могло совпадать, а могло и не совпадать по определенным признакам с живым произношением данного ареала). Эти формулы были известны (в том или ином виде) каждому грамотному человеку (т. е. большинству мужского населения древней Руси, ср. Живов и Успенский, 1975) и определяли для языкового сознания основную сетку ассоциаций между звуками и буквами, равно значимую как для книжного писца, так и для любого грамотного человека (обучавшегося чтению, но не обучавшегося книжному письму).

Наборы дополнительных ограничений не имели подобного общеобязательного характера. Реконструируя их, видим, что они могли варьировать от рукописи к рукописи и от писца к писцу. Они состояли из набора формул разной степени общности и разной степени обязательности. Особенности орфографии отдельной рукописи (отдельного почерка) как раз и определяются тем, какие из этих дополнительных формул реализованы в ней и с какой последовательностью проводится эта реализация.

отсутствовали, видимо, все йотированные буквы, кроме **ю**; единственное известное мне исключение — берестяная грамота № 199 с записью мальчика Онфима: здесь в алфавите имеется **ѥ**, но отсутствует **є**, на месте которого и помещается **ѥ** (Арциховский и Борковский 1963, 17). Можно думать, что йотированные буквы рассматривались как диграфы. В древнерусские азбуки не включались и буквы **ԉ** и **ԋ**, что предполагает, видимо, восприятие крючка как дополнительного надстрочного знака. С другой стороны, в азбучной формуле букве Д соответствовала, видимо, только фонема /d/, тогда как фонема /ǯ/ вообще выпадала из системы азбучных формул (т. е. отсутствовала формула Д ↔ /ǯ/ после Ж, /d/ в прочих случаях). Это, можно думать, и обусловило вариативность обозначений данного сочетания фонем: **жд**, **жд҄**, **жг**, **жѵ**, **жьж**/**ꙃж**, **ꙃжд** и т. д. (ср. Шахматов 1915, § 312, 179—180).

Примером дополнительных ограничений для того случая, когда две или несколько букв соответствуют одной фонеме, могут служить формулы употребления букв ꙗ и ѧ (вне зависимости от окружения) или букв ꙗ, ѧ и а после шипящих и Ц. В русском изводе церковнославянского языка буквы ꙗ и ѧ имели одно фонетическое значение (ср. Дурново 1924, 89 / 2000, 409), т. е., видимо, [ä] или [jä] в зависимости от позиции. Соответственно, на уровне графической правильности (ср. Зализняк 1979, 150) они были взаимозаменимы. С освобождением русских рукописей от влияния южнославянских протографов (для которых ꙗ и ѧ не были омофоничны) в русском правописании устанавливается правило, по которому ꙗ пишется после гласной и в начале слова, а ѧ — после согласной (оставляю здесь без внимания ту традицию, в которой ꙗ служит и для обозначения палатальных сонорных). Таким образом, если в системе базисных соответствий имеются формулы

ꙗ ↔ /ä/,/jä/; ѧ ↔ /ä/, /jä/

(как я уже говорил в примеч. 2, йотированные гласные, и в том числе ꙗ, в древнерусские азбуки не входили), то среди дополнительных ограничений фигурирует:

ꙗ/#, v_____; ѧ/C___;

т. е. «в начале слова и после гласной пиши ꙗ, после согласной пиши ѧ».

После шипящих и /c/ противопоставление /a/ — /ä/ нейтрализуется, и, соответственно, омофоничными для данной позиции оказываются буквы ꙗ, ѧ, а. В разных рукописях употребление этих букв в данной позиции подвергается разным дополнительным ограничениям. Так, во втором почерке Остромирова евангелия нормой является этимологически правильное написание (оно в контексте русского книжного произношения, в котором отсутствовали носовые гласные, является такой же орфографической условностью, как и любой произвольный выбор). В ряде русских рукописей (например, в обоих почерках Успенского сборника, в Мстиславовом евангелии и т. д.) в качестве нормы здесь фиксируется написание а, тогда как в других рукописях в качестве такой нормы выступает ѧ (например, в Галицком

евангелии 1144 г.). Возможны, наконец, и такие рукописи, где ограничений на употребление ѧ и ѩ в данной позиции вообще не накладывается (например, первый почерк Архангельского евангелия). В каждом из этих случаев перед нами прежде всего элемент орфографической системы (орфографическая условность), отнюдь не непременно соответствующий каким бы то ни было фонетическим особенностям.

В том случае, когда какое-либо фонологическое противопоставление не соотносится с противопоставлениями графем (не отражается в азбуке), могут возникать искусственные способы обозначения этого противопоставления с помощью тех или иных буквенных сочетаний, не мотивированных базовыми фонетическими соответствиями употребляемых при этом букв. Так обстоит дело, например, с обозначением палатальных сонорных с помощью последующих йотированных гласных. Как известно, в славянской азбуке отсутствуют специальные буквы для обозначения фонем /λ/ и /ñ/ (на мой взгляд, наиболее убедительное объяснение их отсутствия в азбуке, созданной св. Кириллом, дано Н. С. Трубецким 1954, 30—31); буквы ԓ и ԋ в азбуку не входят, при обучении чтению не выучиваются и выступают в результате как факультативные, присущие одним рукописным традициям и не присущие другим (ср. Лант 1949, 31 сл.). Таким образом, азбука задавала лишь базисные формулы Н ↔ /n/, Л ↔ /l/, тогда как практика письма и книжного чтения давала для этих букв и другие соответствия, а именно: Н ↔ /ñ/, Л ↔ /λ/ (результатом могли быть двузначные написания, например, єлєнь — существительное и притяжательное прилагательное). Отсюда возникал искусственный способ обозначения палатальных с помощью йотированных букв (ꙗ, ю, ѩ, ѭ в южнославянской традиции, ꙗ, ю, ѥ — в русской). Следовательно, к базисным формулам Н ↔ /n/, /ñ/; Л ↔ /l/, /λ/ добавлялись ограничения (в русской традиции)

Н ↔ /n/, Л ↔ /l/ перед є, а, оу, о, ъ, ы, ѧ (ѫ);
Н ↔ /ñ/, Л ↔ /λ/ перед ѥ, ꙗ, ю (ѭ, ѩ);

перед и, ь буквы н и л оставались в этой традиции омофоничными. И эти ограничения были своего рода орфографической условностью (поскольку отсутствие обозначений для /λ/, /ñ/ не

нарушало, как свидетельствует целый ряд рукописей, нормы книжного письма), указывающей на принадлежность писца к определенной школе книжного письма, культивировавшей данный орфографический прием.

В качестве примера дополнительных ограничений, относящихся к третьему типу (с), из древнерусской письменности могут быть указаны хотя бы написания под титлом или написания с пропуском **ъ** или **ь** в определенном наборе основ (**мъног-**, **вьс-**, **къто**, **кънѧз-**, **къниг-** и т. д.[3]).

Как можно видеть, дополнительные ограничения всех рассмотренных типов являются по существу орфографическими правилами, правилами того же рода, как те правила современной русской орфографии, которым обучают сейчас в начальной школе. Писец, видимо, тем или иным способом — возможно, при прямом обучении в скриптории, а возможно, самостоятельно, из опыта переписки — должен был выучиться, как правильно употреблять, например, буквы **ꙗ** и **ѧ**, как обозначать палатальные сонорные и т. д., т. е. должен был усвоить правило «после гласной и в начале слова пиши **ꙗ**, после согласной — **ѧ**» и т. п. Таким образом, задача описания орфографической системы рукописи практически равносильна задаче реконструкции набора орфографических правил, которыми пользуется писец, причем в этом наборе вычленяются два компонента: элементарные графические формулы, выучиваемые в процессе азбучного чтения, и собственно орфографические приемы, входящие в профессиональную выучку данного писца.

Реконструкция профессиональных навыков писцов, реконструкция — в конечном итоге — системы их обучения представляется важнейшим моментом в лингвистическом изучении

---

[3] О том, что в последнем случае имеем дело с орфографическим приемом (восходящим к южнославянскому правописанию, см. Дурново 1925—1926, 111 / 2000, 433), а не с отражением процесса падения редуцированных, свидетельствуют написания с пропуском **ь** в сильной позиции, ср. написания местоимения *весь* в им. падеже муж. рода — **вcь** — в Минеях 1095 и 1097 гг., в Типографском уставе и в целом ряде других памятников (ср. Дурново 1925—1926, 105—107 / 2000, 427—429; Обнорский 1924, 174—175; Успенский 1973, 323).

древнерусского рукописного наследия. Именно профессиональные навыки писцов являются той призмой, в которой преломляются все языковые явления, находящие отражение в рукописях. Следовательно, только реконструкция этой призмы создает возможность адекватного описания данных явлений.

Позволю себе аналогию из современной русской орфографии. Допустим, что перед исследователем стоит задача описания фонетики современного русского языка, а материалом для этого исследования являются современные русские письменные тексты. Ориентируясь на одни только грамотные тексты, такой исследователь придет, видимо, к заключению, что русскому литературному произношению свойственно оканье (ср. Дурново 1933, 73 / 2000, 673). Точно так же, замечу, как исследователь древнерусского материала должен был бы прийти к выводу о различении аффрикат в новгородском диалекте, если бы он ориентировался только на такие памятники, принадлежащие, как полагают, к новгородской письменности, как Остромирово или Мстиславово евангелие, т. е. памятники, написанные с высокой степенью грамотности. Тексты, написанные недостаточно грамотно, дадут принципиально иной результат, однако и в них случаи спорадического смешения **А** и **О** в безударных слогах не сообщают однозначного указания на аканье — сохранится возможность интерпретации этих смешений как результата морфологической аналогии, колебания фонемного состава отдельных лексем или случайных описок. Если, однако, наш исследователь обратится к статистике подобных ошибок и обнаружит принципиальную диспропорцию ошибок в проверяемых и непроверяемых безударных слогах, он получит возможность реконструировать правило проверки безударных гласных. Факт наличия такого правила, т. е. существования искусственного приема, позволяющего установить, **А** или **О** следует писать в безударном слоге, и укажет однозначно, что автор данного текста не мог в своем правописании основываться на простом пересчете фонетических единиц в графические, т. е. что в его произношении в безударном слоге /а/ и /о/ не противопоставлялись.

Аналогичные задачи стоят и перед исследователем древнерусской письменности: описывая орфографические системы отдельных писцов, он должен, в принципе, реконструировать

правила, которыми эти писцы руководились, и уже исходя из реконструированной системы правил делать выводы о лежащем в основе данной орфографии книжном произношении, о фонетике родного диалекта писца или о влиянии протографа на его правописание.

2. Описание орфографической системы рукописи, являющееся предпосылкой реконструкции правил, которыми руководствовался ее писец, было бы почти механической процедурой, если бы наряду с графической записью текста была известна его фонетическая запись. В таком случае без труда устанавливалось бы, где писец руководствуется базисными формулами, соотносящими графические и фонетические единицы, а где он прибегает к тем или иным искусственным приемам (правилам). Книжное произношение, однако, представляет собой неизвестную величину; следовательно, описание орфографической системы рукописи и реконструкция книжного произношения ее писца должны выполняться как одновременные задачи. Соответственно, постоянно возникает проблема разграничения явлений орфографических и явлений орфоэпических, т. е. вопрос о том, как трактовать те или иные написания — как результат прямого пересчета звуков в буквы в соответствии с базисными формулами (т. е. как феномен книжного произношения, отражающийся в орфографии) или как результат применения орфографических правил (т. е. как орфографическую условность, не имеющую коррелята в книжном произношении, — и это, понятно, тоже существенно для реконструкции книжного произношения).

Так, например, описывая рукописи, в которых обозначаются палатальные сонорные (с помощью йотированных гласных, или с помощью крючка, или обоими этими способами), исследователь должен решить, были ли в книжном произношении писца особые фонемы /λ/ и /ñ/ или писец ставил соответствующие обозначения в определенной категории случаев, выделяемых по нефонетическим признакам (скажем, если **л** стоит после **б**, **п**, **м**, **в**, в формах с суффиксом **-тель**, когда **н** стоит после **г**, в косвенных падежах местоимения **и** и т. д.) и имеющих чисто орфографическое значение. То или иное решение зависит, очевидно, от ха-

рактера нарушений (этимологически) правильного обозначения /λ/ и /ñ/[4]. Если, допустим, палатальные сонорные обозначаются в рукописи с помощью написания **ĸ** после **л** и **н**, а нарушения этимологически правильных обозначений состоят лишь в спорадическом написании **ĸ** после палатальных шумных, то можно предположить, что писец основывается на произношении и в отдельных случаях — исходя именно из фонетических ассоциаций — экстраполирует обозначение палатальности у сонорных на шумные (для которых такое обозначение избыточно)[5]. Столь же просто решается вопрос, когда палатальные сонорные обозначены только в словах двух или трех разрядов, образуемых простыми орфографическими или морфологическими признаками, — в таком случае писец явно руководствовался орфографическим правилом, тогда как произношение роли не играло[6].

---

[4] Из числа нарушений этимологически правильного обозначения /λ/ и /ñ/ я заранее исключаю отсутствие обозначения палатальности — обозначение палатальности всегда, видимо, выступает как дополнительное, необязательное, типа написания **ё** в современной русской орфографии. Поэтому во всех обозначающих палатальность рукописях, даже в характеризующихся особо тщательным письмом и последовательной орфографией, в отдельных случаях обозначение палатальности будет отсутствовать (ср. несколько случаев во втором почерке Остромирова евангелия — Козловский 1885—1895, 20). Можно, следовательно, полагать, что отсутствие обозначения палатальности не является нарушением орфографической нормы и что на палатальные распространяется тот «принцип факультативности», который специально сформулирован А. А. Зализняком для обозначения /ô/ в русских рукописях XIV—XVII вв. (см. Зализняк 1978а, 86—88).

[5] Ср. приближающуюся к описанной ситуацию в Выголексинском сборнике, где находим **ижĸ**, **жажĸю**, **г҃лющĸ**, **немогоущĸ** (ср. Голышенко 1977, 54). О том, что палатальные шумные могли восприниматься как звуки одного рода с палатальными сонорными, свидетельствуют редкие случаи употребления крючка с палатальными шумными, см. в том же Выголексинском сборнике **въждĸлахъ**, 166 об., **пригвождĸнъı** 40 об. (ср. там же, 42) или в Мстиславовом евангелии (см. ниже; ср. Карский 1928, 30).

[6] Конечно, и в этом случае нельзя утверждать, что в книжном произношении писца палатальные и дентальные сонорные не противопоставлялись. Однако, даже если такое противопоставление име-

Во многих случаях, однако, одна из интерпретаций может быть выбрана лишь с определенными оговорками.

Так, например, в Мстиславовом евангелии палатальные сонорные обозначаются достаточно последовательно (как с помощью крючка, так и с помощью йотированных гласных); классы слов, в которых встречаются такие обозначения, слишком разнообразны, чтобы уложиться в рамки правдоподобных орфографических правил. На фонетический характер обозначения палатальных указывает и окказиональное обозначение палатальных шумных, например, **ижденѹ** 10в, **жаждеть** 26б, **чюждѥмь** 17г, **въждѥлѣша** 39б, **иждѥноуть** 126в. К этой же интерпретации побуждает и написание **ангелъ** 194в, 199а, которое следует, видимо, объяснять как результат ассимиляции /n/ и палатального [g̑], [ɣ] или [j] (ср. еще **єѵангелиѥ** 132в)[7]. Вместе с тем в рукопи-

---

лось, орфографические навыки писца не были с ним связаны, так что соответствующие обозначения являлись для писца только орфографической условностью

[7] Написание **ангелъ** соотносится с книжным произношением типа [añg̑elo], [añjelo] или [añɣ̑elo]. О палатальности следующего за носовым шумного может отчасти свидетельствовать нейтрализация противопоставления /e/ и /ě/ в этом слове (ср. Живов и Успенский 1984) — мена букв **є** и **ѣ** этом слове наблюдается чаще, чем подобная же мена в других заимствованных словах, где соответствующие буквы стоят после непалатальных согласных. Приведу несколько примеров — см. в Благовещенском кондакаре (РНБ, Q. п. I. 32) XII в.: **ааааангѣѣльскооѥее** 38, **аааангѣлоомъȣъъ/ъъ** 38 об., **ангелъıъıъı** 46 об., **аангеȣееееелъхъхъъъ** 61 об., **ангѣла** 125 об., **ангельскъıихъ** 126 и т. д.; в Стихираре (ГИМ, Син. 279) сер. XII в.: **ангѣловомъ** 10, **ангели** 15, **ангеломъ** 22, **ангели** 24, **ангѣльскы** 25, **ангѣломъ** 27 об., 30 об., **ангели** 33 об.; в Стихираре 1157 г. (ГИМ, Син. 589) **съ ангѣлъı** 104 об. наряду с обычным **ангелы**; в октябрьской Минее (ГИМ, Син. 161) XII в.: **ангѣли** 5, **ангели** 14 об., **ангелъ** 25 об., **ангелъı** 29, **ангѣльскъı** 58 об., **архангеле** 59, **архангѣла** 59 об., ср. еще в Минее 1097 г. (ср. Обнорский 1924, 213). Не ясно, был ли этот шумный смычным или спирантом. В говорах (в том числе и северных) распространено произношение [an'jel] (Л. Л. Касаткин, устное сообщение), свидетельствующее о заимствовании этого слова из книжной речи, в которой оно произносилось с палатальным спирантом [ɣ̯]. Вместе с тем в тех же северных говорах распространено и произношение [an'd'el]. Поскольку слово носит чисто книжный характер, следует думать, что и данная его

си имеется ряд фонетически (этимологически) неоправданных обозначений палатальных сонорных, например: **мьнити сѧ** 5г, **съглѧда** 105б, **нѥ** (отрицательная частица) 122б, **днѥ** 136а. Очевидно, что принимая гипотезу о фонетически мотивированном обозначении палатальных в Мстиславовом евангелии, исследователь должен найти специальное объяснение для подобных написаний.

Точно так же, предполагая, что написания **ЖГ** на месте **zdj*, **zgj* или **zg* перед передними гласными мотивированы фонетически[8], исследователь должен объяснить, в результате каких ошибочных ассоциаций возникают, например, в Минее 1095 г. написания типа **прѣжге** 84а, **рожгение** (γονῆς) 135б, **въ рожгеныхъ** 136б, **повѣжгенъ** 164а, в которых **жг** стоит на месте **dj* (ср. Карнеева 1916—1917, 123). Поскольку нет сомнений в том, что и в разговорном, и в книжном произношении нормальным рефлексом **dj* было [ž] (написание **ж** на месте **dj* является нормой для Минеи 1095 г., **жд** пишется здесь лишь в редких случаях, ср. **раждаѥмъ** 139а, **оугождениї** 164а — ср. Карнеева, там же), **жг** на месте **dj* может трактоваться лишь как орфографический вариант **жд**, что в принципе противоречит фонетической интерпретации **жг** и требует опять же особого объяснения.

форма восходит к определенного рода книжному произношению — произношению с палатальным смычным [g]. Возможно, на фоне основного фрикативного произношения буквы **Г** в заимствованных словах могло иметь место и произношение с [g] взрывным — подобное особое произношение заимствованных слов известно позднее в Юго-Западной Руси.

[8] Не входя в имеющую длительную историю полемику о характере написания **жг**, отмечу только, что сделанный недавно А. А. Зализняком вывод о том, что на новгородской территории отсутствовал переход **skě* > щѣ (ср. Зализняк 1982, 66—67), дает дополнительные основания для предположения о наличии взрывного палатального в качестве второго согласного в рефлексах **zgj*, **zdj* и **zg* перед передней гласной (ср. еще Живов 1976, 208—209). Поскольку буква **Г** могла в новгородском некнижном письме соответствовать фонеме /g/ (ср. Зализняк 1982), это подкрепляет гипотезу о фонетической мотивированности написаний с **ЖГ**. В то же время вряд ли можно найти основания для того, чтобы считать, что написания с **ЖГ** входили в норму новгородского книжного правописания.

При рассмотрении данной проблематики следует иметь в виду, что славянское правописание X—XII вв. было построено не только на фонологическом, но и на традиционном принципе, при котором «известные написания продолжали по традиции сохраняться... и там, где они не могли быть мотивированы литературным произношением» (Дурново 1933, 56 / 2000, 655). При отсутствии фонетической мотивировки появлялись чисто орфографические оппозиции, выступавшие как самоцель; они служили, видимо, показателем книжного, нормированного характера письма и отражали общую тенденцию профессиональных писцов к созданию или поддержанию искусственных орфографических норм[9]. Традиционализм орфографической нормы обусловливает в ряде русских рукописей XI в. «написания, сохраняющие этимологическое различение между **ѫ**, **ѭ**, **ѧ**, **ѩ** с одной стороны и буквами, передающими заменившие их в местном произношении неносовые гласные, с другой стороны» (там же, 59 / 658). Точно так же, поскольку в русском книжном произношении одинаково читались **ъ** и **о**, равно как **ь** и **є**, к орфографической условности следует отнести и «этимологически» правильное написание этих букв (ср. неразличение этих букв в берестяных грамотах — текстах, отражающих некнижную традицию, ср. Зализняк 1984). Подобной же орфографической условностью является и обозначение палатальных сонорных в рукописях конца XII — начала XIII в., когда оппозиция палатальных и дентальных сонорных уже слилась, видимо, с установившейся в результате падения редуцированных оппозицией твердых и мягких сонорных. Если полагать, что в книжном произношении Новгорода не было противопоставления /c/ и /č/, то к подобным же искусственным различениям принадлежит и дифференцированное написание **ц** и **ч** в новгородских рукописях. Во всех перечисленных случаях орфографическая условность приобретала значение признака правильности книжного

---

[9] Наличие в славянских рукописях X—XII вв. большого количества вариантных написаний одного и того же слова не противоречит стремлению к орфографической нормировке — понятно, что нормирование шло по отдельным признакам, тогда как вне этих признаков орфография допускала значительные колебания.

письма и поэтому писец мог, в принципе, прибегать к достаточно сложным искусственным приемам, чтобы подобную условность соблюсти [10].

---

[10] Доказать, что какое-либо орфографическое различение типа перечисленных является чистой условностью, довольно трудно. Действительно, книжное произношение также является искусственным феноменом и поэтому может поддерживать различения, отсутствующие в произношении разговорном. Так, нельзя полностью исключить возможность того, что в русском книжном произношении первых двух третей XI в. по-разному читались ѹ и ѫ, ꙗ и ѧ и т. д., что противопоставление палатальных и непалатальных сонорных поддерживалось в книжном произношении и после исчезновения этой оппозиции в живом языке (ср. памятники конца XII — начала XIII в. с обозначением палатальных), что в книжном произношении Новгорода проводилось различение аффрикат. Конечно, противоположная точка зрения более правдоподобна, поскольку она согласуется с тем общим положением, что в книжном произношении «сохраняются те звуки и звуковые сочетания, которые имеются в данном местном живом говоре, и заменяются звуками, имеющимися в этом говоре, те звуки и звуковые сочетания, которые в нем отсутствуют» (Дурново 1933, 55 / 2000, 654), однако абсолютное доказательство здесь в принципе невозможно.

То или иное решение данного вопроса практически, однако, ничего не меняет в нашей аргументации: если в книжном произношении проводится какое-то искусственное различение, отсутствующее в живом, то оно так же требует искусственных правил, как и орфографическая условность. Более того, в случае подобных различений книжное произношение явно должно было опираться на орфографию, т. е. подобные противопоставления могли выдерживаться в книжном чтении лишь при том, что они были зафиксированы в том тексте, который читался. Соответственно, если искусственные различения уходили из орфографии, они должны были уйти и из книжного произношения.

Следует вообще иметь в виду, что книжная орфография и книжное произношение в принципе взаимозависимы, так что изменения в одной области тем или иным образом сказываются на другой области. Можно вообще сказать, что для одних текстов первичной является графическая форма, тогда как для других — фонетическая форма. Действительно, когда переписывается текст, хорошо знакомый писцу со слуха или даже выученный им наизусть (Псалтирь, Часослов, Евангелие), писец, видимо, в той или иной мере отвлекается от протографа и основывается на внутреннем диктанте: книжное произношение является здесь, следовательно, первичным, а орфография — вторичной. Напротив, когда переписывается

Имея в виду существенное значение правил для книжного письма рассматриваемого периода, следует задаться вопросом, какими в принципе могут быть эти правила. Именно потому, что нам не известно, как могут действовать подобные правила, мы не можем дать обоснованного решения в тех случаях, когда нужно сделать выбор между объяснением орфографическим и объяснением фонетическим, указать, правилами ли или фонетическим пересчетом обусловлена данная совокупность написаний. Если, например, для какой-то рукописи утверждается, что палатальные сонорные в ней это орфографическая условность, то тем самым постулируется определенная система правил, регулирующая их написание; обоснованность данного утверждения зависит от того, насколько правдоподобной выглядит данная система правил, насколько правдоподобно, в частности, что писец пользуется теми или иными грамматическими категориями. Исследование, таким образом, упирается в вопрос о том, какая вообще грамматическая информация может использоваться писцом, т. е. в типологию правил, основанных на грамматических параметрах[11]. Далее, любая рукопись — сколь

незнакомый со слуха текст или создается текст оригинальный, писец руководствуется прежде всего орфографическими правилами, а чтец читает такой текст по писаному, т. е. следует в своем произношении орфографии писца; в данном случае, таким образом, первична именно орфография, тогда как книжное произношение вторично. Этим и объясняется, на мой взгляд, бóльшая последовательность в орфографии рукописей первого типа сравнительно с рукописями второго типа: очевидно, что при втором типе письма возмущающее влияние протографа, морфологических и графических ассоциаций существенно сильнее и приводит к большей орфографической непоследовательности. Кажется, нет основания связывать подобные различия с предназначенностью рукописи для чтения или для келейного употребления, как это делает Н. Н. Дурново (1924, 73—74 / 2000, 392—393), — ср. Чудовскую псалтирь, в которой текст толкований (неизвестных писцу со слуха) полнее отражает южнославянский протограф, нежели текст самих псалмов (которые писец, видимо, знал наизусть), — имею в виду, например, южнославянские написания еров после плавных, не характерные для орфографии данной рукописи.

[11] Единственное известное мне эксплицитное обращение к возможной системе орфографических правил, основанных на грамматической информации, и отвержение подобной системы, поскольку необхо-

бы грамотно она ни была написана — содержит ряд «ошибок», т. е. написаний, которые не могут быть правильно получены фонетическим пересчетом (если эти написания фонетически мотивированы) или применением чисто орфографических правил (если эти написания представляют собой орфографическую условность). Для того чтобы уяснить, какой именно случай имеет место, нужно обладать типологией ошибок, т. е. знать, какие ошибки (и в каком количестве) могут совершаться при фонетическом пересчете и какие ошибки (и в каком количестве) могут совершаться при применении чисто орфографических правил. Наконец, типология ошибок предполагает рассмотрение вопроса о том, как влияет на написание разговорное произношение писца, т. е. к каким отклонениям может приводить разговорное произношение в случае фонетического пересчета и какое значение имеет разговорное произношение для написаний орфографически условного характера [12].

3. Вопрос о значении разговорного произношения для книжного письма является одной из кардинальных проблем интерпретации рукописных источников; без его решения, вообще говоря, данные памятников не могут быть использованы как материал исторической фонетики.

Наиболее элементарным и, соответственно, наименее показательным случаем отражения разговорной фонетики в па-

---

димая информация писцу не может быть доступна, содержится в работе А. А. Зализняка о противопоставлении букв ѻ и ѡ в рукописи XIV в. Мерило Праведное: «... для того чтобы с такой точностью, которую мы видим в Мериле, имитировать разветвленную систему чередований /ɔ/ и /ô/ в словоизменении и словообразовании..., потребовалась бы совокупность правил совершенно неправдоподобной степени сложности — во много раз большей, чем в любых других известных из истории русской орфографии случаях подобного рода (например, чем в правилах написания є и ѣ или безударных ѻ и а)» (Зализняк 1978б, 45).

[12] Эта проблема ясно поставлена Н. Н. Дурново. Так, например, указывая на неверную методику интерпретации рукописей в работах А. А. Шахматова и В. В. Виноградова, он писал, что «совершенно не соответствуют психологии письма предположения ученых, видящих иногда в смешении букв указание на акустическую близость передаваемых ими звуков» (Дурново 1933, 75 / 2000, 674).

мятниках книжного письма является спорадическое введение в книжный текст отдельных русизмов, например полногласных форм или форм с **ч** на месте **tj*. Появление подобных русизмов, противоречащих норме церковнославянской орфографии, указывает лишь на то, что русский писец пишет по-церковнославянски принципиально иначе, чем, скажем, ирландский писец, пишущий по-латыни: русский писец, работая над церковнославянским текстом, так или иначе помогает себе, привлекая знания родного языка (чего, естественно, не может сделать пишущий по-латыни ирландец), и окказионально подменяет при этом церковнославянские формы формами родного языка.

Более показательны особенности орфографии так называемых «книжных слов», т. е. словоформ и лексем, которые, как можно думать, отсутствовали в разговорном языке, но имелись в языке книжном (церковнославянском). Эти словоформы и лексемы не имели, так сказать, разговорного произношения, и поэтому тот факт, что их орфография обладает определенной спецификой, указывает на значимость разговорного произношения для нормальной орфографической практики писца.

Так, в целом ряде памятников, последовательно различающих **є** и **ѣ**, наблюдается смешение этих букв в формах Dat.-Loc. Sg. **тєбѣ**, **сєбѣ** и в основах **тѣлєс-**, **дрєвл-** (т. е. написания **тєбє**, **сєбє**, **тєлєс-**, **дрѣвл-**). Такие замены не имеют места в основе **тѣл-** и в окказионально встречающихся русизмах Dat.-Loc. Sg. **тобѣ**, **собѣ**[13]. Н. Н. Дурново специально рассматривает указанные замены и отмечает особый статус подобных форм как форм специфически книжных (ср. Дурново 1926—1927, 43, 46, 49 / 2000, 473, 476, 479). О механизме замены **ѣ** на **є** он пишет, что «русские писцы... руководились при различении этих букв своим живым произношением, в котором старославянскому **ѣ** нормально соответствовало *ě*, а старославянскому **є** — *e*. В тех случаях, когда такого соответствия не было (т. е. в случае спе-

[13] Ср., например, Изборник 1073 г., где наряду с правильными формами **тєбѣ**, **сєбѣ** в 10 случаях наблюдается **тєбє**, в 7 — **сєбє**, при том что **тобѣ**, **собѣ** (каждая из этих форм употребляется по 5 раз) не имеют вариантов с **є** (ср. Дурново 1926—1927, 41 / 2000, 470—471; ср. еще Шевелов 1979, 195—196).

цифически книжных форм. — *В. Ж.*), русские писцы были лишены другого критерия различения ѣ и є, кроме правописания своих оригиналов, а потому делали ошибки» (1933, 65—66 / 2000, 665)[14]. Н. Н. Дурново, однако, обходит молчанием основную проблему, встающую в связи с правописанием книжных форм: принципиальную значимость особенностей их правописания для выяснения роли разговорного языка в орфографической практике книжного письма.

В самом деле, если неправильные написания возникают из-за отсутствия разговорного коррелята у книжных форм, значит правильные написания опираются на эти корреляты; писец, следовательно, пользуется определенными правилами, связывающими книжные написания с разговорным произношением. Иными словами, разговорные (русские) элементы могут выступать как материал, с которым работают орфографические правила книжного письма. Действие подобных правил наглядно отражается в написаниях типа **планъ**, **злѣнъ**, **скаждоу**, являющихся результатом неправильного применения этих правил, т. е. неправильного пересчета разговорных форм /polonъ, zelenъ, skažu/.

---

[14] Иную — и на мой взгляд, неприемлемую — интерпретацию дает этим написаниям В. В. Колесов (1982, 67—68), видящий здесь особую «орфографию заимствованных из церковнославянского языка слов» (там же, 68), орфографию, основывающуюся на «отражении фонетики заимствованного слова или ритуального произношения» (67). Таким образом, русские церковнославянские написания типа **тебе**, **телеса**, **оуповати** приравниваются к написаниям типа *жюри* в современном русском литературном языке. Это вряд ли оправдано, поскольку рассмотренные церковнославянские формы никак не соотносятся с особой фонетической подсистемой заимствований: с точки зрения древнерусской фонетической системы или фонетической системы книжного произношения **тебе**, **телеса**, **оуповати** соответствуют столь же допустимым последовательностям звуков, как и **тебѣ**, **тѣлеса**, **оупъвати**. И далее, — логически непоследовательно говорить о церковнославянских заимствованиях в церковнославянских же текстах. Таким образом, объясняя рассматриваемый феномен, надо исходить не из каких-то позитивных свойств книжных форм (принадлежность к фонетической периферии), а из их негативного свойства — их чуждости разговорному языку. Соответственно, встающая здесь проблема — это проблема обращения к разговорному языку при написании книжного (церковнославянского) текста.

Подобные правила оказываются единственным руководством в тех случаях, когда в книжном произношении две буквы произносятся одинаково, т. е. когда пересчет от книжного произношения не может иметь места. Так, в книжном произношении XI—XIII вв. одинаково читались буквы **ъ** и **о** (как [о]) и буквы **ь** и **є** (как [е]) (см. Шахматов 1915, § 344, 208—209; Дурново 1926—1927, 19—21 / 2000, 448—450; Дурново 1933, 51, 64—65, 71 / 2000, 650, 663—664, 670). Поскольку при этом «этимологически» правильное различение букв **о** и **ъ**, **є** и **ь** входило в орфографическую норму книжного письма, писец должен был проверять написание, обращаясь к разговорному произношению, т. е. «руководиться правилом писать *ъ* и *ь* там, где в соответствующих словах и формах русской живой речи слышались звуки *ъ* и *ь*, а *о* и *е* там, где слышались звуки *о* и *е*» (Дурново 1933, 64 / 2000, 663). Это правило обеспечивало орфографическую условность книжного письма; его искусственность ясно проявляется в том, что в некнижном письме оно может не действовать, т. е. буквы **о** и **ъ**, **є** и **ь** могут выступать как «синонимы» и тем или иным образом смешиваться[15].

В качестве общего принципа можно отметить, что смешение тех или иных букв в некнижном письме (неправильное с точки зрения книжного письма) показывает, что в книжном письме они

---

[15] Из того, что в книжном произношении одинаково читались буквы **о** и **ъ**, **є** и **ь**, следует, что при обучении чтению по складам такие, например, склады, как **бо** и **бъ**, **бє** и **бь** оказывались омофоничными. Соответственно, в сознании обучающегося буквы **о** и **ъ**, **є** и **ь** были «синонимичными». При этом **о**, точно так же как и **ъ**, соотносилось с звуками [о] и [ъ] живой речи, а **є**, точно так же как и **ь**, — с звуками [е] и [ь] живой речи. Отсюда в некнижном письме **о** и **ъ** могут безразлично выступать как обозначения звуков [о] и [ъ], а **є** и **ь** — для обозначения звуков [е] и [ь]. На основе подобной синонимии могут формироваться определенные навыки некнижного письма, переходящие из поколения в поколение. Например, в качестве устойчивого обозначения для **о* и **ъ* может выбираться один только **о** или один только **ъ** и т. д. (см. Зализняк 1984). Такого рода некнижное письмо находим в берестяных грамотах, в списке А договора Смоленска с Ригою и Готским берегом, в ряде граффити и приписок к рукописям (отмечу кстати запись XIII в. на рукописи Огласительных слов Кирилла Иерусалимского, Син. 478, XI в., л. 271 — см. Горский и Невоструев, II, 2, 48).

различались искусственно, т. е. с помощью орфографических правил, а не на основе простого пересчета фонетических единиц в графические. Этот принцип вытекает из того, что, как уже говорилось, некнижное письмо связано с обучением чтению, задававшим основные формулы соотнесения звуков и букв, тогда как книжное письмо связано с обучением письму, имевшим профессиональный характер и сообщавшим орфографические правила. Поэтому те смешения, которые выступают как ошибка в книжном письме (нарушение орфографических правил), оказываются нормой в письме некнижном. Ошибки книжного письма могут рассматриваться, тем самым, как вкрапления некнижного правописания в книжный текст. Это обстоятельство и определяет методологическое значение некнижного письма для реконструкции правил книжной орфографии.

Орфографическое правило, регулировавшее написание **о** и **ъ**, **є** и **ь** отсылкою к различению звуков [о] и [ъ], [е] и [ь] в разговорном произношении, усваивалось, видимо, достаточно легко. В отдельных рукописях оно приводило к почти безошибочному написанию **о** и **ъ**, **є** и **ь** в соответствии с этимологическими **о*, **ъ*, **е*, **ь*. Отступления наблюдаются

> по большей части только в тех словах и формах, которых не было в живых русских говорах, или в которых старославянским *ъ* и *ь* в русских живых говорах соответствовали *о* и *е* или наоборот. Так, русские писцы часто писали **оуповати**, потому что основы **оупъва-** не было в живых русских говорах, и **-ъмь**, **-ьмь** в твор. ед., потому что так звучали эти окончания в живом русском произношении, и эти написания уже в некоторых рукописях XI в. становятся орфографическими нормами: в обоих почерках Остром. ев. написания с **-ъмь** составляют 96% всех случаев употребления формы Instr. sg. от основ на *-о* и на *-и*, а в обоих почерках Арханг. ев. — все 100%, и т. д.; основа **оупъва-** уже в некоторых рукописях XI в. пишется исключительно с **о** (Дурново 1933, 64/2000, 664).

В то же время при недостаточно грамотном письме могут возникать относительно многочисленные ошибки, обусловленные тем, что писец пренебрегал необходимой проверкой[16]. В

---

[16] Типологически эта ситуация ближайшим образом напоминает правописание безударных гласных у современного школьника, для которого

этом случае неправильные написания (**о** вместо **ъ**, **ъ** вместо **о**, **е** вместо **ь**, **ь** вместо **е**) могут составлять до 2% всех релевантных написаний, причем замена еров на **о**, **е** характеризует не только сильные, но и слабые позиции (это естественно, поскольку такая замена не отражает никакого фонетического процесса, а является лишь результатом непоследовательного применения правила). Подобную ситуацию наблюдаем в Минее 1095 г.; ср. такие ошибочные написания, как **весе** Nom. sg. masc., **многострастене**, **извлечь** Aor. 3 sg., **бо** Nom. sg., **гакъ** и т. д. (Карнеева 1916—1917, 31—34; об аналогичных примерах в Минее 1097 г. см.: Обнорский 1924, 183—186; в Ефремовской Кормчей: Обнорский 1912, 30—35). В рукописи имеются и многочисленные исправления написаний данного типа, например: **самъ** Nom. Sg. 160 об.$_{15—16}$ из **само**, **ковьчегъ** Acc. sg. 28$_{20}$ из **ковьчего** и т. д. (ср. Карнеева 1916—1917, 33)[17], которые ясно показывают, что «этимологически» правильное различение **о** и **ъ**, **е** и **ь** было нормой и что их смешение воспринималось как ошибка.

После падения редуцированных (вернее, после того как они исчезают из пассивной памяти носителей языка, т. е. с конца XII в.) рассмотренное правило не могло больше применяться,

---

родным является окающий диалект. Поскольку в школе его учат акать, его орфографические навыки связаны с литературным произношением и он может допускать ошибочные написания **А** и **О** в безударных слогах, забывая соотнести свои написания с произношением соответствующих форм в родном говоре. При этом все же особенно многочисленными будут ошибки в книжных словах, не известных школьнику в некнижном произношении (ср. написания и произношение типа *колоши*, *оптека*, *оборт* в ряде окающих говоров в послереволюционную эпоху — ср. Селищев 1968, 442, 466).

[17] Описание М. Карнеевой сделано по изданию И. В. Ягича, и этим обусловлена некоторая его неполнота. В частности, Ягич довольно непоследовательно отмечает имеющиеся в рукописи исправления, например, в издании отсутствуют **ижковъ** Nom. sg. 28$_{18}$ из **ижково**, **законъпреступьны** 19$_{20–21}$ из **законъпреступены**, **пачеестьствьныи/мъ** 45 об.$_{12–13}$ из **пачеестьственыи/мъ** и т. д. Эта неполнота издания не позволяет сделать статистический подсчет подобных ошибок; выборочные подсчеты показывают, что неправильные написания данного типа в отношении ко всем написаниям **ъ**, **о**, **ь**, **е** не превышают 1%.

хотя правильное написание еров долго еще оставалось нормой книжного письма. О наличии этой нормы свидетельствуют нередкие исправления **-омь**, **-ємь** на **-ъмь**, **-ьмь** в окончании Instr. Sg. в памятниках XII — первой половины XIII в.[18] Указанная норма перестает поддерживаться лишь к концу XIII в., когда начинается формирование позднедревнерусской книжной орфографии, отражающей в своих нормах падение и прояснение редуцированных. Надо думать, что после падения редуцированных и до этого момента написание еров регулируется особой системой правил, работающих уже не с фонетической, а с морфологической информацией. Эти правила различались, видимо, как своей общностью, так и легкостью усвоения. Как полагает Г. А. Хабургаев (1976, 402), писцу

> легче всего было усвоить «правило» написания букв **ъ** и **ь** в конце словоформ, оканчивавшихся (после падения редуцированных) согласными; далее — в конце предлогов, а также приставок; сложнее — в правописании суффиксов, особенно — менее регулярных; наконец, наиболее сложным должно было быть усвоение написаний корней, ибо здесь приходилось запоминать правописный облик каждого корня в отдельности, особенно в тех случаях, когда [ъ] или [ь] в корне при словоизменении не соответствовали [о] или [е] живого произношения (исторически — всегда находились в слабом положении)[19].

Переход от правил, основанных на фонетике, к правилам, основанным на морфологии, привел к существенному увеличению числа неправильных написаний и, в конце концов, в XIV в. к формированию новой нормы, для соблюдения которой писцу

---

[18] Об исправлениях в Выголексинском сборнике см. Судник 1963, 96; Голышенко 1977, 28. Ряд исправлений имеется в Стихираре сер. XII в. ГИМ, Син. 279, ср. здесь исправление **-омь** на **-ъмь** в формах **богъмь** 58, **ѥстьствъмь** 100, **млекъмь** 115 об., **поспѣшьствъмь** 121 об., **оубиихствъмь** 156. В форме **путьмь** Instr. sg. 68 об. **ь**, видимо, исправлен из **є**. Есть и ряд других исправлений, связанных с меной **о** и **ъ**: **пророкъмъ** Dat. pl. 13 (первый **ъ** из **о**), **съпасениѥ** 41 (**ъ** из **о**), **миръви** Dat. sg. 49 (не ясно, правилось ли **о** в **ъ** или **ъ** в **о**).

[19] Немногие статистические данные, описывающие распределение ошибок по указанным категориям, подтверждают, как кажется, гипотезу Г. А. Хабургаева (см. Хабургаев 1976, 402—403).

уже не приходилось утруждать себя морфологическими вычислениями. Новая норма совпадала со старой лишь в одном пункте — в написании еров в конце слова, т. е. в том самом пункте, где орфографическое правило могло опираться на фонетические параметры (твердый или мягкий согласный в конце слова).

Сказанное позволяет сделать несколько заключений. Можно предположить, что не только в случае с ерами, но и в любом ином аналогичном случае правила, соотносящие различия в написании с различиями в разговорном произношении, отличаются высокой «надежностью». Такие правила, в принципе, могут обеспечивать безошибочное правописание (у грамотного и внимательного писца). Даже у не слишком грамотного писца процент ошибок при пользовании такими правилами невелик (видимо, до 4%). Низкий процент ошибок, таким образом, может служить указанием на пользование правилом, основанным на фонетике разговорного языка. Правила, основанные на грамматической (морфологической) информации, дают, видимо, сравнительно больший процент ошибок (конкретные цифры зависят, понятно, и от грамотности писца, и от сложности морфологической информации). Характерным показателем наличия правил, ориентированных на фонетику разговорного языка, служат сравнительно более частые ошибки в формах, отсутствующих в разговорном языке.

4. Вся совокупность проблем, связанных с правилами, основанными на фонетических параметрах, и правилами, основанными на параметрах грамматических, чрезвычайно ярко выступает при изучении цоканья в рукописях, написанных на северо-западе восточнославянской территории. Этой проблематике и будет посвящена заключительная часть настоящей работы. Прежде, однако, чем приступить к разбору интересующих нас аспектов цоканья, следует указать на ряд неверных представлений об этом явлении, бытующих в научной литературе.

К таким ложным представлениям относится прежде всего тезис Н. Н. Дурново, согласно которому «в новгородских рукописях XII в. и позднее мы наблюдаем безразличное употребление букв **ц** и **ч**» (1933, 67, ср. 77—78 / 2000, 666, 676—677) и это безразличное употребление входит в норму новгородского право-

писания (там же, 73/673). Если бы безразличное употребление **ц** и **ч** было нормой, следовало бы ожидать, что в новгородских рукописях пропорция «этимологически» неправильных написаний с **ч** и **ц** будет близка к 50%. Ни одна рукопись с подобным количеством замен мне не известна. Даже те рукописи, которые широко отражают неразличение аффрикат в северо-западных диалектах, дают не более 20% «ошибочных» написаний. Так, в Минее 1095 г. неправильные написания по всей рукописи составляют лишь 6.26%, а в максимально «цокающей» части (л. 9—43) — 15.45%. В наиболее «цокающем» из известных мне памятников, в Стихираре 1157 г. (ГИМ, Син. 589), процент неправильных написаний составляет все же лишь 19% (данные по первым 100 листам); даже если не учитывать наиболее частые слова, которые, как можно думать, превращаются для писца в своего рода графический штамп, процент ошибок не превосходит в Стихираре 1157 г. 32%, а это еще очень далеко от тех 50%, которые должно было бы дать безразличное употребление. Более того, в новгородских рукописях встречаются исправления **ц** на **ч**, и это с несомненностью показывает, что нормой книжного письма было «этимологически» правильное различение **ц** и **ч**[20].

Столь же необоснованно предположение, что неправильные написания с **ц** или **ч** обусловлены какими бы то ни было фонетическими свойствами новгородской аффрикаты (аффрикат). Такое предположение высказывал, например, В. Л. Комарович, писавший о Минее 1096 г., что «для нашего памятника надо, кажется, указать на этимологическое смешение при раздельном существовании обоих звуков (т. е. [c] и [č]), так как один звук не господствует над другим» (Комарович 1925, 36). По существу то же положение развивает в ряде работ и В. В. Колесов (ср.,

[20] Тринадцать таких исправлений имеется в новгородском Стихираре сер. XII в. ГИМ, Син. 279 (см. ниже). В Минее 1095 г. на л. 14_{13} находится написание **къ влдѣ**, причем между **д** и **ѣ** соскоблена одна буква, скорее всего **ч**. Если это так, то и здесь имеет место исправление неправильного «цокающего» написания. Аналогичное исправление имеется и в Минее XII в. ГИМ, Син. 161, л. 61. В форме **творьцѧ** Gen. sg. **цѧ** написано по стертому (правда, более поздним, чем основной текст, почерком), можно думать, что соскоблены были буквы **чa**.

например, Колесов 1975, Колесов 1982 и библиографию в последней работе), утверждающий, что в ряде новгородских рукописей отражается аллофоническое варьирование аффрикаты ([c’] перед **ь**, **и**; звук близкий к [č’] в прочих случаях). Такое предположение крайне малоправдоподобно методологически, поскольку аллофонические чередования графикой обычно не передаются. Ошибочна, вероятно, и сама мысль о том, что для новгородца интересующего нас времени буква **ч** ассоциировалась со звуком типа [č], а буква **ц** — со звуком типа [c]. Такие ассоциации естественны для современного языкового сознания или для языкового сознания носителя такого говора, в котором фонологически противопоставлены две аффрикаты, но нет никаких оснований приписывать то же сознание носителю говора без различения аффрикат: свою единственную аффрикату носитель такого говора может с равным успехом ассоциировать и с буквой **ч**, и с буквой **ц** (иные ассоциации могло бы давать книжное произношение, но как обстояло дело с различением аффрикат в новгородском книжном произношении, остается неясным)[21]. Именно о таком языковом сознании говорят новгородские берестяные грамоты, в которых не делается никакой

[21] Некоторое, хотя и недостаточно определенное указание на то, что буква **ч** могла свободно ассоциироваться со свистящей аффрикатой [c], извлекается из весьма частого в смоленских грамотах написания **гочкъıи** ‘готский’. Соответствующий букве **ч** звук был, скорее всего, свистящей аффрикатой, естественным результатом ассимиляции [ts] после падения редуцированного. Даже если предположить, что до падения редуцированных единственной аффрикатой в говоре был звук типа [č], по общефонетическим соображениям было бы естественным ожидать возникновения оппозиции аффрикат (старого [č] и нового [c] из **tьs*), чем изменения [ts > č]. Если принять эти рассуждения, то в форме **гочкъıи** наблюдается случай бесспорного соотнесения буквы **ч** со свистящей аффрикатой. Замечу, что в списке С договора Смоленска с Ригою и Готским берегом представлены как написания **гочкъıи** (11 раз), так и написание **гоцкъıи** (15 раз) (наряду с **готскъıи**), а в списке А ситуация еще более показательна — здесь 26 раз встречается **гочкъıи**, несколько раз **готскъıи**, а **гоцкъıи** не встречается ни разу.

Следует указать, однако, что **ч** в данном слове могло появляться и в силу морфологической аналогии. В самом деле, падение редуцированных приводило не только к изменению [ts > c], но и к изменению [čs > c], ср.

попытки дифференцировать написания с **ч** и **ц**. Здесь, как и в других случаях, некнижное правописание проводит в качестве нормы то, что в книжном тексте отражается как ошибка[22].

Эти же соображения делают неправдоподобной гипотезу, согласно которой «самые ранние новгородские рукописи», где наблюдается «безразличное смешение аффрикат, но с явным пристрастием к ‘чоканью’», отражают через призму книжной орфографии мягкое чоканье, будто бы свойственное новгородскому диалекту до XIII в. (Колесов 1982, 94—96). И последнее. Нет возможности думать, как это часто делается, что правильное написание аффрикат в новгородских рукописях обусловлено исключительно вниманием писца к своему протографу. Если бы дело обстояло таким образом, случаи отступления от правиль-

---

грецкий, *дурацкий*, *купецкий* и т. д. Написание **ч** в формах, претерпевших такое изменение, могло быть традиционным. Показательны в этом плане данные списка D того же договора Смоленска с Ригою и Готским берегом: смешение аффрикат в этом списке вообще не представлено, если не считать форм **немецьскии**/**немечьскъıи** (формы с **ц** употреблены 11 раз, формы с **ч** — 4 раза). Столь же характерно, что в списке E, также не знающем смешения аффрикат, рефлексы **tьs* передаются непоследовательно (при том что рефлексы **čьs* регулярно дают **цьс** — **немецьскъıи**, **волоцьскъıи**, **полоцьскои**): наряду с **готьскъıи** находим здесь **децьскъıи**; очевидно, что различие в написании обусловлено здесь не фонетическими причинами, а различием в характере морфологических ассоциаций. Соответственно, можно думать, что **гочкъıи** возникало по аналогии с **немечьскъıи**, хотя объяснить таким образом последовательное употребление формы **гочкъıи** в списке A представляется затруднительным.

[22] По предположению Д. С. Ворта (Ворт 1985), с неразличением аффрикат может быть связана склонность новгородских некнижных писцов к употреблению перевернутого (относительно вертикальной оси) **ц**, т. е. буквы, отличающейся графически и от книжного **ц**, и от книжного **ч**. Эту же графему находим и в некнижной по своей орфографии приписке XIII в. к Огласительным словам Кирилла Иерусалимского (ср. о ней выше, примеч. 15); А. Горский и К. Невоструев пишут об этой приписке (II, 2, 48): «Буквы **ц** и **ч** в сих подписях писаны одинаково, именно в виде обратного **ц**». Рассматриваемую графему следует сопоставить с начертанием **ц** или **ч** в виде перевернутого **п** с хвостиком посредине нижней горизонтали, встречающимся в ряде рукописей XI—XIII вв. (см. о нем ниже, примеч. 24).

ного написания (обусловленные, согласно этой концепции, невниманием писца) равномерно распределялись бы по разным категориям: процент ошибок в написании аффрикаты, являющейся результатом I палатализации, был бы таким же, как процент ошибок в написании аффрикаты, являющейся результатом II или III палатализации. Такого равномерного распределения в рукописях, как кажется, не встречается. Итак, внимание или невнимание писца к своему протографу не может служить объяснением для смешения или отсутствия смешения аффрикат в новгородских рукописях.

Итак, новгородский писец в своей живой речи имел одну единственную глухую аффрикату, качество которой мы не можем установить (для наших целей оно, впрочем, и не имеет значения). Эта черта новгородского диалекта ясно отражается в берестяных грамотах, не проводящих в своих написаниях дифференциации аффрикат. То, что является нормой для некнижного письма, оказывается ошибкой в письме книжном; расхождение книжного и некнижного письма показывает, что книжный писец пользуется для получения правильных написаний искусственными орфографическими правилами (см. выше, раздел 3). Наша задача, следовательно, — реконструировать эти правила.

Ясные указания на исследуемую систему правил дает новгородская рукопись Стихираря сер. XII в. ГИМ, Син. 279[23], и

---

[23] Рукопись пергаменная, нотированная, в малый лист, 168 л. Состав описан Горским и Невоструевым (III, 2, №519, 347—362). Основная часть рукописи написана уставом середины XII в., имеется ряд вставок, сделанных более поздними почерками (XIII и XIV—XV вв.). Внутри основной части выделяются несколько почерков, различающихся как по палеографическим признакам, так и по орфографии. Основным, I почерком написаны л. 11—97, 98_9—104 об., 106 об. (кроме стр. 8—15) — 147 об., 149—162_9. II почерк — л. 1—10 об., III почерк — л. 97 об. — 98, IV почерк — л. 105—106 об. (кроме стр. 1—7, 16), V почерк (более поздний, XIII в.) — л. 148—148 об., VI почерк — л. 162_{10}—168 об. Рукопись замечательна большим числом исправлений, сделанных как основным писцом рукописи, так и ее нотным писцом, одновременно с написанием крюков правившим орфографию предшествовавшего писца (имеются и более поздние исправления, XIII и XIV—XV вв.). Пользуюсь возможнос-

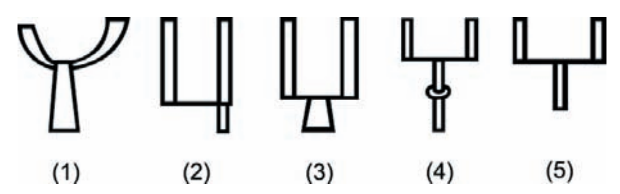
поэтому я начну с имеющегося в ней материала. В пределах основного почерка наблюдается 35 случаев неправильного написания **ц** и **ч**, отношение неправильных написаний аффрикат ко всем написаниям аффрикат составляет менее 2%. Рукопись, таким образом, написана весьма грамотно (как в отношении аффрикат, так и в отношении других параметров). Замечательной особенностью данной рукописи является наличие исправлений **ц** на **ч**. В большинстве случаев неправильная форма исправляется на правильную; таких случаев 10: **свѧщеничама** Adj. poss. Instr. du. 18, **пьрвомоученни/че** Voc. sg. masc. 24 об., **свѧщеномоученниче** Voc. sg. masc. 31, 39 об., **оученниче** Voc. sg. masc. 37, **моученниче** Voc. sg. masc. 41 об., **вѣньчаѥть** Praes. 3 sg. 102, **вѣньча** Aor. 3 sg. 104 об., **ѡтьчихъ** Adj. poss. Loc. pl. 161 (выделена исправленная буква, косой чертой обозначен конец строки). В трех случаях правильная форма исправляется на ошибочную: **нищелюбьча** Gen. sg. 41 об., **мъ/ножичею** Instr. sg. 41 об., **страстотьрпьчемъ** Dat. pl. 42[24]. Все случаи исправлений включены в общий подсчет неправильных написаний.

тью выразить благодарность О. А. Князевской, оказавшей мне неоценимую помощь в работе с данной рукописью. Я также глубоко признателен заведующему рукописным отделом Исторического музея И. В. Левочкину за постоянное содействие при работе с собраниями Музея.

[24] При этих исправлениях появляется буква **ч** особой формы. Ее можно описать как перевернутое **п** с хвостом под строкой, отходящим от середины нижней горизонтали. Происхождение ее не оставляет сомнений: ясно видно, что писец соскоблил хвостик справа, являющийся продолжением под строкой правой мачты **ц**, и написал этот хвостик посредине. Такое же начертание **ч** один раз появляется в Выголексинском сборнике (**ѡ҄чь** Gen. pl. 92 об.$_5$), причем В. С. Голышенко высказывает «сомнения: что это, **ч** или **ц**, особый начерк буквы или исправление?» (Голышенко 1977, 28). Эта же буква, идентифицируемая исследователем как **ч**, встречается и в новгородской февральской минее рубежа XI—XII в. (РГАДА, ф. 381, № 103) (Тот 1981, 144). Она обнаруживается и в берестяных грамотах второй половины XII в. (Зализняк 2004, 364). Понятно, что в условиях цоканья вопрос об идентификации этого начертания вызывает характерные затруднения. Если в Стихираре Син. 279 данное написание однозначно идентифицируется с **ч**, то для других памятников такая идентификация кажется неподходящей. Так, в Минее 1095 г. я могу указать несколько начертаний с хвостиком под строкой, отходящим от се-

Из 35 случаев смешения в 17 случаях **ч** стоит на месте **ц** (звездочкой отмечены формы, в которых **ц** исправлено на **ч**): **соупроужь/ничею** Instr. sg. 21, ***нищелюбьча** Gen. sg. 41 об., ***мъ/ножичею** Instr. sg. 41 об., ***страстотьрпьчемъ** Dat. pl. 42, **ѡвьча** Acc. pl. 58, **възбрѧчаѩ** Particip. act. Nom. sg. masc. 61 об., **чьрвьчь** Acc. sg. 66 об., **ѡтьчемъ** Dat. pl. 76 об., **моученичє** Voc.

редины нижней горизонтали — **вл҃дцѣ** Dat. sg. 23_{1}, **вл҃дциче** Voc. sg. fem. 25 об.$_{13}$, **црⷭ҇тва** Nom. pl. 28 об.$_{7}$, **цркви** Loc. sg. 30, **цвьтоущоу** Acc. sg. fem. 60_{15}, **бц҃е** Voc. sg. fem. 61_{11}, **слнце** Nom. sg. 66_{5}, **срдц҃мь** Instr. sg. 80_{16} и т. д. Эти начертания должны, видимо, трактоваться как разновидность **ц**, поскольку **ч** последовательно пишется с круглой чашечкой (разной формы и глубины, см. Каринский 1925, 7 — **ч** с угловатой чашечкой, известное по Ефремовской Кормчей и Погодинскому евангелию, в Минее отсутствует) и ножкой в строке. Можно вообще думать, что хвостик под строкой, противопоставленный ножке в строке, и служит основным признаком, дифференцирующим в Минее **ц** и **ч**. Этот признак не играет роли в инициалах, и поэтому идентификация ряда инициалов оказывается сомнительной. Если обычно начертание инициалов **ц** и **ч** совпадает с начертаниями соответствующих строчных букв (рис. 1, 2), то в нескольких случаях появляется инициал с квадратной чашкой и хвостом посредине нижней вертикали, а именно: **чьрьтогъ** 44_{11} (рис. 3), **четвероконьчьныи** 87 об.$_{7}$ (рис. 4), **чьстьнок** 97_{4} (рис. 5), **чьтоущеи** 118 об.$_{4}$, **чсто҃ты** 122 об.$_{14}$, **чсто҃ую** 126 об.$_{9}$, **чрѣво** 138_{12}, **чсто҃у** 140_{13}.



И. В. Ягич все инициалы читает как **ч**, хотя для этого и нет достаточных оснований. Если принимать это чтение, то появление **ч** с прямоугольной чашкой можно связать с начертанием соответствующей глаголической буквы и считать, что в инициалах консервируется то **ч**, которое Н. М. Каринский считает древнейшим по написанию (там же) и которое окказионально появляется в Ефремовской Кормчей и Погодинском евангелии. Как бы то ни было, сам факт появления начертаний, относительно которых возникает проблема идентификации (как **ц** или как **ч**), исключительно показателен для рукописной традиции, в которой различение аффрикат (букв) является нормой, не поддержанной, однако, фонетическим противопоставлением в живом языке.

sg. fem. 83, **багрѧничею** Instr. sg. 109 об., **творьча** Acc. sg. 124, **творьча** Gen. sg. 124[25], **страстотьрпьча** Gen. sg. 128 об., **страда/льчемъ** Dat. pl. 133, **вѣньченосьче** Voc. sg. 133, **лича** Gen. sg. 135 об., **ѡтроковиче** Voc. sg. fem. 151.

В 18 случаях имеет место замена **ч** на **ц** (в 10 случаях в ходе правки восстановлена правильная форма, т. е. **ч** исправлено на **ц**; отмечаю эти случаи звездочкой и восстанавливаю форму, предшествующую исправлению): **свѧщеницама** Adj. poss. Instr. du. 18, **моу/ченице** Voc. sg. masc. 21 об., **вѣньцьница** 24, ***пьрвомоучени/це** Voc. sg. masc. 24 об., ***свѧщеномоученице** Voc. sg. masc. 31, 39 об., ***оученице** Voc. sg. masc. 37, ***моученице** Voc. sg. masc. 41, **вѣньцавъшаго** Gen. sg. 53 об., ***вѣньцаѥть** Praes. 3 sg. 102, ***вѣньца** Aor. 3 sg. 104 об., **вѣньцаѥмъ** Praes. 1 pl. 122 об., **ѡтьць** Adj. poss. Nom. sg. masc. 135, **ѡтьцьмь** Adj. poss. Instr. sg. masc. 140, **моученице** Voc. sg. masc. 152, **съконьцавааше** Imperf. 3 sg. 157, ***ѡтьцихъ** Adj. poss. Loc. pl. 161, **чловѣколюбьце** Voc. sg. masc. 161 об.

Бросается в глаза, что во всех случаях замены **ц** на **ч** ошибки возникают на месте III палатализации. Во всех же 18 случаях замены **ч** на **ц** аффриката находится, так сказать, в условиях третьей палатализации, т. е. стоит после **ь** или **и**. Аффриката, являющаяся рефлексом II палатализации, ошибочной замене не подверглась ни разу (ни в корнях, ни в окончаниях)[26]. Ни разу не подверглась ошибочной замене и аффриката, являющаяся рефлексом I палатализации и находящаяся вне «условий III палатализации». Таким образом, писец без труда справляется с

---

[25] Форма употреблена в контексте: **ѡле дивьна творьча сила неиздреченьна**. Возможно, **творьча** должно трактоваться не как форма Gen. sg. от **творьць** (родительный падеж в посессивном значении встречается в рукописи), а как Nom. sg. fem. от притяжательного прилагательного **творьчь**. При последней интерпретации написание оказывается правильным.

[26] Ср. многочисленные правильные написания: **чловѣци** Nom. pl. 15, 91, **въ поустыни синаисцѣ/и** 16 об., **ѡцѣстилъ ѥси** 36 об., **исцѣливъ** 36 об., **въ мрацѣ** 36 об., **цвѣты** Acc. pl. 49 об., **ѡблаци** Nom. pl. 61 об., **владыцѣ** Dat. sg. 70, **цѣлы** 81 об., **ѡтроци** Nom. pl. 88 об., **въстоцѣ** Loc. sg. 92, **роуцѣ** Acc. du. 102, **на горѣ фаворѣсцѣи** 133 об., **въ ѡблацѣ** 137 об. и т. д.

правильным написанием в случае рефлексов II палатализации и в случае рефлексов I палатализации вне «условий III палатализации», в то время как III палатализация (и ее условия) оказываются для него камнем преткновения: он пишет **ч** на месте рефлексов этой палатализации и **ц** на месте рефлексов I палатализации в том случае, когда III палатализация не прошла в данной форме в силу того, что была предварена (морфонологически и хронологически) I палатализацией. Соответственно, реконструируя правила, которыми руководствовался писец, нужно составить их таким образом, чтобы они наиболее простым способом обеспечивали правильное написание в случае II палатализации и в случае I палатализации вне «условий III палатализации» и отличались бы большей сложностью в случае III палатализации и в случае I палатализации в «условиях III палатализации».

Такие правила легко построить, если полагать, что в новгородском диалекте рефлексы II палатализации фонетически отличались от рефлексов I и III палатализации. В таком случае мы будем иметь дело с правилом, соотносящим различия в написании с различиями в разговорном произношении; как уже говорилось (раздел 3), такие правила легко могут давать безошибочное письмо. Полагая, что в новгородском диалекте рефлексом II палатализации было [k’], а не [c’] (см. Зализняк 1982; Зализняк 1984; там же и литература вопроса), реконструируем правило:

(A) Если в разговорном языке слышится [k’], то в книжном письме пишется **ц**[27].

[27] Это правило не прилагалось к заимствованиям из греческого, ср. такие слова, как **китъ**, или собственные имена типа **иоакимъ**, **кифа** и т. д. Для этих слов, видимо, должно было существовать особое правило, дополняющее правило (A): «Если в заимствованном слове слышится [k’], то пишется **к**». Можно думать, что работа с подобным правилом не составляла для писца большого труда. В самом деле, если слово осознавалось как заимствование, к нему прилагалось данное правило. Если же слово не осознавалось как заимствование, то его фонетический облик приходил в соответствие с фонетической структурой незаимствованной лексики, т. е. на месте палатального смычного появлялся велярный смычный, ср. написание **ıакымъ**, **ıакыму** в Рядной Тешаты и Якима (Псков, 1266—1291 гг. — Валк 1949, 317) или нередкое в рукописях написание

Столь же простым правилом регулировалось написание аффрикаты на месте рефлексов первой палатализации, если эти рефлексы не попадали в «условия третьей палатализации»:

(B) Если в разговорном языке слышится аффриката, а предыдущая буква не **ь** или **и**, в книжном письме пишется **ч**[28].

Написание аффрикат после **ь** и **и** могло регулироваться только существенно более сложными правилами, опирающимися уже не на фонетическую, а на грамматическую информацию. Такие правила несомненно применялись; только исходя из этого можно объяснить, почему в подавляющем большинстве случаев находим в данных условиях правильные написания. Такого рода правилом должен был руководствоваться и писец, правивший в Стихираре **ц** на **ч**. Это правило могло быть сформулировано следующим образом:

(C) Если в разговорном языке слышится аффриката, а предшествующей буквой является **ь** или **и**, то в книжном письме **ч** пишется (а) в формах Voc. sg. существительных муж. рода, (б) перед суффиксами, начинающимися с **ь** или **и**, (в) в глагольных формах и отглагольных образованиях, (г) в притяжательных прилагательных; **ц** пишется в падежных формах существительных, кроме Voc. sg. существительных муж. рода.

Ясно, что это правило существенно сложнее в применении, чем правила (A) и (B). При его применении особенно вероятны ошибки в звательных формах (11 ошибок из 35), поскольку писцу приходится здесь отличать существительные в вокативе от существительных в других падежах и вокатив существитель-

---

кытъ (ср. Срезневский, I, стб. 1211; СРЯ, VII, 141). В таком случае особое внимание требовалось не для написания **к** вместо **ц**, а для написания **и** вместо **ы**.

[28] Здесь можно пренебречь, как это делал, возможно, и древнерусский писец, рефлексами **k* после **ę* из **in*. Нет данных для того, чтобы судить, учитывал ли он подобный случай. Единичное неправильное написание **възбрѧчаꙗ** 61 об. (**брѧцати** < *brękati, ср. Трубачев, III, 22) никаких указаний не дает.

ных муж. рода от вокатива существительных жен. рода. При всех сложностях, однако, и правило (С) обеспечивало достаточно высокий процент правильных написаний[29].

Стихирарь Син. 279 дает редкий пример совершенно четкого противопоставления безошибочного применения правил (А) и (В) и отмеченного ошибками применения правила (С)[30]. Хотя данные других рукописей могут давать и не столь четкую картину, это не означает, что реконструированные на основе нашего Стихираря правила имеют лишь ограниченное значение для новгородской письменности. Поскольку правила типа изложенных выше являются единственным правдоподобным объяснением приведенного материала, данная рукопись однозначно указывает на определенную практику книжного письма; несомненно, что в рамках этой практики была создана не однаединственная рукопись, но что она характеризовала деятельность ряда писцовых школ, а возможно и все новгородское кни-

---

[29] Возможно, у основного писца Стихираря было и еще одно правило, регламентировавшее написание аффрикат, а именно: перед буквой **ѣ** пишется **ц** и не пишется **ч**. Исторической основой для такого правила является переход **čě > ča*; следует думать при этом, что в восточнославянских говорах /ě/ и /e/ после шипящих и **ц** не противопоставлялись, так что речь идет об орфографической условности. Можно думать, что именно таким правилом объясняется исправление в форме императива на л. 68: писец первоначально написал **сѣчєтє** (форма презенса вместо императива представляет обычную ошибку в русских церковнославянских текстах северного происхождения), затем исправил **є** на **ѣ** (т. е. презенс на императив) и затем — автоматически — **ч** на **ц**. Возможно, тем же правилом объясняется правильное **ц** и в других формах императива, ср. **притьцѣмъ** 13.

[30] Ошибки других писцов Стихираря Син. 279 также укладываются в предложенную схему. Нарушается преимущественно правило (С), тогда как правила (А) и (В) приводят к почти безошибочному написанию. Так, во II почерке имеется 8 случаев ошибочной замены **ч** на **ц**: **владъıць/ствиѥ** 3, **ѡтьцє** Voc. sg. 4 (bis), 4 об., 5, 5 об. (bis), **вѣньцасѧ** 8 (все случаи, кроме первого, являются заменами в классе I′). В пятом почерке единственная ошибка **вѣньцаимъ**. Imper. 1 pl. 148 об. В шестом почерке имеется 3 замены **ч** на **ц** в классе I′ (**до/съконьцаниꙗ** 166, **отьцьскоѥ** Adj. poss. Acc. sg. neut. 166, **чловѣколюбьцє** Voc. sg. masc. 168) и две замены **ц** на **ч** в классе III (**отьчоу** Dat. sg. 165 об., **овьчамъ** Dat. pl. 168). Об обозначении классов см. ниже.

гописание[31]. Менее четкое отражение этой практики в других рукописях можно объяснить спецификой механизма ошибок в условиях сосуществования книжного и некнижного письма.

[31] Очень интересны, хотя из-за малого объема текстов и недостаточно показательны данные разных списков договора Смоленска с Ригою и Готским берегом. Как я уже говорил (см. примеч. 21), в списках B, D и E смешение аффрикат вообще не представлено (кроме специального случая рефлексов **čьs* и **tьs*). Список A и договор 1223—1225 гг. неизвестного князя показывают распределение весьма похожее на то, которое наблюдается в Стихираре Син. 279. Приведу статистические данные (классом IV обозначаю формы, содержащие рефлексы **tьs*). В договоре неизвестного князя находим следующее распределение:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	16	36	5	9	66
Неправильные	0	16	0	5	21
% неправильных	0%	30,77%	0%	35,71%	24,14%

Подобное же распределение в списке A:

	I	I′	II	III	IV	Всего
Правильные	40	9	3	8	(с) 26	86
Неправильные	0	2	0	4	0	6
% неправильных	0%	18,18%	0%	33,33%	0%	6,52%

Данные по II палатализации могут носить случайный характер (соответствующие формы встречаются всего 8 раз), и следовательно, нельзя решить, применялось ли правило A; нужно иметь в виду, что на смоленской территории II палатализация имела место — если предполагать, что писцы рассматриваемых текстов пользовались правилом A, то пришлось бы думать, что они были не смолянами, а новгородцами или псковичами (восемь написаний без ошибок явно не дают основания для этой смелой мысли). Однако отсутствие ошибок в классе I при наличии довольно большого числа ошибок в классах I′ и III достаточно показательно; следует думать, что писцы пользовались правилом B, в то время как более сложное правило C либо вообще не применялось, либо применялось без успеха. Данные двух рассмотренных текстов, в ряде отношений имеющих некнижный характер (ср. в них употребление ъ и о, ь, є и ѣ, ср. Зализняк 1984), позволяют предположить, что правило B относилось к довольно элементарным орфографическим навыкам цокающих писцов.

О том, как выражалось на практике невладение подобными навыками, говорят данные списка C:

Писец может сделать ошибку не только потому, что он не сумел верно применить правило, но и потому, что он по небрежности вообще правила не применил, т. е. отступил от норм книжного письма в пользу привычек письма некнижного и какое-то слово написал так, как написал бы его в тексте некнижном. Такого рода отступления могут иметь место и в случае самых простых правил (см. выше о смешении **о** и **ъ**, **є** и **ь** в памятниках книжного письма). Поэтому показательны не только абсолютные цифры, но и пропорции.

Так, можно утверждать, что писец Минеи 1096 г. руководствовался теми же правилами, что и основной писец Стихираря Син. 279, хотя ошибочные написания не дают здесь столь четкой картины. Неправильное написание аффрикат имеет здесь место в 35 случаях, что составляет менее 2% всех написаний аффрикат. Ошибки при этом распределяются так (здесь и далее пользуюсь следующими обозначениями для классов употреблений аффрикат: I — рефлексы этимологического **č* вне условий III палатализации; I′ — рефлексы этимологического **č* в условиях III палатализации; II — рефлексы II палатализации; III — рефлексы III палатализации):

I 1 (правило B)
II 4 (правило A)
I′ 10 (правило C)
III 20 (правило C) (см. Комарович 1925, 36—37).

	I	I′	II	III	IV	Всего
Правильные	31	4	1	11	(c) 15	62
Неправильные	15	7	1	0	(č) 11	34
% неправильных	32,6%	63,63%	50%	0%	42,31%	35,42%

Если не учитывать особо частых слов, которые могут выступать как графические клише (**чл҃овкъ**, **чл҃овка** и т. д. 10 раз; **что**, **ничего** 7 раз), то статистика станет еще более показательной: в классе I отношение правильных написаний к неправильным окажется 14 к 15 (51,72% неправильных), а общий итог — 45 к 34 (43,04% неправильных). За исключением III класса, отношение правильных и неправильных написаний во всех категориях близко к 50%, что и указывает на безразличное смешение аффрикат. Что касается III класса, то здесь писец, видимо, исходил из фиксированного написания суффиксов *-ец* и *-ица*.

Таким образом, ошибки против правил (A) и (B) составляют 14,29% всех ошибок, ошибки против правила (C) — 85,71% всех ошибок. Можно считать, следовательно, что предложенная система правил была актуальна и для писца Минеи 1096 г. и что он, как и писец Стихираря, чаще ошибался, применяя правило с морфологической информацией, чем когда он применял правило с информацией фонетической.

Иначе обстоит дело в рукописях, написанных недостаточно грамотными писцами, т. е. писцами, не вполне владеющими орфографическими правилами. В качестве такой рукописи можно рассмотреть Минею 1095 г. Смешение аффрикат в этой рукописи отражается неравномерно: если на первых листах процент неправильных написаний колеблется между 17 и 12, то в последней части рукописи (скажем, с л. 70) процент неправильных написаний лежит между 3 и 2. Можно думать (вопреки мнению Ягича — Ягич 1886, VII—VIII), что рукопись написана несколькими писцами, хотя в силу неустойчивости начертаний, характерной для писцов этой рукописи, границы между отдельными почерками провести очень трудно. Одна из смен почерка происходит, как кажется, между л. 43 и 43 об. Приведу поэтому данные о написании аффрикат для л. 9—43 [32].

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	468	135	47	67	717
Неправильные	3	1	26	101	131
% неправильных	0,64%	0,74%	35,68%	60,12%	15,43%

На первый взгляд кажется, что такое распределение не может иметь никакого отношения к применению правил (A), (B), (C). Еще меньше, однако, оно похоже на результат безразличного

[32] О неустойчивости почерка в ранних новгородских рукописях и о возникающих отсюда проблемах идентификации почерков см. Каринский (1925, 6, 8—9). На л. 9—43 возможны мелкие вставки другими почерками. Так, на л. 42 об. строки 15—19 написаны наклонным уставом, который больше нигде в рукописи не встречается и вообще представляет собой довольно редкое явление в русской церковнославянской письменности древнейшего периода (ср. Каринский 1925, 12).

смешения аффрикат, вызванного тем, что писец никаких правил не применяет. Особенно значима диспропорция в числе ошибок на месте рефлексов II и III палатализации — эта диспропорция показывает, что написание правильной аффрикаты в классах II и III отнюдь не было для писца одинаково сложной задачей, т. е. что для него в том или ином виде было актуальным правило типа (А).

Исходя из этого можно высказать следующее предположение. В церковнославянских текстах рефлексы I палатализации встречаются приблизительно в два раза чаще, чем рефлексы II и III палатализации вместе взятые. Так, например, в Минее 1095 г. на общее число употреблений аффрикат 4258 на **č* приходится 66,69% употреблений, на рефлексы II палатализации — 10,65% употреблений, на рефлексы III палатализации — 22,66% употреблений. На сходные соотношения указывают и данные Стихираря 1157 г. (ГИМ, Син. 589). На первых 100 листах этой рукописи общее число употреблений аффрикат составляет 1148, из них на **č* приходится 60,1% употреблений, на рефлексы II палатализации — 13,15%, на рефлексы III палатализации — 26,75%. Подобные цифры отражают, видимо, нормальное распределение. При такой ситуации писец, который во всех случаях пишет **ч**, получает около ⅔ правильных написаний. Это обстоятельство (а вовсе не гипотетическое «мягкое чоканье») вполне объясняет такую практику, при которой писец пишет **ч** во всех случаях, когда он не уверен, какую аффрикату надо написать, или когда он вообще не применяет правил, уступая привычкам некнижного письма.

При учете этого обстоятельства данные таблицы оказываются вполне согласованными с предположением о том, что писец первых листов Минеи 1095 г. пользовался той же системой правил, что и писцы Минеи 1096 г. или Стихираря Син. 279. Действительно, он более или менее успешно пользовался правилом (А) (около ⅔ правильных написаний), мог окказионально употреблять правило (В) (оно оказывается избыточным, если **ч** становится стандартным обозначением аффрикаты) и малоуспешно применял более сложное правило (С) (всего лишь около трети правильных написаний). Таким образом, следует думать, что писцу была знакома система правил, регулирующих написание

аффрикат (типа системы А—С), но владел он ею плохо, делая постоянные отклонения «в сторону безопасного **ч**».

В рассмотренном почерке имеется всего лишь 4 ошибки на месте рефлексов I палатализации (при 603 правильных употреблениях; процент ошибок — 0,66%): **цр҃во** Acc. sg. 9 об., **вьсѧцьскаꙗ** 23 об., **влⷣцичє** Voc. sg. fem. 25 об., **мⷱцє** Voc. sg. masc. 35. Таким образом, на «условия III палатализации» (класс I′) приходится лишь одна ошибка из четырех. Заслуживает внимания, что когда за письмо берется более грамотный писец, это положение резко меняется. Так, например, на л. 69—128 процент неправильных написаний аффрикат составляет всего 2,98%, т. е. текст написан довольно грамотно. При этом на месте рефлексов I палатализации процент неправильных написаний составляет 1,88%, т. е. сравнительно с л. 9—43 процент неправильных написаний в данной категории существенно повышается (почти в три раза). Радикально изменяется и характер ошибок: из 18 имеющихся здесь ошибок[33] 17 приходятся на «условия III палатализации» (класс I′). Очевидно, что более грамотный писец существенно активнее пользуется правилом (С), и именно это обусловливает описанные изменения[34].

---

[33] Вот эти ошибки: **боносьцє** 75 об., **наставьницє** 88, **четвероконьцьнии** 89, **сл҃нцьнъıꙗ** 89, **вѣньцавъшаго** 92 об., **възвелицавъ сѧ** 92 об., **сл҃нцьноую** 97, **срⷣцноую** 102 об., **мⷱ҇нцьскъı** 106 об., **срⷣцнъıхъ** 110, **съконьцавъ** 112, **мⷱ҇нцє** 115, **съконьцавъ** 115, **коньцьнии** 118, **неконьцаѥмъıи** 120 об., **вѣньца сѧ** 121 об., **вѣньцаꙗ сѧ** 122, **влⷣцьни** 123. Два написания **оцищєниѥ** 80 об., 128 об. в подсчет не включены, поскольку ошибку в них естественно рассматривать как результат контаминации с **оцѣщєниѥ** (эта форма также встречается в Минее).

[34] Укажу еще на Стихирарь 1157 г. (ГИМ, Син. 589) как на рукопись, ошибочные написания которой никак не могут быть связаны с применением системы правил (А—С). Распределение аффрикат в этой рукописи (данные по первым 100 листам) имеет следующий вид:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	522	64	107	237	930
Неправильные	45	59	44	70	218
% неправильных	7,94%	47,97%	29,14%	22,8%	18,88%

Еще более показательная картина возникает, если из подсчетов убрать наиболее частые слова, а именно слова с основами: **ве҄чр** (**вечер-** — в заголовках), **моуч-**, **м҄сца** (**мѣсѧца** Gen. Sg. — в заголовках), **нач-**, **точ-/теч-**, **оуч-**, **цьрк-**, **цьсар-**, **цѣл-**, **чист-**, **члов-**, **чьст-/чьт-**, **чюд-**. Слова с этими основами встречаются на рассмотренном участке текста 537 раз (т. е. составляют 46,78% всех релевантных употреблений), причем процент ошибок в них существенно ниже общего — 5,48%. Остальные употребления распределяются так:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	160	64	28	161	413
Неправильные	26	59	33	70	188
% неправильных	13,98%	47,97%	54,1%	30,3%	31,28%

Интерпретация этих данных требует дальнейших исследований. Представляются возможными по крайней мере два объяснения.

Можно предположить, что писец знаком с системой правил (A—C), но не умеет ею пользоваться. Он как-то справляется с правилом B, что обеспечивает относительно низкий процент ошибок в классе I, но правила A не применяет. В самом деле, применение правила A требует идентификации словоформ книжного и разговорного языка — для того чтобы правильно написать **владъıцѣ** Dat. Sg., надо отождествить эту форму с разговорным [vladɨk’e], что, вероятно, может оказаться непростой задачей. Если писец с ней справиться не может, он, понятно, правила A не применяет. В то же время правило B такой идентификации не требует и может применяться почти механически.

Возможна, однако, и другая гипотеза. Ареал цоканья не совпадает с ареалом отсутствия II палатализации. Цоканье имело место в Смоленском, Полоцком, Витебском и Тверском княжествах, а также на территории Новгорода и Пскова. II палатализация не проходила лишь в этом последнем ареале. Если допустить, что писец Стихираря был уроженцем Смоленска, Витебска, Полоцка или Твери, становится совершенно понятным, что он не мог пользоваться правилом A, а правило B работало у него довольно несовершенным образом, не позволяя отличить рефлексы I палатализации от рефлексов II палатализации. Это могло давать ту картину, которая вырисовывается из приведенных выше статистических данных. Замечу между прочим, что в Стихираре отсутствуют написания с **жг** на месте **zgj*, **zdj*, **zg’*, характерные для рукописей новгородско-псковского ареала (хотя, конечно, отнюдь не обязательные в них, поскольку в норму книжного письма такие обозначения не входили).

Очевидно, что выбор между этими гипотезами может быть сделан только после детального обследования рукописных источников северо-

Подведу некоторые итоги. Выяснилось, что новгородские писцы пользовались определенной системой правил, регулирующих написание аффрикат. Одни правила основываются при этом на информации фонетической, другие — на грамматической. Правила первого рода обеспечивают существенно более безошибочное письмо, чем правила второго рода. Данные выводы относятся к книжному письму и создают определенную картину практики книжного писца, которая должна учитываться при интерпретации памятников этого типа. Данная картина отличается в ряде моментов от той, которая была нарисована Н. Н. Дурново. Во-первых, более значимой оказывается роль правил, причем именно применение или неприменение правил становится главной чертой, противопоставляющей книжное и некнижное письмо. Во-вторых, исключительно важным для книжного письма оказывается разговорное произношение; оно важно не потому, что обусловливает спорадические отклонения от норм книжного языка, а потому, что служит материалом, на который опираются правила книжной орфографии.

Данный подход к разговорному произношению дает возможность извлечь из памятников книжного письма новую информацию для исторической фонетики некнижного языка. В частности, приведенные данные показывают, что в новгородском диалекте XI—XII вв. рефлексы II палатализации отличались по своей фонетической реализации от рефлексов I и III палатализации. Это может служить дополнительным свидетельством в пользу того, что новгородский диалект не знал II палатализации (но знал, хотя и непоследовательно, третью). Вместе с тем, опровергается мнение Я. И. Бьорнфлатена (Бьорнфлатен 1983), согласно которому примеры, говорящие об отсутствии результатов II палатализации, появляются относительно поздно и связаны с морфологическим выравниванием. Поскольку, как было показано, правило (А) было актуальным и для писцов Минеи 1095 г., и для писца Минеи 1096 г., очевидно, что несовпадение рефлексов II палатализации с рефлексами I и III палатализации

западного происхождения, которые часто определяются как новгородские без какого-либо реального основания.

имело место уже в XI в. и с позднейшими процессами никак не связано[35].

Дополнения

После того как настоящая работа была сдана в печать, мне удалось познакомиться еще с тремя рукописями XII в. Как мне кажется, они полностью подтверждают выводы статьи, касающиеся правил, которыми руководствовались новгородские писцы при написании аффрикат. Вместе с тем данные этих рукописей позволяют выявить ряд любопытных деталей, характеризующих орфографическую практику писцов. Три обследованных рукописи — это минеи за октябрь, ноябрь и декабрь первой половины XII в. из Синодального собрания (ГИМ, Син. 160, 161, 162). Анализ их состава и образцы текста даны в описании Горского и Невоструева (Горский и Невоструев III, 2, № 435—437, 16—42).

Октябрьская минея (Син. 160) написана двумя почерками. Первый почерк (л. 1 об. — 12 об.), относительно поздний (конца XII — начала XIII в.), здесь не рассматривается. Основной почерк (л. 13—240) обнаруживает следующие статистические характеристики написания аффрикат:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	2189	441	391	658	3679
Неправильные	0	34	4	19	57
% неправильных	0%	7,16%	1,01%	2,81%	1,53%

Ошибочные написания наблюдаются в следующих случаях.

Класс I. Единственное ошибочное написание в этом классе (в подсчетах не учитывающееся) возникает в результате исправ-

---

[35] Автор глубоко признателен А. А. Зализняку, О. А. Князевской, Б. А. Успенскому и Г. А. Хабургаеву, прочитавшим эту статью в рукописи и сделавшим целый ряд важных и стимулирующих замечаний. Ошибки и недочеты остаются, естественно, исключительно на совести самого автора.

ления. Списывая четвертый стих третьей песни канона св. Иерофею (4 октября) — «**небо пропьнъıи и землънъıи, чистаꙗ, кроугъ одьржа**...» (ср. Ягич 1886, 25), — писец, видимо, вместо **чистаꙗ** начал писать **щитъ**, но, не дописав, исправился; при этом он вставил **с** над строкой перед **т**, а у **щ** соскоблил правую мачту и часть основания, так что получилось **ц** (л. 29). Этот случай показателен в том плане, что **ц** и **ч**, как видно, выступают для писца в качестве вариантных букв (и это может указывать на неразличение /c/ и /č/ в книжном произношении, ср. еще в Ноябрьской минее Син. 162, л. 107 исправление **страстотьрпїче** Voc. sg. fem. из **страстотьрпьче**, где правка **ь** на **ї** явно связана с изменением рода, — заменяя **ь** на **ї**, писец, однако, забывает заменить **ч** на **ц**; такая забывчивость вряд ли могла бы иметь место, если бы различие между **ц** и **ч** не носило чисто орфографического характера). Понятно, что такое исправленное написание имеет принципиально иной характер, чем другие ошибки, совершаемые при обычном пользовании орфографическими правилами.

Класс I′. Ошибки здесь — довольно многочисленные — распределяю по категориям в соответствии с рубриками правила C.

(а) В формах Voc. sg. masc.: **молитвьнице** 145 об., **вѣньценось/це** 213 об.

(б) В положении перед суффиксом: **разнолицьнъıихъ** Gen. pl. fem. 105, **сьрдьцьнѣи** Dat. sg. fem. 126 об., **ср҃цьнаꙗ** Acc. pl. neut. 136, **сьрдь/цьнѣмь** Loc. sg. masc. 169.

(в) В притяжательных прилагательных: **отьци** Loc. sg. masc. 60 об., **отьци** Loc. sg. neut. 79 об., **дѣвицю** Acc. sg. fem. 92, **страстотьрпьцнихъ** Loc. pl. fem. 128 об., **отьца** Gen. sg. neut. 161, 162.

(г) В глаголах и отглагольных образованиях: **вѣньца** Aor. 2 sg. 22, 216 об., **боговѣньцанъı/ꙗ** Gen. sg. fem. 35 об., **вѣньцанаꙗ** Acc. du. 56, **вѣ/ньцани** Nom. pl. masc. 107, 117, **вѣньцанъ** Nom. sg. masc. 109 об., 129 об., **вѣньцающаꙗ** Acc. pl. masc. 109 об., **вѣньца** Aor. 3 sg. 145, 232, **вѣньцавъшюоу/моу** Dat. sg. masc. 145 об., **вѣньца сѧ** Aor. 2 sg. 147, 212 об., **вѣньцалъ ѥсть** Perf. 3 sg. 203, **вѣньцаꙗ сѧ** Nom. sg. masc. 209 об., **вѣньцаѥмъ**

Part. pass. Nom. sg. masc. 212 об.; **съконьцаста** Aor. 2 du. 53 об., **съконьцание** Acc. sg. 107, **съконьца** Aor. 2 sg. 149 об., **коньца** Aor. 2 sg. 179 об.

(д) В прочих случаях: **овьца** Nom. sg. (neut.) 109 об.

Класс II. **очьта** Gen. sg. 35 об., **очьтъмь** Instr. sg. 217 об., **величии** Voc. pl. masc. 96, 112 об.

Класс III. Особо выделяю здесь те случаи, в которых писец по имевшимся у него правилам не мог восстановить правильную форму, а именно, образования от глаголов на *-ati*, в которых имела место III палатализация.

(а) **проричага** Nom. sg. masc. 134 об., 143 об., **проричати** Inf. 150 об., **проричанига** Gen. pl. 171, **наричаю** Praes. 1 sg. 137, **бржчалъмь** Instr. sg. 208 об.

(б) **моученичє** Voc. sg. fem. 71, **ст҃рпчь** Gen. pl. 108, **стра/стотьрпьчь** Gen. pl. 214 об., **богоприимь/ничє** Voc. sg. fem. 116 об., **ст҃рпчь** Nom. sg. 125 об., **чюдотворьча** Acc. sg. 158 об., **чло/вѣколюбьчь** Nom. sg. 173 об., **проповѣдьчь** Nom. sg. 173 об., **страстотьрпьча** Voc. du. 187 об., **личьмь** Instr. sg. 189, **любьчь** Nom. sg. 197 об., **цвѣтьчь** Nom. sg. 210 об., **страсто/тьрпьчемъ** Dat. pl. 225.

Почерк принадлежит писцу новгородско-псковского происхождения (ср. примеч. 34), о чем свидетельствуют написания **жг** вместо **жд**: **одъжгивъши** 37, **дъжгж** 49 (при основном написании с **жд**: **пригваждажємъ** 42 об., **пригвожденоу** 43 об., **пригваждажєма** 98, **пригвождениє** 101, **одъждающь** 137 об., **одъждага** 228, **дъждь** 228). Отмечу еще исправление **о** на **ъ** в окончании Instr. sg. **высокъмь** 23, — насколько мне известно, самое раннее из когда-либо отмечавшихся (см. примеч. 18; есть и еще исправления **о** на **ъ** в других формах).

Ноябрьская минея Син. 161 написана двумя почерками, относящимися к одному времени. Первым почерком (Син. 161[1]) написаны л. 1—175 об., вторым (Син. 161[2]) — л. 176—260. Первый писец существенно грамотнее второго. Попытка отождествить второго писца с писцом октябрьской минеи (Горский и Невоструев, III, 2, 33) неосновательна. Данные для первого почерка таковы:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	1548	298	329	566	2741
Неправильные	1	20	2	24	47
% неправильных	0,06%	6,29%	0,6%	4,07%	1,69%

Ошибочные написания наблюдаются в следующих случаях:

Класс I: **пророце** Voc. sg. masc. 156.

Класс I′: **подъсъ/лньцьноую** Voc. du. masc. 3, **ѡтьцнхъ** Adj. poss. loc. pl. neut. 19 об., **ѡтьце** Voc. sg. masc. 44 об., 105 об., **свѧщеномоученице** Voc. sg. masc. 45, **съконьцавъши** Nom. sg. fem. 46, **творьци** Adj. poss. Dat. sg. fem. 65 об., **моученнце** Voc. sg. masc. 67 об., 68 об., 77 об., 81 об., **мчн҃це** Voc. sg. masc. 75 об., **лице** Voc. sg. masc. 77, **стра/стотьрпьце** Voc. sg. masc. 79, 86, **чловѣколюбьце** Voc. sg. masc. 84 об., 140 об., **ѡтьцю** Adj. poss. Acc. sg. fem. 116, **вѣньцавъша** Nom. du. masc. 124, **съконьцалъ ѥсн** Perf. 2 sg. 168.

Класс II: **чьркъви** Loc. sg. 122, **мрачѣ** Loc. sg. 166.

Класс III: **творьча** Gen. sg. 15 об., **пѣвьча** Nom. du. 21, **вѣньча** Gen. sg. 30 об., **застоупьниче** Voc. sg. fem. 34, **творьчю** Dat. sg. 59, **творьча** Gen. sg. 61 (в этой форме **ча** исправлено на **цѧ**, кажется, более поздним почерком), **вѣньчьмь** Instr. sg. 66 об., **животворьчь** Nom. sg. 66 об., **страдальчь** Gen. pl. 75 об., **конъчемъ** Dat. pl. **страстотьрпьчемъ** Dat. pl. 77, **отьчь** Nom. sg. 88 об., 114, **богоборьчемъ** Dat. pl. 94, **наричаѥмъ** Praes. 1 pl. 102 об., 159, **голоубиче** Voc. sg. fem. 109, **седмич** (сокращение) Instr. sg. 113 об., **срдчемъ** Dat. pl. 115 об., **страстотьрпьчь** Gen. pl. 125 об., **вѣньче/носьче** Voc. sg. masc. 137, **отьчемъ** Dat. pl. 146, **проричаѥть** Praes. 3 sg. 154, **зьрчалъмь** Instr. sg. 156.

О новгородско-псковском происхождении писца свидетельствуют написания: **ѡдъжгениѥмъ** 2, **пригвожге/нааго** 30, **зижгителеви** (NB на месте **dj*) 50, **дъжги** 56, **ражгьженоую** 57, 68, **ѡдъжгѧѥть** 61, **оугажгѧють** (NB на месте **dj*) 62 об., **ражгьже** 83, **пожьжге/ноую** 83, **дъжги** 105 об., 149 об., **ражгьженъ** 150 об., **ражгьгъ** 150 об., **ѡ/дъжги** 159 об.

Большой интерес представляют данные второго почерка ноябрьской минеи:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	677	113	167	312	1272
Неправильные	17	85	5	4	111
% неправильных	2,45%	42,93%	2,91%	1,27%	8,03%

Как я уже говорил, грамотность данного писца несомненно относится к другому классу, чем грамотность писцов таких рукописей, как Син. 160, Син. 161[1], Син. 162, Син. 279 и т. д. Тем не менее, этот писец явно пользуется системой правил (А—С), причем, как и ожидается, наибольшее число ошибок приходится на формы, требующие применения правила С. В этих формах писец склонен делать ошибки «в сторону Ц». Он почти всегда правильно пишет падежные формы имен (кроме Voc. Sg. Masc.), и поэтому ошибочные написания в классе III у него почти не представлены. Зато в классе I′ неправильные написания составляют почти половину, и их анализ представляет особый интерес. Приведу полные данные об ошибочных написаниях.

Класс I: **оцище/ниѥ** Voc. sg. 179 об. (данная форма непоказательна, поскольку могла появиться в результате контаминации **очищениѥ** и **оцѣщениѥ**, при подсчете не учитывается), **циста** Nom. sg. fem. 182 об., **далеце** Adv. 203, **чл҃вца** Adj. poss. Acc. pl. neut. 204, **отроца** Acc. sg. 204 об., **поу/циноу** Acc. sg. 211 об., **истоцилъ ѥси** Perf. 2 sg. 212, 215 об., **тоцилѣ** Loc. sg. 212 об., **навъıце** Aor. 3 sg. 214, **чловѣцьскааго** Gen. sg. neut. 214 об., **рацителѧ** Acc. sg. 218 об., **ць//ртогъı** Acc. pl. 218 об.—219, **цъ/ртогъ** Acc. sg. 220, **издалеца** Adv. 234, **чловѣцьско:·** Acc. sg. neut. 242 об., **мецe/мь** Instr. sg. 247 об., **непоро/цьна** Nom. sg. fem. 250 об.

Класс II: **процвьтеть** Praes. 3 sg. 179 об., **пророчи** Nom. pl. 182, **прорьчи** Imp. 2 sg. 182, **чѣльбамъ** Dat. pl. 200 об., **мрачѣ** Loc. sg. 254 об.

Класс III: **о/тьчемь** Instr. sg. 196, **сьрдь/ча** Acc. pl. 205, **вѣньча** Acc. pl. 234 об., **двои**ⷱ (сокращение) Dat. sg. 254 об.

Класс I′

(а) В формах Voc. sg. masc.: **старьце** 179, **отьце** 208, 229 об., 241 об., **б҃оносьце** 222, **страстотьрпьце** 228, 248, 249 об., **чловѣколюбьце** 217 об., **ст҃ратьрпьце** 221 об., **вѣньценосьце** 234 об.; **свѧщенице** 211, 212 об., 213 об., 239 об., **богоприıатьнице** 195 об., 208 об., **прѣподобьнице** 194, 197, **моученице** 209, 211 об., 214 об. (bis), 215, 222 об., 222 об. — 223, 224, 224 об., 225, 226, 228 (bis), 233 об. (bis), 234, 235, 235 об., 236, 236 об., 237, 242 об., 243, 244, 245 об., 247 об., 248, 248 об. (bis), 250 (bis), 251, 251 об. (всего 33 обшибочных написания данной формы), **богоглагольнице** 210 об., **поучиньнице** 205, **свѧщеномоученице** 214, **м҃чнце** 222, **вѣньчанице** 245, **оученице** 258 об.

(б) В положении перед суффиксом: **отьцьства** Gen. sg. 190, **трьсълньцьнаахо** Gen. sg. neut. 195, 211 об., **страстотьрпьцьскою** Instr. sg. fem. 206 об., **троиць/скъıимь** Instr. sg. masc. 211, **кретицьства** Gen. sg. 216 об., **страстотьрпьцьскоую** Acc. sg. fem. 217 об., **моученицьство** Acc. sg. 217 об., **дѣвицьскъıимь** Instr. sg. neut. 218 об., **дѣвицьскъıими** Instr. pl. neut. 221, **моученицьскъıими** Instr. pl. neut. 222 об., **подсъ/лньцьноую** Acc. sg. fem. 223, **бесконьцьнъı/ıа** Acc. pl. masc. 224, **сьрдьцьноѥ** Acc. sg. neut. 226, **трисълньцьнъııа** Gen. sg. fem. 230, **моученицьскъı/ихъ** Loc. pl. masc. 236, **моученицьстии** Nom. pl. masc. 238, **постьницьскъıими** Instr. pl. masc. 242 об., **мъногоконьць/ноую** Acc. sg. fem. 246 об., **страстотьрпьцьскъı** Adv. 249 об., **дѣвицьскоѥ** Nom. sg. neut. 253.

(г) В глаголах и отглагольных образованиях: **вѣньцаваıа** Nom. sg. masc. 205, **коньцалъ ѥси** Perf. 2 sg. 206 об., **вѣнь/ца сѧ** Aor. 2 sg. 226, **вѣньца** Aor. 2 sg. 245, **вѣньцанъ** Nom. sg. masc. 247, **съконьцавъ сѧ** Nom. sg. masc. 249 об.

О новгородско-псковском происхождении писца говорит форма **о/дъжгить** 176 об. Отмечу еще исправление **о** на **ъ** в окончании Instr. sg. **доухъмь** 184.

Декабрьская минея (Син. 162) написана одним почерком (л. 1—303), кроме нескольких вставок XIII в. Вставки были вызваны тем, что рукопись подмокла, так что на ряде листов новым почерком дописаны концы и начала строк, а два листа (249—249 об. и 254—254 об.) переписаны полностью. Данные

этих фрагментов в подсчетах, естественно, не учитывались. Основной почерк обнаруживает следующие характеристики:

	I	I′	II	III	Всего
Правильные	2731	437	624	1093	4885
Неправильные	1	19	5	32	57
% неправильных	0,04%	4,17%	0,79%	2,84%	1,15%

Ошибочные написания распределены следующим образом:

Класс I: **цьртозѣ** Loc. sg. 22. В этот же класс попадает одна исправленная ошибка. На л. 234 об. в форме **отроча** Nom. sg. **ч** исправлено из **ц**, причем результатом оказывается то самое начертание с хвостиком под строкой, отходящим от середины горизонтали, о котором я уже говорил в связи с исправлениями в Стихираре Син. 279 (см. примеч. 24). Нужно думать, однако, что исходная ошибка вызвана не лингвистическими причинами: вместо обозначения рефрена икоса и кондака на Рождество Христово (**отроча младо превѣчьнъıи богъ**) писец, видимо, начал писать привычное для него обозначение ирмосов седьмой песни (**отроци**…), но, не дописав **и**, остановился и исправил **ц** на **ч**.

Класс I′: **ко/ньцающи** Nom. sg. fem. 22, **вѣньцаѥть сѧ** Praes. 3 sg. 55, **съконьцѧ, съконьца** Aor. 2 sg. 76 об., 163, **свѧщеномоученице** Voc. sg. masc. 118, **дѣвице** Adj. poss. Acc. sg. neut. 125, 245 об., **сьрдьцьноѥ** Nom. sg. neut. 133 об., **сьрдьць/нъıима** Instr. du. neut. 137 об., **отъце** Voc. sg. masc. 138, **избавьнице** Voc. sg. masc. 154 об., **отьца** Adj. poss. Gen. sg. masc. 170 об. (возможна, однако, и интерпретация как формы Gen. sg.), **вѣньцана** Nom. sg. fem. 210, **отьць** Adj. poss. Acc. sg. masc. 235, **вѣньцанъ** Nom. sg. masc. 255 об., **вѣньцавъшюмоу** Dat. sg. masc. 259 об., **сьрдьцьнаого** Gen. sg. neut. 283 об., **дѣвицама** Adj. poss. Instr. du. fem. 290, **дѣвицю** Adj. poss. Dat. sg. neut. 302.

Класс II: **величии** Voc. pl. masc. 80 об., 210 об., **пророчи** Voc. pl. 151, **вънoучи** Voc. pl. 228, **моученичи** Voc. pl. masc. 262 об. Бросается в глаза, что все ошибки сделаны в формах Voc. pl. masc. Возможно, это обусловлено именно тем, что писец поль-

зовался системой правил (A—C) и в нескольких случаях указание правила C о написании **ч** в формах Voc. sg. masc. неправомерно экстраполировал на формы мн. числа.

Класс III (особо даю не проверяемые по правилам A—C образования от глаголов на *-ati*):

(а) **проричаѥть** Praes. 1 sg. 1 об., 126, **проричаꙗ** Nom. sg. masc. 3, **проричаѥмоѥ** Nom. sg. neut. 72 об., **проричаниꙗ** Acc. pl., Nom. pl., Gen. pl. 150 об., 217, 293 об., **проричающимь** Instr. sg. masc. 198, **нарнчаѥть** Praes. 1 pl. 5, 166, **наричꙗѥть сѧ** Praes. 3 sg. 170 об., **наричаѥть** Praes. 3 sg. 220, **отъричати сѧ** Inf. 204, **въскличащю** Dat. sg. masc. 154 об. (форма явно носит ошибочный характер, либо в ней пропущена буква и должно было быть **въскличающю**, либо она является результатом контаминации с **въскричащю**), **въскличаниѥмь** Instr. sg. 239, **възбрѧчаꙗ** Nom. sg. masc. 2, **брѧчаниѥмь** Instr. sg. 294 об.

(б) **вѣньченосьць** Nom. sg. 35 об., **отьчемъ** Dat. pl. 96 об., 102 об., 138, **ловьчемъ** Dat. pl. 107, **страстотьрпїче** Voc. sg. fem. 107 (в этой форме **ї** является исправлением **ь**, писец исправляет существительное м. рода на существительное ж. рода, см. выше), **моученичe** Voc. sg. fem. 110, 231, 284 об. — 285, **звѣздочьтьчемъ** Dat. pl. 157 об., 161 об., **страстотьрпьчь** Gen. pl. 211, 211 об., **творьчь** Nom. sg. 284 об., **зьрчало** Nom. sg. 291, **жьрчь** Nom. sg. 301 об.

О новгородско-псковском происхождении писца свидетельствуют формы **ражгени** Imp. 2 sg. 62, **пригважгаѥмъ** 104 об., **одъжгѧѥши** 108 об., **пригважгѧѥмы** 137, **дъжгь** 218 об., 233 (основными остаются написания с **жд**, ср., например, **дъждь** 1 об., 175, 192, 208, 245 об., 292).

Ряд моментов заслуживает особого комментария.

1. В рукописях Син. 160[2] и Син. 162 образования от глаголов на *-ati,* в которых имела место III палатализация, последовательно пишутся с **ч**, а не **ц** (**проричаѥть**, **проричаниꙗ**, **наричаю**, **брѧчаниѥмь** и т. д.). С **ч**, а не **ц** пишутся здесь все появляющиеся в рукописи формы этого типа без единого исключения (6 случаев в Син. 160[2], 16 случаев в Син. 162). Источник таких написаний очевиден: это аналогия с многочисленными образованиями от

глаголов на *-ěti*, в которых прошла I палатализация, а /ě/ перешло в /a/ (**величати**, **обличати**, **различати**, **кричати**, **вѣньчати**, **коньчати**, **мълчати**, **наоучати** и т. д.), и вместе с тем указание правила С о написании **ч** в глагольных формах. Понятно, что у писцов не было возможности различить глаголы на *-ati* и на *-ěti* и исходя из этого получить правильное написание. У них, однако, оставалась возможность руководствоваться написаниями оригинала, с которого они списывали. Судя по времени написания рассматриваемых миней (начало XII в.), следует думать, что южнославянский или киевский протограф (с правильным написанием аффрикат) стоял достаточно близко к непосредственному оригиналу рукописей, т. е. число промежуточных копий было невелико (если они вообще были). Полная последовательность написания **ч** в рассматриваемых формах показывает, следовательно, что для грамотного писца орфографические правила выступают как несравненно более авторитетное руководство при выборе написания, чем орфография оригинала. В анализируемом случае писцы полностью полагаются на правила и полностью пренебрегают указаниями оригинала (если же допустить, что **ч** в анализируемых формах последовательно писалось уже в оригинале, вывод не теряет силы, а только переносится на предшествующую пару рукописей — «оригинал» и «оригинал оригинала», и т. д.).

2. В тех формах, написание которых подпадает под действие правила С (и писец, следовательно, должен прибегать к достаточно сложным вычислениям), в качестве существенного фактора орфографической практики выступает навык стандартного написания отдельных основ. Понятно, что целый ряд особенно частых корней вообще превращается в графические клише, которые писец пишет по памяти, не прибегая к правилам. Имею в виду, однако, другие случаи — такие основы, в которых может стоять и **ц**, и **ч** и которые, соответственно, нельзя написать правильно, не применяя правил. На написании таких форм сказывается основной графический вид основы: в тех формах, где этот основной вид не совпадает с правильной формой, результатом может быть ошибочное написание. Этим, на мой взгляд, объясняется то обстоятельство, что в отглагольных образовани-

ях от основ **вѣньч-**, **коньч-** появляются ошибочные написания с **ц** (основной вид задается именной основой **вѣньц-**, **коньц-**), при том что аналогичные образования от основ **велич-**, **облич-**, **различ-** пишутся без ошибок. Так обстоит дело во всех четырех почерках, которые были здесь проанализированы. Отмечу при этом, что в Син. 160[2] наблюдаются следующие соотношения:

	Правильные написания	Неправильные написания	% неправильных
Глаголы и отглагольные образования от основ **вѣньч-**, **коньч-**	23	21	47,72%
Глаголы и отглагольные образования от основ **облич-**, **велич-**, **различ-**	47	0	0%

Аналогичные соотношения и в Син. 161[2]:

	Правильные написания	Неправильные написания	% неправильных
Глаголы и отглагольные образования от основ **вѣньч-**, **коньч-**	9	6	40%
Глаголы и отглагольные образования от основ **облич-**, **велич-**, **различ-**	13	0	0%

Можно предположить, что такое же давление основного графического вида основы было одним из факторов, обусловивших написания **величии** Voc. pl. masc. в Син. 160[2] и в Син. 162.

3. Как в Син. 160[2], так и в Син. 161[2] основные ошибки сосредоточены в классе I′ (59,65% всех ошибок в Син. 160[2]; 76,58% всех ошибок в Син. 161[2]). В то же время грамотность писцов существенно различна: писец Син. 160[2] несравненно грамотнее писца Син. 161[2]. Сопоставление ошибок этих двух писцов позволяет обнаружить, за счет каких факторов растет грамотность писца, т. е. какие грамматические категории осваиваются им в первую очередь и относительно легко, а какие — позднее и с большим трудом.

Ошибки писца Син. 160[2] в классе I′ по отдельным категориям распределяются так:

	Правильные	Неправильные	% неправильных	% ошибок в данном разряде в отн-ии к общему числу ошибок
Voc. sg. masc.	251	2	0,8%	5,88%
Перед суффиксом	107	4	3,6%	11,76%
В глаголах и отглагольных образованиях	70	21	23,08%	61,76%
В притяжат. прилагательных	10	6	37,5%	17,65%
Прочие	3	1	25%	3%

То же распределение для писца Син. 161[2] имеет следующий вид:

	Правильные	Неправильные	% неправильных	% ошибок в данном разряде в отн-ии к общему числу ошибок
Voc. sg. masc.	70	58	45,31%	68,24%
Перед суффиксом	18	21	53,84%	24,7%
В глаголах и отглагольных образованиях	22	6	21,43%	7,06%
В притяжат. прилагательных	2	0	0%	0%
Прочие	1	0	0%	0%

Как видно из этих данных и как было показано в предшествующем пункте, глагольные и отглагольные формы представляют для писца постоянную трудность — более грамотный писец Син. 160[2] справляется с ними приблизительно с тем же успехом, как и менее грамотный писец Син. 161[2]. На практи-

ке обоих писцов в одинаковой мере сказывается здесь давление основного графического вида основы.

На этом, однако, сходство между двумя писцами кончается. В двух других разрядах (о притяжательных прилагательных не приходится говорить ввиду недостаточности статистических данных) положение различается радикальным образом.

В положении перед суффиксом менее грамотный писец Син. 161[2] ошибается более чем в половине всех встречающихся форм, более грамотный писец Син. 160[2] ошибается здесь довольно редко. Это означает, что с ростом опытности и грамотности писец запоминал, видимо, набор тех суффиксов, перед которыми следует писать **ч**, а не **ц** (*-ьст-*, *-ьск-*, *-ьн-*, *-ьств-*, *-иj-*/ *-ьj-*, *-ин-* и т. д.). Замечу между прочим, что очевидная на данном примере возможность запоминания довольно обширного набора суффиксов (или обобщения их морфофонологического действия) позволяет думать, что и написание еров в суффиксах могло долгое время удерживаться после падения редуцированных благодаря такого рода орфографическим навыкам.

Особенно разительно различие между двумя писцами в написании форм вокатива. Было бы, однако, неверно думать, что для менее грамотного писца главная трудность состоит в освоении категории вокатива. Камнем преткновения оказывается для него проверка по роду — правило, согласно которому в вокативе от имен ж. рода надо писать **ц**, а в вокативе от имен м. рода — **ч**. Действительно, имена с суффиксом *-ьц-* (всегда м. рода), в которых не нужно производить проверку на род, он пишет относительно правильно (62 правильных написания при 11 ошибках, ошибочные написания составляют 15,07%). Имена же с суффиксом *-ик-*, не отличающиеся в вокативе от имен ж. рода с суффиксом *-ица*, он пишет почти сплошь неверно (8 правильных написаний при 47 ошибках, ошибочные написания составляют 85,45%). Сложную для него проверку по роду писец, видимо, пытается заменить более простым графическим критерием «в вокативе после **ь** пиши **ч**, после **и** пиши **ц**». Более грамотный писец Син. 160[2] не прибегает к такому упрощению; он, надо полагать, постоянно использует родовую характеристику существительного. Сопоставление наглядно показывает, как с ростом грамотности писец расширяет набор грамматических

категорий, которыми он свободно оперирует в своей орфографической практике.

Дальнейшее изучение рукописей в предложенном здесь аспекте позволит, видимо, более четко определить объем и характер грамматической информации, которой пользовался опытный древнерусский писец.

Литература

Арциховский и Борковский 1963 — *Арциховский А. В.*, *Борковский В. И.* Новгородские грамоты на бересте: (Из раскопок 1956—1957 гг.). М.: Изд-во АН СССР, 1963.

Бьорнфлатен 1983 — *Bjørnflaten J. I.* On the History of the Common East Slavic Morphophonological Alternation /K ⇒ C/ in the Nominal Flexion of the Three East Slavic Languages. The Ninth International Congress of Slavists. Kiev, 1983. S. l., s. a.

Валк 1949 — *Валк С. Н.* (ред.). Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949.

Ворт 1985 — *Worth D. S.* Mirror Reversals in Novgorod Paleography // Language and Literary Theory: (In Honor of Ladislav Matejka). Ann Arbor: Univ. of Michigan, 1985. P. 215—222. (Papers in Slavic Philology; № 5).

Голышенко 1977 — *Голышенко В. С.* Введение // Выголексинский сборник / Под ред. С. И. Коткова. М.: Наука, 1977.

Горский и Невоструев, I — III — *Горский А. В.*, *Невоструев К. И.* Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I—III. М., 1855—1917. (При ссылках на это издание римские цифры означают отдел, а арабские — часть.)

Дурново 1924 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнославенски филолог. 1924. Кн. 4. С. 71—94.

Дурново 1925—1926 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнославенски филолог, 1925—1926. Кн. 5. С. 93—117.

Дурново 1926—1927 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнославенски филолог. 1926—1927. Кн. 6. С. 11—64.

Дурново 1933 — *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // Slavia. Roč.12 (1933). Seš. 1—2. С. 45—82.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Живов 1976 — *Живов В. М.* Bibliographical Survey. Dialectology // Russian Linguistics. Vol. 3 (1976). P. 203—215.

Живов и Успенский 1975 — *Живов В. М., Успенский Б. А.* Типологические аспекты диглоссии // Soomi-Ugri rahvad ja idamaad. Orientalistikakabineti teaduslik konverents 12—14. XI. 1975. Ettekannele teesid, Tartu, 1975. P. 77—82.

Живов и Успенский 1984 — *Живов В. М., Успенский Б. А.* Оппозиция рефлексов **ě* и **е* в книжном произношении и историческая диалектология // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровнего взаимодействия в истории языка). Ужгород, 18—20 сентября 1984 г.: Тез. докл. и сообщений. Т. 2. М., 1984. С. 217—218.

Зализняк 1978а — *Зализняк А. А.* Новые данные о русских памятниках XIV—XVII веков с различением двух фонем «типа о» // Сов. славяноведение. 1978. № 3. С. 74—96.

Зализняк 1978б — *Зализняк А. А.* Противопоставление букв о и ѡ в древнерусской рукописи XIV века «Мерило Праведное» // Сов. славяноведение. 1978. № 5. С. 41—68.

Зализняк 1979 — *Зализняк А. А.* О понятии графемы // Balcanica. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1979. С. 134—152.

Зализняк 1982 — *Зализняк А. А.* К исторической фонетике древненовгородского диалекта // Балто-славянские исслед. 1981. М.: Наука, 1982. С. 61—80.

Зализняк 1984 — *Зализняк А. А.* Наблюдения над берестяными грамотами // История рус. языка в древнейший период. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 36—153 (= Вопросы русского языкознания; Вып. V).

Зализняк 2004 — *Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. 2-е изд. М.: Языки слав. культуры, 2004.

Каринский 1925 — *Каринский Н. М.* Образцы письма древнейшего периода истории русской книги: 68 фототипических снимков с древнерусских памятников, преимущественно XI в. Л., 1925.

Карнеева 1916—1917 — *Карнеева М. И.* Язык Служебной Минеи 1095 г. Особенности памятника, свойственные как русским, так и ст.-сл. памятникам // Рус. филол. вестник. 75 (1916), № 1—2. С. 158—168; 76 (1916), № 3. С. 120—128; 78 (1917), № 3—4. С. 23—45.

Карский 1928 — *Карский Е. Ф.* Славянская кирилловская палеография. Л.: Изд-во АН СССР, 1928.

Козловский 1885—1895 — *Козловский М. М.* Исследования о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности имп. АН, 1885—1895. С. 1—127.

Колесов 1975 — *Колесов В. В*. Расшифровка фонетической системы современного говора (на материале севернорусского цоканья) // Севернорусские говоры. Вып. 2. Л.: Изд-во ЛГУ, 1975. С. 618.

Колесов 1982 — *Колесов В. В.* Введение в историческую фонологию: Учеб. пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

Комарович 1925 — *Комарович В.* Язык служебной Октябрьской Минеи 1096 года // Изв. ОРЯС. 1925. № 30. С. 23—44.

Лант 1949 — *Lunt H. G*. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts: Ph. D. Thesis. University microfilms. Columbia Univ., 1949.

Обнорский 1912 — *Обнорский С. П.* Язык Ефремовской Кормчей XII века // Исследования по русскому языку. Т. 3. Вып. 1. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности имп. АН, 1912. С. 1—80.

Обнорский 1924 — *Обнорский С. П.* Исследование о языке Минеи за ноябрь 1097 года // Изв. ОРЯС. 1924. № 29. С. 167—226.

Селищев 1968 — *Селищев А. М*. Избранные труды. М.: Просвещение, 1968.

Срезневский, I—III — *Срезневский И. И*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.

СРЯ, I—X — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. I—X. М.: Наука, 1975—1983 (изд. продолж.).

Судник 1963 — *Судник Т. М.* Палеографический и фонетический анализ Выголексинского сборника XII—XIII вв. // Учен. зап. Ин-та славяноведения. Т. 27. М., 1963. С. 173—205.

Тот 1981 — *Тот И. Х.* Служебная минея на месяц февраль первой половины XII в.: (Предв. сообщение) // Acta Universitatis szegediensis de Attila József nominatae. Dissertationes slavicae. Slavistisches Mitteilungen. Szeged, 1981. С. 140—162.

Трубачев, I—VIII — Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. I—VIII. М.: Наука, 1974—1981 (изд. продолж.).

Трубецкой 1954 — *Trubetzkoy N. S.* Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem. Wien: Rudolf M. Rohrer, 1954. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungberichte; 228. Bd., 4. Abh.).

Успенский 1973 — *Успенский Б. А*. Древнерусские кондакари как фонетический источник // Славянское языкознание. VII Междунар. съезд славистов. Варшава, август 1973 г.: Докл. сов. делегации. М.: Наука, 1973. С. 314—346.

Хабургаев 1976 — *Хабургаев Г. А*. Еще раз о хронологии падения редуцированных в древнерусском языке (в связи с вопросом о соотноше-

нии книжно-письменной и диалектной речи) // Лингвистическая география, диалектология и история языка / Под ред. Р. И. Аванесова. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1976. С. 397—406.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А*. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энциклопедия славянской филологии; Вып. XI, 1).

Шевелов 1979 — *Shevelov G. Y.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1979.

Ягич 1886 — Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковнославянском переводе по рукописям Московской Синодальной Типографии 1095—1097 г. / Труд орд. акад. *И. В. Ягича.* СПб., 1886. (Памятники древнерусского языка; Т. I).

Еще раз о правописании ц и ч в древних новгородских рукописях *

Мне было очень интересно прочесть работу Л. Стенсланда (1985), в которой он полемизирует с моей статьей (Живов 1984). Каковы бы ни были наши частные расхождения, мы, как мне кажется, исходим из ряда общих положений. Сюда прежде всего относится представление о том, что древнерусские писцы руководствовались при переписке определенными орфографическими правилами, которые и обеспечивали выполнение орфографических норм книжного текста. Л. Стенсланд согласен со мной и в том, что характер ошибок, допускаемых писцом, свидетельствует о характере используемых им правил и что поэтому, исследуя ошибки, можно реконструировать правила. У нас, таким образом, общий методологический подход к интерпретации рукописных данных: обоснованию этого подхода и была в первую очередь посвящена моя статья, и я рад, что смог убедить моего ученого коллегу. Как и Л. Стенсланд (1985, 32), я думаю, что изучение древних рукописей как образцов орфографической практики отдельных писцов и писцовых школ может оказаться исключительно плодотворным и привести к ряду принципиально новых концепций в истории русского языка. Поскольку же занятие это очень трудоемкое, оно требует сотрудничества многих исследователей, и можно только приветствовать всякое пополнение круга специалистов, занятых обсуждаемыми проблемами.

Что касается частных моментов, с которыми не согласен Л. Стенсланд, его возражения не кажутся мне убедительными.

* Впервые напечатано: Russian Linguistics. Vol. 10 (1986). P. 291—306.

Не кажется мне удовлетворительной и система правил, которой, согласно реконструкции Л. Стенсланда (альтернатива моей реконструкции), руководствовались новгородские писцы при написании **ц** и **ч**. Изложу, однако, свои соображения по порядку.

1. Л. Стенсланд сомневается в собственно историко-фонетических основаниях моей работы, в том именно, что в новгородском диалекте вторая палатализация — в отличие от третьей — действительно не имела места. Я могу лишь еще раз отослать к работам А. А. Зализняка (1982; 1984). Замечу при этом, что речь идет не о том, что вторая палатализация проходила в новгородском диалекте непоследовательно, а о том, что она здесь не наблюдалась вовсе. Как пишет А. А. Зализняк (1982, 71; 1984, 89),

> … из совокупного материала берестяных грамот с полной ясностью выступает картина диалекта, где вообще не было процесса второй палатализации. Мы не просто находим здесь много примеров без соответствующего эффекта. Картина гораздо ярче: в грамотах XI—XII вв. нет просто ни одного примера с эффектом второй палатализации — ни внутри корня, ни перед окончанием (при более чем 20 примерах без этого эффекта). И лишь позднее (в основном в XIV—XV вв.) в берестяные грамоты проникает из книжного языка и из других диалектов небольшое число примеров с палатализацией (главным образом внутри корня).

Л. Стенсланд пишет: «Живов предполагает вслед за Зализняком, что в Новгороде в то время (XI—XII вв.) палатализация еще не завершилась» (1985, 28). Такого предположения я не высказывал. Я думаю, что в Новгороде вторая палатализация (т. е. переход заднеязычных в свистящие перед /ě/ и /i/, а не приобретение заднеязычными i-окраски) не начиналась, не начиналась никогда, ни в XII, ни в XIII, ни в XIV в. Современное же состояние новгородско-псковских говоров я отношу целиком на счет междиалектного смешения (конвергентных процессов) и влияния литературного языка. По существу, современное состояние не слишком отличается в этом отношении от древнего: переход заднеязычных в свистящие отсутствует, как и прежде, на стыке основы и окончания. Изменение коснулось лишь рефлексов **k* в корнях, набор которых с самого начала был очень невелик: одни

корни приняли здесь тот же вид, что и в иных восточнославянских диалектах (**цѣл-**, **сѣр-** и т. д.), другие же сохранили прежнюю форму (**кѣп-**, **кѣдить** и т. д.). Изменению подверглись не новгородско-псковские, а другие великорусские диалекты, сблизившиеся в данном отношении с новгородским: имею в виду исчезновение чередования заднеязычных со свистящими в словоизменении.

Я бы хотел еще раз подчеркнуть особое значение берестяных грамот для истории русского языка (в том числе и для истории русского литературного языка). В отличие от текстов, написанных профессиональными писцами, учившимися писать, берестяные грамоты написаны непрофессиональным (некнижным) письмом, генезис которого — в писании людей, учившихся читать, но не учившихся писать. Не проходя через фильтр книжных орфографических навыков, берестяные грамоты с большой последовательностью передают диалектные особенности новгородского говора древнейшего периода (XI—XV вв.). В памятниках же книжного письма, созданных в том же Новгороде, эти особенности отражаются лишь очень непоследовательно, иногда почти совсем не отражаются (поэтому они и оставались незамеченными). Берестяные грамоты показывают, сколь большое значение имел этот фильтр книжной орфографии, насколько радикально книжные писцы отказывались от своих речевых навыков в своей профессиональной деятельности. В принципе следует поставить вопрос о том, чтó из диалектных особенностей может проникать через фильтр книжной орфографии, а также в каком виде и с какими количественными характеристиками отражаются эти проникающие особенности в книжных текстах. Материал берестяных грамот дает возможность сделать это для новгородских памятников. Полученные при этом выводы могут быть экстраполированы на памятники других ареалов, что, вообще говоря, может привести к радикальному пересмотру многих построений исторической диалектологии.

Не стану подробно останавливаться на «возрастном отношении между второй и третьей палатализациями», которое продолжает смущать Л. Стенсланда (1985, 30—33) и после того, как он познакомился с работами А. А. Зализняка. Типологические соображения в пользу старшинства второй палатализации, которые высказывает мой оппонент, имеют слишком общий ха-

рактер. После основополагающей монографии Г. Ланта (1981), доказывающего древность прогрессивной палатализации и нерелевантность тех примеров, которые обычно приводятся как свидетельства ее непоследовательного и позднего характера, полемизировать на этом уровне не имеет смысла. Вероятно, можно не соглашаться с Г. Лантом, но возражения должны опираться на конкретный материал и увязывать воедино все историко-фонетическое развитие славянских диалектов. Мне лично построение Г. Ланта кажется убедительным. Полагаю, что и отсутствие второй палатализации, и другие особенности древненовгородского диалекта, выделяющие его из восточнославянских говоров, хорошо согласуются с той картиной славянского языкового развития, которую предложил Г. Лант в своей недавней работе (Лант 1985). Опираясь на интересные предположения О. Притцака о роли военно-политических союзов (в частности, союза, возглавлявшегося аварами, — см. Притцак 1982) в исторических судьбах славянства, Г. Лант полагает, что между 500 и 750 г. создается

> a Slavic lingua franca which spread throughout the Slavic territory and well beyond into new areas, obliterating older dialects and languages. This new, uniform language remains fairly stable through the ninth century, with a small number of new isoglosses that began to form before OSC was written down (Лант 1985, 203).

Кажется правдоподобным, что распространение lingua franca захватывает прежде всего основной ареал расселения, тогда как на периферии этого ареала могут консервироваться архаические системы, не захваченные целиком конвергентными процессами центра. Этим могут объясняться как особые черты древненовгородского диалекта, так и его частные сходства с словенским и севернолехитскими языками (см. Зализняк 1984, 151).

2. Одно из возражений Л. Стенсланда против утверждения о том, что в новгородском говоре отсутствовали эффекты второй палатализации (и что, соответственно, новгородские писцы могли руководствоваться правилом типа «там, где слышится [k’], пиши **Ц**»), имеет прямое отношение к общей проблеме интерпретации лингвистических данных книжных текстов. Л. Стенсланд высказывает недоумение по тому поводу, что, произнося [k’], новгородские писцы нигде не ошиблись и не передали это [k’] с помощью

к. Вообще говоря, такое недоумение несостоятельно по существу: с тем же успехом можно недоумевать по поводу того, что современные печатные тексты не отражают аканья. Ответ очень прост: такого рода явления не отражаются, потому что соответствующие тексты написаны грамотно, т. е. при их написании успешно применялись орфографические правила.

Постараюсь рассеять недоумения моего оппонента и еще одним аргументом. В обследованных мною текстах написаний **к** на месте [k’] (кроме заимствованных слов — см. ниже) вообще не нашлось. Но это не значит, что такого рода «ошибки» никогда не встречаются; просто они очень редки. Единичные примеры из собственно книжных текстов (на стыке основы и флексии) давно известны (ср.: Шахматов 1915, 176—177), их число существенно увеличивается при обращении к деловым пергаменным текстам (Зализняк 1982, 71—72), тогда как в текстах, написанных вне книжной орфографии (берестяные грамоты), [k’] передается через **к** регулярно (см. выше). В книжных текстах имеются и единичные примеры с написанием **к** на месте второй палатализации внутри корня, см.: **раскѣпилосѧ** (Палея до 1350 г. — Шахматов 1915, 176), **росквелю** (псковская Палея 1494 г. — Колесов 1980, 52), **крькъвь** (новгородская Минея XIII в., РНБ, Соф. 203, л. 67 — Колесов 1982, 93).

Следует вообще иметь в виду, что из книжных текстов (текстов, написанных книжным письмом, безразлично на русском или на церковнославянском языке) тщательно устранялись все черты разговорного (диалектного) языка, которые могли быть преобразованы в элементы книжного характера с помощью простых орфографических правил. В книжном тексте отражались лишь те явления диалектного языка, от которых было трудно избавиться. В книжных текстах можно, например, встретить **ло** в соответствии с ст.-сл. **ла** на месте **ol* в начале слова (**лодига**, **локъть**), поскольку «правильное» написание требовало здесь запоминания конкретных лексем и не регулировалось простым правилом типа «там, где в начале слова слышится [lo], пишется **ла**» (ср. **лобзати**, **ловити**, **лопата** и т. д.). Там же, где могли быть сформулированы простые правила на фонетической или морфологической основе, от диалектных явлений не оставалось почти ничего. В истории русской письменности именно так об-

стоит дело с эффектами перехода /е/ в /о/ после шипящих, с эффектами аканья и яканья, с морфологическими особенностями древненовгородского диалекта, с окончанием род. ед. муж. и ср. рода /ova/ (в памятниках того ареала, где это окончание получило развитие) и т. д. Сюда же относятся и эффекты отсутствия второй палатализации ([k'], [g'], [x']) — в тех говорах и в тот период, в которых не имел места переход [kɨ gɨ xɨ > k'i, g'i, x'i].

Правило, по которому на месте разговорного [k'] должно было писаться **ц**, не применялось к заимствованным словам. В ином случае мы обнаружили бы **ц**, а не **к** в таких словах, как **китъ**, **кивотъ**, **иоакимъ**, **кельсии**, **киръ**, **кирилъ**, **ликиіа** и т. д., однако ничего похожего на подобные ошибки в рукописях не встречается[1]. В моей статье (Живов 1984, 289) этот вопрос затронут лишь поверхностно, и Л. Стенсланд (1985, 29) затрудняется в интерпретации такого рода примеров. Остановлюсь на этом подробнее. Конечно, дело именно в том, что это заимствованные слова и что они осознаются как таковые. Как в точности произносились такие заимствования в новгородском диалекте, остается неясным[2], важен прежде всего их особый статус. Этот статус обеспечивался не только семантикой и функционированием данных заимствований (не всегда надежное основание), но принципиальным отличием [k'] в заимствованных словах от [k'] в «исконных» формах (там, где в других говорах имеем [c]). В книжном произношении (при чтении, диктовке или внутрен-

---

[1] В принципе, такие ошибки не всегда могут быть выявлены. Имя **Кельсии**, написанное с пересчетом, даст **Цельсии** и окажется в наших глазах не ошибкой, а свидетельством латинской традиции в Новгороде. Впрочем, таких свидетельств, кажется, почти нет. Нельзя исключить, что их отсутствие как раз и вызвано тем, что формы типа **Цельсии** воспринимались как ошибки и переделывались в грекообразное **Кельсии**.

[2] В моей статье (Живов 1984, 289) я ссылаюсь на рядную Тешаты и Якима, в которой имеются формы **ѩкымъ**, **ѩкымү** и т. д., и предполагаю на этом основании, что ассимиляция заимствований сопровождалась заменой /i/ на /ɨ/ после заднеязычных. Эта рядная, однако, скорее всего написана полочанином (в Полоцке вторая палатализация имела место), для которого последовательность типа /ki/ аномальна. В Новгороде дело могло обстоять иначе, так что /ki/ в заимствованных словах могло сохраняться и при их ассимиляции.

нем диктанте книжных текстов) [k’] в заимствованных словах произносился как взрывной, тогда как в «исконных» формах в книжном произношении звучала аффриката. Каковы бы ни были реальные условия переписки (см. ниже), очевидно, что, прочитывая переписываемый текст, писец произносил **кивотъ** с взрывным заднеязычным, который он и записывал, а форму **цѣлъıи** — с аффрикатой. Относительно последней формы у него могли быть сомнения, писать ли ее как **ц** или как **ч**, и здесь он мог применить правило, по которому **ц** пишется там, где в разговорном языке звучит [k’], но к написанию слова **кивотъ** и т. д. эта процедура не имела никакого отношения. Сомнения Л. Стенсланда сохраняли бы силу только в том случае, если бы текст при переписке прочитывался на диалектном языке, а потом записывался согласно его звучанию в этом чтении (с теми или иными орфографическими модификациями). Но такого не было: между книжным письмом и разговорной речью стояло книжное произношение. Поэтому к формам типа **кивотъ** и т. д. правила, обеспечивающие правильное написание аффрикат, никогда не применялись (ни в какой момент переписки для этого не возникало оснований), и поэтому никакого смешения в них быть не могло.

3. Перейду теперь к непосредственному сравнению тех систем правил, которые служили новгородскому писцу для правильного написания **ц** и **ч** в моей реконструкции и в реконструкции Л. Стенсланда, утверждающего, что его набор «проще, чем тот, который предлагает Живов и... не предполагает произношение мягкого к’ вместо ц второй палатализации» (1985, 31). Я не думаю, что набор Л. Стенсланда проще, и уверен, что новгородский диалект второй палатализации не испытал. Этого, однако, еще недостаточно, чтобы отбросить гипотезу Л. Стенсланда без дополнительной аргументации. В принципе его правила, игнорирующие разговорное [k’] в соответствии с книжным **ц**, могли бы быть ориентированы на книжное произношение[3]. Они дела-

---

[3] Эти правила могли бы также иметь значимость для писцов, в родном диалекте которых вторая палатализация имела место (например, смоленских, полоцких или тверских).

ют ненужным обращение к разговорному произношению при проверке книжных написаний. Если бы они были эффективны, оказывалась бы излишней целая дополнительная процедура, поэтому было бы очень соблазнительно приписать их новгородским писцам.

Прежде, однако, чем перейти к их анализу и сопоставлению с моими правилами, остановлюсь на одном важном вопросе, который остался нерешенным в моей статье. Это вопрос о том, различались или не различались аффрикаты в новгородском книжном произношении (ср. Живов 1984, 285). Как мне сейчас кажется, можно однозначно ответить на этот вопрос: в новгородском книжном произношении аффрикаты не различались, т. е. книжное произношение не было противопоставлено в данном отношении разговорному (это и обусловливает интересность правил, предложенных Л. Стенсландом). К этому выводу меня приводит отсутствие ошибок при написании рефлексов **tj* в рассмотренных мною памятниках. В разговорном произношении рефлексы **tj* выступали в виде все той же единственной аффрикаты, которая соответствует /c/ и /č/ других восточнославянских диалектов. В книжном произношении, однако, дело обстояло иначе: на месте **tj* здесь произносился другой звук [š’č’] (или [š’:], или еще что-то — безразлично). Отсутствие ошибок и объясняется ориентацией письма на книжное произношение[4]. Произнося текст при переписке (при диктовке или внутреннем диктанте), писец читал **свѣща** с иным звуком перед **а**, чем в словах **пътица** или **тоуча**. Это и исключало ошибки при написании. Если допустить, что и в последних двух словах звуки перед **а** были при таком чтении различны (т. е. что в книжном произношении аффрикаты были дифференцированы), смешение **ц** и **ч** в этом случае имело бы такой же окказиональный, исключительный характер, как и смешение **щ** и **ч** или **щ** и **ц**. Поскольку

---

[4] При письме, которое на книжное произношение не ориентируется (не может ориентироваться), эффект цоканья наблюдается и на месте **tj* и **kt’*, ср., например, в списке С договора Смоленска с Ригою и Готландом: **восхоцеть**, **помоци**; в новгородской берестяной грамоте №531: **доцерь**, **доцере**; в новгородской грамоте №107 и в старорусской грамоте №10: **хоцьши**, и т. д.

это не соответствует наблюдаемым фактам, следует думать, что в новгородском книжном произношении аффрикаты не различались.

Сопоставлю теперь мой набор правил с набором Л. Стенсланда. Я предлагал следующую систему:

(A) Если в разговорном языке слышится [k’], то в книжном письме пишется **ц**.

(B) Если в разговорном языке слышится аффриката, а предшествующая буква не **ь** или **и**, в книжном письме пишется **ч**.

(C) Если в разговорном языке слышится аффриката и предшествующей буквой является **ь** или **и**, то в книжном письме **ч** пишется (а) в формах Voc. Sg. существительных муж. рода, (б) перед суффиксами, начинающимися с **ь** или **и**, (в) в глагольных формах и отглагольных образованиях, (г) в притяжательных прилагательных; **ц** пишется в падежных формах существительных, кроме Voc. Sg. существительных муж. рода (Живов 1984, 267—268).

Эта система, как мне кажется, подтверждается статистикой ошибок, которые совершают новгородские писцы: они редко ошибаются там, где правильное написание обеспечивается правилами (A) и (B), и часто ошибаются там, где приходится прибегать к более сложному правилу (C).

Л. Стенсланд предлагает иную систему правил и думает, что она столь же хорошо соотносится с типологией ошибок. Эта система такова:

(1) Г(лухая) А(ффриката) — **ц**/___**ѣ**
(2) ГА — **ц**/___ и при мн. ч. и в повел. накл. ед. ч. в *е*-глаголах
(3) ГА — **ц** или **ч** / {**ь**, **и**} — (см. ниже)
(4) ГА — **ч** в остальных случаях.

К правилу (3) дается следующая расшифровка:

(а) сверяйся с оригиналом, если имеешь к нему доступ;
(б) помни о графических клише (например, **отьче**);
(в) используй, если не уверен, более частотное (Стенсланд 1985, 31—32).

О правдоподобии предписаний типа «сверяйся с оригиналом» я скажу ниже. Сначала же остановлюсь на первых двух правилах. Первое кажется вполне подходящим, однако я сомневаюсь в том, что писцы действительно руководствовались им как основным предписанием. Дело в том, что /е/ и /ě/ в положении после /с/ не были противопоставлены (Живов и Успенский 1984, 217—218), и можно встретить такие написания, как **въ рацѣ** Loc. sg. (Син. 162, л. 156 об.) или **нарицемъ** Imper. 1 pl. (там же, л. 9), в которых **є** и **ѣ** смешиваются. Если бы писец руководствовался правилом (1), он, написав **є** вместо **ѣ**, должен был бы написать и **ч** вместо **ц** (во всяком случае, в первом примере). Поскольку же он так не поступает, он, видимо, не пользуется правилом (1) или пользуется им лишь как дополнительным (ср. Живов 1984, 289).

Между тем второе правило обладает более существенными недостатками, которые, видимо, вовсе исключают его применение. В его настоящем виде оно достаточно просто, но дает не те результаты, которые мы находим в рукописях. В самом деле, если бы правила предписывали писать **ц** перед **-и** в формах мн. ч., мы должны были бы закономерно получить такие написания, как **меци**, **враци**, **рѣци**, **отьци** (притяжат. прилагательное) и т. д. (вместо **мечи**, **врачи**, **рѣчи**, **отьчи**). Однако такие ошибки в обследованных мною рукописях отсутствуют. Напротив, в них можно найти **рѣци** Acc. pl. (Син. 162, л. 6 об., 74), **мєци** Instr. pl. (там же, л. 20 об.), **мєци** Nom. pl. (там же, л. 287 об.). В то же время, как я указывал (Живов 1984, 279—280), в той же Минее Син. 162 с полной последовательностью пишется **ч**, а не **ц** в образованиях от глаголов на *-ati*, в которых имела место третья палатализация (**прорицаѥть**, **наричаю**, **отърицати**, **възбрѧцаꙗ** и т. д.). Объяснить это можно лишь следованием правилу — понятно, не правилу Л. Стенсланда, а моему (правило С). Когда правило есть, можно быть уверенным, что писец будет достаточно последовательно его придерживаться. Так что верно написанные **мечи** и **рѣчи** однозначно указывают, что правила типа (2) в употреблении писца не было.

Можно, конечно, думать, что на самом деле в работе все же было правило типа (2), но с существенными добавлениями. Что же следовало принимать во внимание, чтобы получить пра-

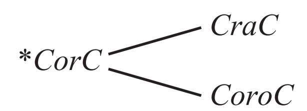
вильные написания? Писец должен был бы узнать, как выглядит проверяемое слово в Nom. sg. Если в этой форме основа кончается на **-к**, то во мн. ч. перед **-и** пишется **ц** (**ликъ** — **лици**, **великъıи** — **велиции**). Если в этой форме основа кончается на аффрикату, то следует проверить, не есть ли это притяжательное прилагательное. Если это притяжательное прилагательное, то пишется **ч** (**отьчь** — **отьчи**). Если это не притяжательное прилагательное, то следует проверить, какая гласная пишется перед аффрикатой. Если это не **ь** или **и**, то пишется **ч** (**мечь** — **мечи**, **рѣчь** — **рѣчи**). Если же это **ь** или **и**, то следует обратиться к правилу 3 (ср.: **старьць** — **старьци**, **любодѣиць** — **любодѣици**, но **озрьчь** — **озрьчи**, **кличь** — **кличи** и т. п.). Как видим, чтобы сделать правило типа (2) эффективным, его нужно до крайности усложнить (оно, кажется, сложней любого из моих правил), причем эффективность его остается относительной. Для написания правильной аффрикаты после **ь** и **и** все равно оказывается нужным «сверяться с оригиналом», «помнить о графических клише» и т. д. И при этом писец не должен путать мн. числа с дв. числом (в XII в., возможно, уже не такая легкая задача), чтобы не получить **оци** вместо **очи** и т. п. (ср. правильное **очи** в Син. 162, л. 54, 59 об., 63, 85, 185 об., 272 об.). Л. Стенсланд (1985, 31—32) ошибается, думая, что его набор «проще» и «должен дать приблизительно такой же результат, как и набор, предложенный Живовым»[5].

---

[5] В случаях **озрьчь**, **кличь** и т. п. не дают (этимологически) правильного написания и мои правила. Редкость подобных слов (в моих текстах они не встретились ни разу) не позволяет понять, какое написание получали они в новгородских рукописях. Однако, если даже в дополнениях к правилу (2), предложенному Л. Стенсландом, заменить последнее предписание (обращаться к правилу 3, когда аффриката стоит после **ь** или **и**) более простым — «пиши **ц**», правило (2) останется громоздким, сложным и требующим разнородной информации (графической, фонетической, морфонологической и морфологической). О его применении должны были бы свидетельствовать особо частые ошибки в формах мн. числа. Этого, однако, не наблюдается.

Вторая часть правила (2) регламентирует написания форм императива 2 лица ед. числа. И здесь предписание могло создавать для писца определенные трудности. Выделяя *е*-глаголы, писец должен был обращаться к

4. Полемику на этом можно было бы и кончить. Я бы хотел, однако, обратить внимание на два принципиальных момента. Ошибка Л. Стенсланда весьма симптоматична. Легко понять, как она возникла. Все мы в той или иной степени заворажены историко-фонетическими соответствиями, усвоенными из сравнительной грамматики, и интерпретируем рукописи через призму этих соответствий. Мы знаем, например, что общесл. **or* между согласными соответствует ст.-сл. (ю.-сл.) -*ra*- и в.-сл. -*oro*-. Исходя из наглядной картинки типа



мы говорим о соответствии церковнославянского неполногласия восточнославянскому (разговорному) полногласию, т. е. о соответствии типа *CraC* ⇔ *CoroC*. Представление об этом соответствии (как о соответствии фонетическом) мы приписываем древнерусскому писцу. Писец, однако, не занимался сравнительно-исторической грамматикой, и полногласие как понятие исторической фонетики не было для него актуальным. Он имел дело со своей разговорной последовательностью /oro/, которая в одних случаях соответствовала книжному **ра** (например, **порогъ — прагъ**), а в других случаях не соответствовала (например, **порокъ** ‘vitium’, но не ***пракъ**). Поэтому с самого начала[6] соответствие «некнижное **оро** — книжное **ра**» имело

формам презенса, чтобы отличить их от глаголов на *-ěti* (см.: **мълчи**, **кричи** и т. д., ср.: **не премълчи** — Син. 162, л. 34 об.). Неясно, насколько свободно писцы пользовались такого рода процедурами.

[6] Здесь можно было бы возразить, что в восточнославянских диалектах до определенного момента вторые [о] и [е] в полногласных сочетаниях фонетически отличались от [о] и [е] в других позициях (см.: Гард 1974, 112—115). Нет, однако, оснований рассматривать фонетический процесс отождествления этих [о] и [е] с соответствующими звуками в других позициях как слишком поздний — по крайней мере, для севера восточнославянской территории. Если не постулировать, как это делает П. Гард, правосточнославянскую систему, а допустить изначальную гетерогенность северных и южных восточнославянских диалектов, ничто не мешает думать, что на севере второе [о] полногласных сочетаний отож-

для него лексически обусловленный характер. Оно не давало механического правила пересчета, а требовало запоминания отдельных лексических пар (объем зависел от книжной начитанности писца). При переписке этот лексический характер соответствия мог не сказываться: в исходном тексте писец читал **прагъ** и повторял это написание, если только не отвлекался от переписываемого текста (как рассеянная машинистка, путающая при перепечатке слова). При создании оригинальных текстов, однако, отсутствие механического правила пересчета сказывалось весьма существенно и полногласные формы появлялись вполне закономерно. В норму церковнославянского языка русского извода входили лишь те элементы южнославянского происхождения, которые могли быть соотнесены с элементами разговорного (диалектного) языка с помощью правил общего

дествилось с [о] в других позициях еще в дописьменный период (и впоследствии под автономным ударением дало /ô/, как и всякое другое /о/ в этих условиях.

Что касается юга, то здесь действительно нужна особая интерпретация. Второе [о] полногласных сочетаний дает здесь в новых закрытых слогах /ɔ/, т. е. ведет себя как рефлексы *ъ, а не как рефлексы **о*. Допустить тождество второго гласного полногласных сочетаний с [ъ] (до падения и прояснения редуцированных) нельзя, так как в этом случае после падения редуцированных должны были бы появиться формы типа **голва* (вместо *голова*), а этого не происходит. П. Гард видит выход из этой трудности в том, чтобы отнести процесс отождествления второй гласной полногласных сочетаний с /о/ к времени после падения и прояснения редуцированных. Возможна, кажется, и другая точка зрения. Если фонологическая оппозиция /ô/ и /ɔ/ развивается лишь после падения и прояснения редуцированных, то ничто не мешает думать, что фонетическое различие [ô] и [ɔ] (или каких-то двух других *о*-образных аллофонов) существовало значительно ранее (видимо, в самых разных славянских диалектах). На юге восточнославянской территории особый аллофон [о] (например, с увеличенной длительностью, а отсюда и закрытостью) мог развиться перед редуцированными в слабой позиции (возместительное удлинение). После падения и прояснения редуцированных происходит процесс фонологизации этих аллофонических различий, что и дает оппозицию /ô/ и /ɔ/ в новых закрытых слогах. Второй гласный полногласных сочетаний, не будучи тождествен [ъ], не имел в то же время данных аллофонических характеристик, и поэтому его рефлексом стало /ɔ/.

характера (на фонетической, фонотактической или морфологической основе).

Для того чтобы реконструировать такие правила, мы должны, так сказать, посмотреть на историко-фонетические соответствия с другой стороны стрелки, в перспективе древнерусского писца, который при проверке написания шел от форм разговорного языка к книжным формам. Интерпретация рукописных данных требует именно такого подхода. В ином случае мы будем рассматривать как ошибки такие написания, которые писец закономерно получал по своим правилам, и проходить как мимо само собой разумеющегося мимо таких форм, правописание которых обеспечивалось лишь достаточно хитроумными процедурами.

Так, например, мы принимаем как данное известное соответствие: **tj* — ст.-сл. **шт** (**щ**) — в.-сл. *č*. Отсюда делается заключение, что на месте **tj* ц.-сл. **щ** соответствует русское (некнижное) **ч**. Но для восточнославянского писца не было никакого «на месте **tj*». Для него было разговорное /č/ (или /c/ в северо-западном ареале), которое в одних случаях соотносилось с книжным **щ**, а в других — с книжным **ч**. Для того чтобы перейти от своего /č/ к книжному **щ**, он должен был применить ряд правил, которые нам и следует реконструировать. «Ошибки» (выходящие за рамки нормы русизмы) нужно выделять, обращаясь именно к этим правилам, а не к сравнительно-историческому соответствию.

Поясню, что это значит. Н. Н. Дурново в своем обзоре русских рукописей XI—XII вв. особо отмечает «те несомненные руссизмы, которые не вошли ни в одну из русских орфографических систем XI и XII в. и встречаются в рукописях лишь как отступления от системы» (Дурново 1924, 76 / 2000, 396). Говоря о первом почерке Изборника 1073 г., он указывает: «**ч** вместо **шт** довольно часто, но только в основе **чоужд-** или **чоуж-**» (там же, 78). Было ли, однако, написание **чоужд-** или **чоуж-** отступлением от системы? С точки зрения сравнительно-исторического соответствия ответ ясен: это **ч** на месте **tj*. При взгляде с другой стороны стрелки перспектива меняется. Для начала слова писец мог руководствоваться очень простым и удобным правилом: «пиши **ч** там, где в разговорном языке слышится [č], пиши **щ**

там, где в разговорном языке слышится [šč]» (или [š:], или другое подобное в зависимости от диалекта). Это правило давало осечку только в одном случае, в единственном корне с начальным **tj* — **чоужд-**/**чоуж-**. Здесь и только здесь эффект действия правила расходился с сравнительно-историческим соответствием. Но орфографическая система определяется правилами, а не соответствиями, и — вопреки мнению Дурново — написания **чоужд-**/**чоуж-** входят в нее на законном основании. Понятно, что в ранних памятниках такие написания встречаются наряду с **штоужд-**[7], однако уже в XII в. появляются рукописи, в которых **чоуж-** выдержано вполне последовательно.

Именно сравнительно-историческими соответствиями и был заворожен мой почтенный коллега, предлагая правило (2). По второй палатализации **k* действительно давало /c/ перед /i/ в формах мн. числа и пов. наклонения. Но аффриката на конце основы в формах мн. числа и императива могла иметь и другое происхождение, поэтому стрелка соответствия автоматически в противоположную сторону не поворачивалась. Попытка же повернуть эту стрелку, ограничив ее действие определенными морфологическими и морфонологическими условиями, приводит к столь сложному построению, что вопрос о формулировке соответствующего орфографического предписания практически отпадает. Поскольку для писца актуально именно это обратное направление стрелки, очевидно, что у него не могло быть ничего похожего на второе правило моего оппонента.

5. Последний момент, на котором мне бы хотелось остановиться, — это роль оригинала в процессе переписки. Л. Стенсланд замечает: «Не связывая типологию ошибок новгородских рукописей с условиями, в которых осуществлялось копирование, невозможно дать убедительное объяснение этой типологии» (1985, 31). Об условиях копирования мы, к сожалению,

---

[7] Показательно, что в Успенском сборнике (XII в.) **чюж-** представлено во всех частях сборника, тогда как **щюж-**/**щюжд-** только в частях, восходящих к южнославянским протографам, **щюж-**/**щюжд-** явно выступают здесь как примета уходящей рукописной традиции, а **чюж-** — как черта формирующейся нормы.

можем лишь догадываться, поскольку прямые исторические свидетельства отсутствуют. Как мне кажется, речь должна идти не о том, чтобы верифицировать интерпретацию рукописей с помощью сведений, которые нам неоткуда получить, а о том, чтобы, интерпретируя рукописи, построить правдоподобную картину процесса копирования.

Можно с уверенностью утверждать, что при переписке существенную роль играло книжное произношение. Этот момент был подробно аргументирован Н. Н. Дурново (1933), и я уже несколько раз обращал на него внимание в настоящих заметках (по поводу написания **к** перед передней гласной в заимствованных словах и по поводу отсутствия смешения аффрикат на месте **tj*). Писец, несомненно, записывал произносимый текст. Характер его произнесения, однако, остается неясным. Это могла быть диктовка специального чтеца или внутренний диктант (когда писец сначала прочитывает отрезок текста, а затем записывает его). Я не вижу такой методики, которая позволила бы сделать однозначный выбор одной из гипотез. Мне представляется более вероятным внутренний диктант, при котором писец все же видит свой оригинал и может удерживать в (зрительной) памяти какие-то его написания. Как кажется, такое предположение лучше согласуется с тем фактом, что восточнославянские писцы повторяют ряд элементов южнославянской орфографии, не отражавшихся, видимо, в книжном произношении (этимологически правильное написание юсов в древнейших рукописях, наличие восточнославянских рукописей с одноеровой орфографией, сокращенное написание без еров таких слов, как **вcь**, **кто**, **кнѧзь** и т. д.). Конечно, это указывает лишь на правдоподобность внутреннего диктанта при написании отдельных рукописей. Не исключено, что другие рукописи писались под (внешнюю) диктовку, так что вопрос в целом остается открытым.

Вопрос о роли оригинала представляется куда более ясным. Л. Стенсланду не вполне очевидно, почему писцы должны были пользоваться правилами, а не могли «попросту сверять написание с оригиналом» (1985, 31). Самый общий ответ на этот вопрос состоит в том, что писцы своим оригиналам не доверяли, они не доверяли им в принципе, и потому предпочитали пола-

гаться на правила. Во всяком случае, чем квалифицированнее был писец, тем менее он зависел от оригинала. И это понятно. Следуя оригиналу, писец мог лишь повторить те ошибки, которые совершил предшествующий переписчик, и чем опытнее был писец, тем более он ощущал себя вправе исправлять списываемый текст. Никто в этом не сомневался, и мы хорошо знаем, как в многочисленных приписках писцы просят простить им их ошибки и эти ошибки исправить[8]. Хороший копиист, конечно же, выполнял эту просьбу своих предшественников.

Постоянная правка правописания является лишь одним из частных аспектов более общего явления. Проблема недоверия к оригиналу хорошо известна в текстологии, прежде всего в текстологии евангельских рукописей. История новозаветных текстов является контролируемой — в том смысле, что имеет место постоянное стремление улучшить и стабилизировать текст, удалив из него ошибки предшествующих переписчиков; недоверие к оригиналу приводит здесь к частой сверке с другими рукописями (см.: Колвелл 1969; о славянской рукописной традиции см. Алексеев 1985).

Такое же недоверие наблюдается и в отношении к правописанию оригинала. Об этом недавно очень четко писал А. А. Зализняк, основываясь на анализе правописания Мерила Праведного в Троицком списке XIV в., списанного целым коллективом писцов, среди которых были два или три учителя-каллиграфа и несколько учеников. А. А. Зализняк (1985, 104) пишет:

> Волею случая Мерило оказывается идеальным пробным камнем для старого спора о том, чем преимущественно определяется орфография древних писцов — копированием оригинала или собственной орфографической выучкой. Как показывает анализ, по-

---

[8] В рукописях, восходящих к тырновской и ресавской традиции, встречаются иногда приписки, призывающие не изменять копируемый текст. Такие призывы связаны, конечно, с тем, что в данных традициях была осуществлена определенная стабилизирующая редакция текста. Обращение с таким призывом весьма показательно: оно, видимо, как раз и имеет в виду практику постоянного исправления и изменения текста, вызванных недоверием к оригиналу. Приписки и предлагают отказаться от этого недоверия в отношении к данным рукописям.

> черк каждого из писцов Мерила, в том числе и учеников, обладает высокой степенью графической и орфографической последовательности ‹...› При этом у разных писцов графико-орфографические системы несколько различны ‹...› Никаких общих графико-орфографических особенностей, которые объединяли бы, например, двух писцов, списавших вместе ту или иную статью, и отсутствовали бы у них при их работе над другими статьями, нам обнаружить не удалось. Все эти факты недвусмысленно свидетельствуют о том, что в своих графико-орфографических принципах писцы Мерила были независимы от оригинала.

Независимость от оригинала не является спецификой Мерила. В большей или меньшей степени она характерна для всех книжных текстов. С наибольшей отчетливостью эта независимость проявляется в том случае, когда выбор между следованием оригиналу и орфографическими правилами отражается на характере принятой нормы. По-видимому, достаточно двух-трех поколений рукописей для полного (или почти полного) уничтожения тех черт протографа, которые противоречат графико-орфографической системе писцов, и для создания новой нормы, эту графико-орфографическую систему воплощающей. Именно этот процесс мы видим в тех двух случаях, которые уже упоминались в настоящих заметках. Я имею в виду вхождение в норму написаний **чоуж-** и исчезновение написаний **штоужд-**, восходящих к южно-славянским протографам. Я имею в виду также написание в новгородских рукописях глаголов на *-ati* (и образованных от них форм), отражающих третью палатализацию, исключительно с **ч**, а не **ц**, при том что в южнославянских или южно-восточнославянских протографах здесь, несомненно, фигурировало последовательное **ц**. Совершенно очевидно, что в этих случаях орфографические правила одерживают верх над восходящей к протографу орфографией, и это ясно указывает на ту второстепенную роль, которую играло правописание оригинала в процессе переписки.

В заключение хочу подчеркнуть, что правописание **ц** и **ч** в рукописях северо-западного ареала требует еще многих исследований. Л. Стенсланд ставит вопрос, почему реконструированный мной набор правил «не получил более широкого применения и не утвердился со временем» (1985, 29). Ответить на

этот вопрос (возможно, впрочем, не исчерпывающим образом) достаточно легко. Предложенная мною система правил могла быть вполне действенна только в новгородско-псковском ареале, в котором не имела места вторая палатализация, и только до тех пор, пока в рукописной традиции не утвердился эффект падения и прояснения редуцированных. Как обстоит дело с правописанием аффрикат в рукописях тверского или смоленского происхождения, в рукописях конца XIII—XIV вв., остается неизученным. Было бы отрадно думать, что моя статья, вызвавшая полемические замечания Л. Стенсланда, может привлечь внимание исследователей к данным проблемам.

Литература

Алексеев 1985 — *Алексеев А. А*. Проект текстологического исследования кирилло-мефодиевского перевода Евангелия // Сов. славяноведение. 1985. № 1. С. 82—94.

Гард 1974 — *Гард П. К* истории восточнославянских гласных среднего подъема // Вопр. языкознания. 1974. № 3. С. 106—115.

Дурново 1924 — *Дурново Н*. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. IV (1924). С. 72—94.

Дурново 1933 — *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // Slavia. Roč. 12 (1933). Seš. 1—2. С. 45—82.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н*. Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Живов 1984 — *Живов В. М*. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian Linguistics. Vol. 8 (1984). № 3. С. 251—293.

Живов и Успенский 1984 — *Живов В. М*., *Успенский Б. А*. Оппозиция рефлексов **ě* и **e* в книжном произношении и историческая диалектология // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровнего взаимодействия в истории языка). Ужгород, 18—20 сентября 1984 г.: Тез. докл. и сообщений. Т. 2. М., 1984. С. 217—218.

Зализняк 1982 — *Зализняк А. А*. К исторической фонетике древненовгородского диалекта // Балто-славянские исследования. 1981. М.: Наука, 1982. С. 61—80.

Зализняк 1984 — *Зализняк А. А*. Наблюдения над берестяными грамотами // История русского языка в древнейший период. М.: Изд-во МГУ, 1984. С. 36—153. (Вопросы русского языкознания; Вып. 5).

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* Дополнительные замечания об омеге в «Мериле праведном» // Сов. славяноведение. 1985. № 4. С. 97—107.

Колвелл 1969 — *Colwell E. C.* Studies in Methodology in Textual Criticism of the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 1969.

Колесов 1980 — *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка. М.: Высш. шк., 1980.

Колесов 1982 — *Колесов В. В*. Введение в историческую фонологию: Учеб. пособие. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.

Лант 1981 — *Lunt H. G.* The Progressive Palatalization of Common Slavic. Skopje: The Macedonian Academy of Sciences and Arts, 1981.

Лант 1985 — *Lunt H. G.* Slavs, Common Slavic, and Old Church Slavonic // Litterae slavicae Medii Aevi: Francisco Venceslao Mares Sexagenario Oblatae / Hrsg. von J. Reinhart. München: Otto Sagner, 1985. P. 185—204.

Притцак 1982 — *Pritsak O.* The Slavs and the Avars. Spoleto, 1982.

Стенсланд 1985 — *Стенсланд Л.* Почему древненовгородские писцы делали так мало ошибок при написании аффрикат **ц** и **ч** // Russian Linguistics. Vol. 9 (1985). С. 27—33.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А*. Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энциклопедия славянской филологии; Вып. XI.1).

Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика*

Палатальные сонорные в восточнославянской исторической фонетике находятся на положении бедных родственников, о них упоминают вскользь как о скоротечном явлении, стоявшем на периферии восточнославянской фонологической системы и исчезнувшем из нее без связи с другими явлениями, как случайное излишество. Такая трактовка обусловлена нечеткостью в определении относительной хронологии исчезновения палатальных сонорных в восточнославянском, что в свой черед вызвано неадекватной интерпретацией правописания восточнославянских рукописей. Значительная часть исследователей до сих пор придерживается той точки зрения, которая была в свое время сформулирована Н. Н. Дурново.

1. Перечисляя в своем «Очерке истории русского языка» общерусские (т. е. общевосточнославянские) изменения звуков, имевшие место в доисторическую эпоху, Н. Н. Дурново относит к ним смягчение согласных перед передними гласными (Дурново 1924, 144 сл. / 2000, 139 сл.). По мнению Дурново, в восточнославянских говорах (равно как и в лехитских, но в отличие от южнославянских) согласные перед передними гласными сделались из полумягких мягкими, что привело к слиянию «исконно мягких» (т. е. палатальных *l̃*, *ñ*, *r̃* из **lj*, **nj*, **rj*) с новыми мяг-

---

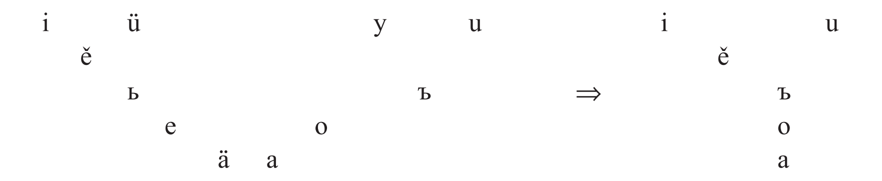
* Впервые опубликовано: Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М.: Индрик, 1996. С. 178—202.

кими, возникшими в результате смягчения (которое может именоваться «вторичным», дабы отличить его от общеславянских палатализаций и преобразований сочетаний с /j/). Правописание древних рукописей, на взгляд Дурново, безусловно свидетельствует о том, что восточнославянские писцы не различали в своем произношении палатальных *l̃*, *ñ*, *r̃* и «смягченных» *l'*, *n'*, *r'* перед гласными *i*, *ь*, *ě*, равно как и перед рефлексами **ę*. Перед *е* противопоставление имело место, поскольку «правильное различение є и ѥ после н, л [в южных восточнославянских памятниках XI в. — *В. Ж.*] не может объясняться как чисто орфографическое явление и, следовательно, указывает на произношение самих писцов» (там же, 149 / 143). Такое произношение, однако, «было только книжным или литературным и не совпадало с живым русским произношением» (там же, 149—150 / 144). Таким образом, Дурново утверждает, что интересующая нас оппозиция была утрачена восточнославянскими говорами еще до возникновения письменности.

Данный вывод Дурново делает, основываясь на интерпретации правописания в восточнославянских рукописях XI—XII вв. Отсутствие оппозиции палатальных и палатализованных сонорных в говоре писцов доказывается тем, что те из них, которые употребляли особые обозначения для палатальных сонорных, употребляли их недостаточно последовательно. Во-первых, даже в тех памятниках, где обозначения для палатальных сонорных употреблены правильно (т. е. в соответствии с этимологией), эта правильность, по выражению Дурново, «однобокая: если писцы не делают ошибок там, где пишут их [ԓ, ԋ. — *В. Ж.*], то зато они очень часто пишут н, л там, где следовало бы писать те же буквы с крючком» (там же, 145—146 / 140). Во-вторых, отнюдь не являются редкостью такие случаи, когда обозначения, предназначенные для палатальных сонорных, появляются в формах, содержащих непалатальные (палатализованные) сонорные. Например, во втором почерке Архангельского евангелия Дурново обнаруживает «стремление писать ꙗ в соответствии со ст.-сл. ꙗ или ѧ после *н*, *л* мягких, и букву ѧ в соответствии со ст.-сл. ѧ после немягких и после шипящих... Но писцу не удается выдержать ст.-сл. орфографию. Он часто пишет ѧ после л, н, р, с вместо ꙗ: болѧаше, молѧхоу сѧ, хра-

нѧше, **варѧю**, **лазорѧ**, **сентѧмбрѧ**, **разарѧꙗ**, **самарѧнъ**, **вьсѧ**, **вьсѧкъ** (много раз) и т. д.; с другой стороны, употребляет букву **ꙗ** после **м**: **имꙗ** (много раз), **мꙗ** (много раз), **времꙗ**, **беремꙗ**, а иногда и после других букв: **блоѹдꙗ** (запись)» (там же, 146—147 / 141; ср.: Дурново 1924а, 600—605 / 2000, 355—358). В особый случай Дурново выделяет положение перед /e/, поскольку по крайней мере в одном обследованном им памятнике (втором почерке Архангельского евангелия) он обнаруживает вполне последовательное написание **ѥ** после палатальных *l̃*, *ñ* и **є** «после о.-сл. немягких согласных» (1924, 148 / 2000, 142; ср. 1924а, 607—611 / 2000, 360—363). Отсюда он делает вывод, что в положении перед /e/ *l̃*, *ñ* и *l*, *n* различались, но, поскольку фонетической мотивации для такого особого статуса позиции перед /e/ он не находит, он относит данное различение исключительно на счет книжного произношения, не совпадавшего с живым.

Обратимся сначала к собственно лингвистическим импликациям данной концепции. Совпадение палатальных сонорных с «новыми мягкими», образовавшимися в результате «нового смягчения» согласных перед передними гласными, т. е. с палатализованными сонорными *l'*, *n'* означает, что в восточнославянских диалектах утверждается фонологическая оппозиция твердых и мягких, причем естественно думать, что это новое противопоставление распространяется не только на сонорные, но и на шумные согласные. В этом случае фонологическая система подверглась радикальному преобразованию: противопоставление гласных по ряду сделалось для большинства фонем аллофоническим, зависимым от твердости или мягкости предшествующего согласного (как в современном русском языке), т. е. общевосточнославянская система гласных трансформировалась следующим образом:



При этом у фонем /i, u, ъ, o, a/ после мягких выступают аллофоны [i, ü, ь, e, ä], а после твердых [ɣ, u, ъ, o, a].

В плане относительной хронологии такое преобразование должно было бы иметь место после деназализации носовых гласных, поскольку в ином случае носовые образовали бы такую же аллофоническую пару, как и другие противопоставленные по ряду гласные, т. е. мы имели бы фонему /ǫ/ с аллофонами [ɛ] после мягких и [ǫ] после твердых согласных; процесс деназализации должен был бы при этом выглядеть достаточно странно, так как имело бы место расщепление одной фонемы на две с абсолютно разными фонетическими признаками: [ɛ] давал бы [ä], т. е. гласную нижнего подъема, совпадающую с передним аллофоном фонемы /a/ (например, в им. ед. /vol’a/ **волıа**), [ǫ] давал бы [u], т. е. гласную верхнего подъема. Этот процесс должен был бы следовать и за монофтонгизацией дифтонгов, поскольку в ином случае оказывалось бы необъяснимым наличие мягких согласных перед рефлексами этих дифтонгов. Предшествовать этому процессу должно было также преобразование **el* и **ьl* в -*olo*-, -*ъl(ъ)*-, поскольку в ином случае мы имели бы мягкие /m’/ и /v’/ в *молоко* и *волк* (ср.: Шевелов 1979, 172). Более того, образование корреляции твердых и мягких согласных целесообразно было бы относить ко времени после второй палатализации (хотя строгой зависимости здесь нет), поскольку в ином случае в эту корреляцию должны были бы входить и фонемы /k — k’, g — g’, x — x’/ и эта система, едва возникнув, начала бы разрушаться, так как мягкие корреляты заднеязычных выпадали бы из корреляции и совпадали со свистящими. Однако и относя возникновение корреляции твердых и мягких (в качестве постулированного Дурново самостоятельного изменения) ко времени после второй палатализации, мы также попадаем в логическую ловушку: этот особый общевосточнославянский процесс приходится на время после процесса, не имевшего общевосточнославянского характера, причем в древненовгородском диалекте, не пережившем второй палатализации, дает те же результаты, что и в других восточнославянских говорах.

Исчезновение палатальных сонорных как отдельных фонем можно, естественно, не связывать с возникновением корреляции твердых и мягких согласных. Одновременное рассмотрение

истории палатальных сонорных и истории корреляции твердых и мягких согласных часто основывается лишь на терминологической путанице, при которой не различается палатальность (место образования) и палатализованность (признак окраски). В принципе, однако, можно считать, что в части славянских диалектов *l̃* совпало с *l*, *ñ* совпало с *n* (равно как и *r̃* с *r*) в результате отдельного фонетического изменения. Поскольку палатальные сонорные были дистрибутивно ограничены положением перед передним гласным, они в ходе последующего развития, после развития корреляции твердых и мягких согласных, дали рефлексы *l'*, *n'*, представленные в современных славянских языках, обладающих оппозицией твердых и мягких. При такой трактовке никаких сложностей с относительной хронологией не возникает, слияние палатальных сонорных с непалатальными может сколь угодно сильно предшествовать возникновению корреляции твердых и мягких, и единственным ограничением для этого слияния оказываются начальные моменты распада общеславянского языкового единства. Действительно, изоглосса, разделяющая диалекты, сохранившие противопоставление палатальных и непалатальных сонорных (сербохорватский, македонский, словенский, в реликтовой форме словацкий и чешский), и диалекты, утерявшие это противопоставление, четко располагается в современном славянском лингвогеографическом пространстве, что указывает на разделение, имевшее место после расселения славян и начала процессов дезинтеграции языкового единства.

Формально такое решение может быть удовлетворительным, однако оно игнорирует то важное обстоятельство, которое имел в виду Дурново, создавая свое построение: наличие палатальных сонорных находится в зависимости (обратной) от существования корреляции твердых и мягких — там, где сохранились палатальные сонорные, отсутствует корреляция по мягкости. Такая зависимость побуждает постулировать причинно-следственные отношения. Поскольку исчезновение палатальных сонорных никаким образом не могло обусловить появление корреляции по мягкости у согласных в целом (скажем, у шумных), естественно думать, что именно появление корреляции по мягкости привело к исчезновению палатальных сонорных. Propter hoc

означает post hoc. Из этого и исходил Дурново, рассматривая общее смягчение согласных как процесс, предшествовавший исчезновению палатальных сонорных или совпадавший с ним по времени. Поскольку исчезновение палатальных сонорных он датировал доисторическим периодом, он должен был к тому же периоду отнести и смягчение согласных. Противоречия, к которым это его приводило, были разобраны выше.

Эти противоречия не возникают, если рассматривать установление корреляции твердых и мягких согласных как последствие падения редуцированных, общеславянского (и общевосточнославянского) процесса, накладывавшегося на специфику дифференцировавшихся к этому времени славянских диалектов. Возникновение корреляции обусловлено появлением оппозиции твердых и мягких в конце слова и перед согласным в результате исчезновения следовавших за ними гласных: /tverdъ — tverdь/ → /tverd — tverd’/; появление этой оппозиции в конце слова приводит к рефонологизации сочетаний согласных с гласными в других позициях: фонетические последовательности [t’ä] vs. [ta] перестают интерпретироваться как /tä/ vs. /ta/ и начинают восприниматься как /t’a/ vs. /ta/. Совпадение палатальных сонорных с палатализованными естественно рассматривать как одно из последствий этой перестройки фонологической системы: тройное противопоставление /*l*, *n* — *l̃*, *ñ* — *l’*, *n’*/ оказывается для системы слишком большой нагрузкой. Там, где корреляция по мягкости не возникает, нет причин и для устранения палатальных сонорных. При таком построении, однако, совпадение палатальных и палатализованных сонорных не могло иметь места ранее конца XII в. (см. сходное с изложенным построение: Шевелов 1979, 179—181). Такая датировка входит в противоречие с предложенной Н. Н. Дурново интерпретацией правописания рукописей XI—XII вв. и требует нового анализа рукописного материала.

2. При интерпретации обозначений палатальных сонорных необходимо иметь в виду, что особые знаки для них в славянской азбуке (как глаголической, так и кириллической) отсутствовали. Н. С. Трубецкой полагал, что св. Константин-Кирилл не изобрел особых букв для этих фонем (несмотря на последовательно фо-

нологический характер созданного им алфавита), поскольку он ассоциировал их с греческими палатальными согласными. В греческом же такие согласные были свойственны народному произношению (результат слияния согласного с передней гласной) и с точки зрения образованных книжников оказывались приметой социально ущербного узуса. Это восприятие св. Кирилл мог переносить и на славянскую почву, отказываясь обозначать «vulgäre Nuances der Volkssprache» отдельными буквами (Трубецкой 1954, 30—31)[1].

Каковы бы ни были причины отсутствия особых букв для палатальных сонорных в стандартной азбуке, оно обусловливало ряд специфических моментов в употреблении применявшихся для их обозначения знаков. Типологически эта ситуация тождественна той, которая имеет место в русской письменности XIV—XVII вв. с обозначением оппозиции /ô/ и /ɔ/ (см. о последней: Зализняк 1990, 1—5, 27). Прежде всего, способы обозначения маркированного члена оппозиции не унифицированы. В случае двух *о* /ô/ может обозначаться ѡ, ѻ широким, о узким или *о* с каморой (Зализняк 1985, 208—211; Зализняк 1990, 1—5). В случае палатальных сонорных также фигурируют и особая форма букв, и диакритики: палатальные сонорные могут обозначаться ԓ, ԋ (л и н с крючком), надстрочным знаком (каморой или точкой) и, наконец, написанием йотированной гласной буквы после палатального. Стоит отметить, что один и тот же писец мог пользоваться более чем одним способом обозначе-

---

[1] Г. Лант предпочитает думать, что отсутствие знаков для палатальных сонорных в азбуке, созданной Кириллом, было обусловлено тем, что в македонском диалекте, на который ориентировался Кирилл, палатальные совпали с непалатальными. Это позволяет спасти тезис о последовательной фонологичности первоначальной глаголицы и продолжать считать, что «for Cyril, the relation of phoneme to letter was almost a one-to-one correspondence» (Лант 1949, 41). Не обсуждая сейчас вопрос о том, какие трудности создает такой тезис для македонской исторической фонологии, замечу, что нет никаких оснований приписывать св. Кириллу установки лингвиста-фонолога, озабоченного адекватным воспроизведением фонологической системы. Отступления от фонологического принципа были и в греческой азбуке, и вряд ли св. Кирилл ощущал их как недостаток. Такого же рода отступления он мог допустить и для азбуки славянской.

ния палатальных (например, во втором почерке Архангельского евангелия пишутся и ӆ, ӊ, и йотированное ѥ). Набор способов обозначения оказывается индивидуальным параметром (или, возможно, особенностью отдельных писцовых школ, для установления которых сохранившиеся рукописи XI—XII вв. явно не дают достаточного материала), так что нет возможности считать какой-либо способ обозначения стандартным и интерпретировать отклонения от него как фонетически значимые. В частности, во втором почерке Архангельского евангелия для обозначения палатальных употребляется ѥ, но не употребляется ꙗ, и из этого никак не следует, что в произношении писца, как думал Дурново, исследуемая оппозиция сохранялась перед /е/, но нейтрализовалась перед /ä/; можно лишь констатировать, что писец употребляет ѧ и ꙗ как синонимические буквы, т. е. следует практике, хорошо представленной в рукописях XI—XII вв. (например, во втором почерке Типографского устава), отражающей известный восточнославянский переход /ę > ä/ и никакой иной фонетической информации не сообщающей (ср. Лант 1949, 83). Таким же образом обстоит дело и в основном почерке Выголексинского сборника, в котором также ѥ применяется для обозначения палатальных, а ꙗ не применяется.

Все эти способы обозначения выучивались — в отличие от букв, входивших в азбуку — не при обучении грамоте (чтению по складам), а в качестве специальных профессиональных навыков (предположительно в скрипториях), поэтому одни писцы владели ими, а другие не владели. Обозначение палатальных сонорных было специальным умением, не необходимым для работы переписчика. Многие писцы палатальные сонорные вообще никак не обозначали, и это вовсе не свидетельствует о том, что соответствующей оппозиции не было в их живом или книжном произношении. Абсолютно неправомерно поэтому утверждение Н. Н. Дурново о том, что оппозиция палатальных и непалатальных сонорных была актуальна для южнорусских (т. е. украинских), но не для севернорусских писцов, обоснованное тем, что «в севернорусских минеях конца XI в. общеславянские смягченные и полусмягченные *л*, *н* перед *е* не различаются» (1924, 149 / 2000, 143). Единственный вывод, который можно сделать на этом основании, состоит в том, что писцов новгород-

ских миней 1095—1097 гг. не научили обозначать палатальные сонорные: писцы этих рукописей вообще не отличаются высокой квалификацией. Известную аналогию этому можно видеть в употреблении букв **є** и **ѥ**. В азбуке **ѥ** тоже отсутствует, поэтому отдельные писцы употребляют эту букву и пишут /e/ — **є**, /je/ — **ѥ**, а другие писцы эту букву не употребляют и обходятся вообще без **ѥ** (например, писцы так наз. новгородской минеи 1095 г.). Это, конечно же, не значит, что они произносили [moe], а не [moje].

Поскольку обозначение палатальных не было обязательным вообще, оно не было обязательным и в пределах отдельной рукописи. В каком-то числе случаев писец мог не прибегать к особому способу обозначения, а писать попросту. Аналогией может служить непоследовательность в написании *ё* в современном русском языке — у тех носителей, которые употребляют эту букву. Как и все обозначения, связанные с дополнительными орфографическими правилами (не определявшимися азбукой), фиксация палатальных сонорных подчиняется принципу факультативности и характеризуется коэффициентом выраженности (тем параметром, который ввел А. А. Зализняк для способов фиксации /ô/ — Зализняк 1990, 14—21). Коэффициент выраженности — это отношение числа фиксаций к числу всех релевантных случаев, в которых мог стоять фиксируемый элемент. Например, в Мстиславовой грамоте палатальные сонорные обозначаются йотацией следующего гласного. Фиксируются три случая: **донѥлѣже**, **осеньнѥѥ**, **въ нѥ**. В одном случае палатальный не обозначен: **оу него**. Коэффициент выраженности составляет ¾, т. е. 75%.

В принципе, следует поставить вопрос о том, при каком коэффициенте выраженности можно говорить, что в рукописи отражается фонологическое противопоставление живого языка. Однозначный ответ здесь вряд ли возможен, однако в ряде рукописей XI—XII вв. этот коэффициент достаточно высок. Например, он превышает 50% в основном почерке Синайского патерика (Голышенко 1987, 55—60), превышает 92% в Цветной триоди XI—XII вв. (РГАДА, ф. 381, №138 — данные В. С. Голышенко, там же, 75—82). Отметим, что картина передачи противопоставления палатальных и непалатальных сонорных

существенно отличается в рукописях XI—XII вв. от картины передачи противопоставления носовых и неносовых гласных. Даже неадекватные попытки передачи последнего противопоставления для рукописей XI—XII вв. представляют исключительный случай (если отвлечься от фрагментов, он представлен только в Остромировом евангелии); как правило, графическое противопоставление, присущее протографам, но не находящее соответствия в фонологической системе писца, не передается и консервируется лишь в окказиональных реликтовых написаниях. С противопоставлением носовых и неносовых гласных такая ситуация складывается даже при том, что алфавит содержит специально обозначающие их буквы, выучивавшиеся при обучении чтению[2]. Обозначение палатальных приобретает такой характер лишь в рукописях XIII в., тогда как многие памятники XI—XII вв. обнаруживают вполне сознательную установку на передачу оппозиции палатальных и непалатальных сонорных; одной из манифестаций этой установки и является достаточно высокий коэффициент выраженности[3]. Таким образом, ситуа-

---

[2] Для **ѧ** подсчеты затруднены тем обстоятельством, что эта буква приобретает в восточнославянской письменности функцию стандартного обозначения фонемы /ä/ после согласной и в этом качестве употребляется, естественно, и в тех формах, которые содержат этимологическое *ę. Коэффициент выраженности в этом случае близок к случайному вероятностному распределению. Более показательны данные для **ѫ**; во многих рукописях коэффициент выраженности здесь ничтожен.

[3] Понятно, что такая сознательная установка обнаруживается не во всех рукописях. Как уже было сказано, есть рукописи, в которых никакие обозначения для палатальных сонорных не употребляются. К этой категории ближайшим образом примыкает та группа памятников, в которых появляются окказиональные обозначения палатальных сонорных. Например, в ряде почерков Учительного евангелия XII в. (ГИМ, Син. 262) палатальные сонорные обозначаются с помощью йотированных **ꙗ**, **ѥ**, однако такие обозначения единичны (Голышенко 1987, 85—87); хотя «ошибочные» написания, т. е. употребление букв **ꙗ**, **ѥ** после непалатальных сонорных, практически отсутствуют, сознательная установка писца на передачу интересующей нас оппозиции, видимо, не просматривается. Такую же ситуацию наблюдаем в первом почерке ноябрьской Минеи конца XI — начала XII в. (ГИМ, Син. 161). Мы находим в ней 21 случай обозначения /*l̃*/ и /*ñ*/ с помощью **ѥ**, **ꙗ**: **доблѥсти** (**ѥ** исправлено и **и**) 7, **колѣблѥми**

ция с обозначением палатальных сонорных в рукописях XI—XII вв. существенно отличается от ситуации с обозначением носовых гласных, и это может служить указанием на то, что в данный период различение палатальных и непалатальных сонорных на письме было основано на фонологической оппозиции, присущей живому языку.

3. Коэффициент выраженности — лишь один из показателей реальности оппозиции. Другой — по крайней мере, столь же важный — это случаи ошибочного написания, т. е. употребления маркированного знака там, где ему не место. Если таких ошибок много, очевидно, что писец употребляет соответствующие знаки (например, **л҄**, **н҄**) без системы, не знает, где их ставить. Ему известна орфографическая практика, фиксирующая палатальные сонорные, и он стремится ее имитировать, однако справиться с различением палатальных и непалатальных сонорных он не в состоянии. В этом случае скорее всего его орфографические опыты не поддержаны фонологическими характеристиками живого языка, а обусловлены лишь подражанием престижному правописанию.

Этот критерий нередко используется исследователями, однако его применение невозможно без ряда существенных оговорок. Прежде всего следует помнить, что, употребляя обозначе-

---

21 об., **ѡгнѥдъхновена** 40 об., **вьселѥнѣи** 61, **бес тьлꙗ** 75, **емманоуилꙗ** (Acc. sg.) 75, **нынꙗ** 76, **вьселѥноую** 77, **ѡскърблꙗѥма** (Acc. sg. masc.) 84 об., **томителꙗ** (Acc. sg.) 87, **покланꙗти сѧ** 91, **ис тьлꙗ** 93, **дателꙗ** (Acc. sg.) 96, **матерьнꙗма** 101 об., **плѣнѥниꙗ** 104 об., **въ послѣдьнꙗꙗ** 104 об., **въподоблѥниꙗ** 130, **раздаꙗтелꙗ** (Acc. sg.) 141 об., **молѥнии** (**ѥ** исправлено из **и**) 145 об., **древлѥ** 160 об., **благословлѥна** 167. Ошибочные написания отсутствуют: в **ѡгнѥдъхновена** /*ñ*/ закономерно появляется в результате ассимиляции с /*γ*/ (ср.: Васильев 1913), **емманоуилꙗ** представляет собой заимствование, прозношение которого писец не мог проверить с помощью разговорных речевых навыков. Остается неясным, возникает ли такая картина в силу того, что писец, умеющий в принципе обозначать палатальные сонорные, относится к этому занятию с полным пренебрежением, или в силу того, что он окказионально воспроизводит правильные формы из переписываемого им оригинала, в котором обозначение палатальных сонорных проводится достаточно последовательно.

ния для палатальных сонорных, писец — если он опирается на свое произношение — обращается к своему живому языку, т. е. к тому, как звучит записываемая им форма в его живой речи. В этом случае он руководствуется правилом типа: «там, где слышится /l̃/, пишется **ԓ**; там, где слышится /ñ/, пишется **ӊ**». Для того чтобы таким правилом воспользоваться, писец должен иметь возможность к нему прибегнуть, т. е. в его речи должна реально слышаться та форма, правописание которой он выясняет. Если искомая форма в живом языке не употребляется (или не выводится простым образом из употребляемых в живом языке форм), писец свое правило применить не может. «Ошибки» писца должны определяться относительно его гипотетического разговорного узуса, а не относительно этимологии, которую писец не знал и которая его не интересовала. Зависимость воссоздаваемой картины от выбора точки отсчета может быть весьма ощутительной.

Так, например, В. С. Голышенко полагает, что в говоре основного писца Синайского патерика оппозиции /l — l̃/ и /n — ñ/ слились с оппозициями /l — l'/, /n — n'/. Об этом, на ее взгляд, свидетельствуют «как единичные случаи графического обозначения бывшей полумягкости согласных [т. е. употребление обозначений для палатальных сонорных на месте непалатальных сонорных. — *В. Ж.*]... так и значительно чаще представленные в СП[1] случаи необозначения исконной мягкости» (Голышенко 1987, 95). О неосновательности последнего аргумента уже было сказано выше. Для того чтобы оценить первый аргумент, нужно обратиться к примерам. Количественно они немногочисленны, так что процент ошибок относительно случаев правильного употребления невысок и на путаницу в письменных навыках писца не указывает. Их состав следующий:

перед *и*: **въ мънозѣ оуныӊии** 120.5, **истиӊии** 161 об.15;
перед *ь*: **добродѣтеԓьмъ** 176 об.11, **ковъкаԓь** 10.6, **ковькаԓь** 36.14, **иԓ҃ь** 108.6, **зоиԓь чьтьць** 117 об.10, **соун҄каԓь** 89.4, **не въӊимаше** 149.18, **съӊьмъ** 168 об.12, **ѳелоӊь** 117 об.15, 118.1 (Голышенко 1987, 61).

Легко видеть, что большинство из этих примеров ошибками в уточненном выше понимании назвать нельзя. Прежде всего,

слова **ковъкаль**, **ил҃ь**, **зоиль**, **соун̾каль**, **ѳелонь** являются заимствованиями книжного характера, которые в разговорной речи не встречались, а поэтому проверке не поддавались и могли писаться произвольно; писец мог при этом руководствоваться аналогией, рассматривая существительные м. рода на *-ль* по типу имен с суффиксом *-telj-*. Ряд слов можно считать определенно книжными, также в разговорной речи не встречавшимися. Таковы слова **добродѣтель** и **съньмъ**, возможно, еще и **оуньıниѥ** и **вънимати**. Очевидно, что, не находя в своем разговорном узусе такого слова, как, например, **добродѣтель**, писец мог пренебречь его родовой характеристикой и дать его в той же форме, которая была ему привычна по многочисленным именам с суффиксом *-telj-*. Если исключить эти примеры, то остается лишь одна настоящая ошибка: **истинии**; учитывая достаточно большой объем рукописи, одной ошибкой можно пренебречь, рассматривая ее как случайную описку. При такой интерпретации Синайский патерик превращается в памятник, в котором вполне последовательно проведено противопоставление палатальных и непалатальных сонорных, памятник, указывающий не на нейтрализацию разбираемой оппозиции в говоре писца, а, напротив, дающий основания думать, что писец проверял написание с помощью своего живого произношения.

4. Как уже говорилось, реальность фонологического противопоставления, стоящего за графическим различием, соотносится с коэффициентом выраженности. При этом, однако, должен учитываться характер рукописи. Следует различать те случаи, когда графическая передача исследуемого противопоставления может быть приписана данной рукописи, и те, в которых эту передачу можно отнести на счет оригинала, с которого данная рукопись переписывалась. В первом случае даже относительно невысокий коэффициент выраженности свидетельствует о фонологической реальности противопоставления, поскольку единственным источником фиксации может быть лишь сам писец. Вопрос состоит только в том, руководствуется ли он при этом своим произношением или орфографическими правилами, которые на произношение не опираются. Последний случай легко обнаруживается, поскольку, не обращаясь к произноше-

нию, писец может фиксировать различие лишь в ограниченном числе классов форм, подчиняющихся простым правилам. В случае палатальных сонорных такими классами могут быть формы имперфекта, косвенные падежи местоимения *и*, формы с *l* epentheticum; нет оснований предполагать, что писцы осваивали правила, позволяющие справиться с правописанием отдельных, не входящих в простые категории форм[4]. В силу этого, в частности, обозначение палатальных сонорных в Мстиславовой грамоте с

---

[4] Н. Н. Дурново, выдвигая тезис о нефонологическом характере обозначения палатальных сонорных в русских рукописях XI—XII вв., несколько раз пытался сформулировать те правила, которыми мог бы руководствоваться восточнославянский писец. В «Очерке» он пишет, что правильность в обозначении палатальных «в значительной степени объясняется тем, что эти буквы встречались в определенных категориях слов, которые нетрудно было запомнить: *н* с крючком — в косвенных падежах местоимения *и* с предлогами: *съ нимь* и т. п., в прилаг. *господьнь*, в существительных на *ня* или *ни*, *л* с крючком — после губных в конце основы и у существительных на *ля*, кроме того, те памятники, которые употребляли эти буквы также перед юсом малым, могли руководиться правилом, что они пишутся в глаголах на -*няти* и -*ляти*» (Дурново 1924, 145 / 2000, 140). В работе о «смягченных согласных» в Архангельском евангелии он приводит несколько другой набор: «Для большинства случаев, в которых в старославянском были звуки *ĺ*, *ń*, орфографическое правило о правописании **ԓ**, **ԋ** (л̑, н̑) или **лѥ**, **нѥ**, **лꙗ**, **нꙗ** было нетрудным: *ĺ* являлось после губных перед суффиксальными гласными (**възлюблѥнъ**, **землꙗ**, **крѣпԓии**, **оставԓь**, но **влекоу**), *ń* в формах местоимения **и** с предлогами (**оу нѥго**, **за нꙗ**, **съ ԋими**, **въ ԋь**); кроме того, *ń*, *ĺ* в глаголах 1-го спр. на -*яю*, -*ю* (**оумоԓаю**, **глаголѥши** и пр.), в причастиях на -*енъ* (**възбранѥнъ** и пр.), в отглагольных существительных на **-ѥниѥ** (**заколѥниѥ** и пр.), в имперфектах на -*яахъ* (**хранꙗахъ**, **оумолꙗахъ**) и пр. Для того, чтобы усвоить это правило, не было надобности в знании грамматики» (1924а, 599—600/2000, 355). Очевидно, чтобы добиться последовательно правильных написаний, писец должен был бы запомнить категории, входящие как в первый, так и во второй список. Сомнительно, что восточнославянские писцы пользовались столь обширными наборами правил. Если бы правописание определялось правилами, следовало бы ожидать, что число ошибок будет находиться в зависимости от сложности правила (как это имеет место в новгородских рукописях, стремящихся различать **ц** и **ч**, — см. Живов 1984); в правописании палатальных сонорных такой зависимости не наблюдается.

коэффициентом выраженности 75%, и при этом в формах, для которых, видимо, не было общего правила (например, **доньлѣже**), может считаться вполне достоверным свидетельством того, что писец этой грамоты отличал палатальные сонорные в своем произношении. Это позволяет утверждать, что палатальные сонорные сохранялись в живом произношении по крайней мере еще в начале XII в. (учитывая характер текста, вряд ли возможно считать, что писец Мстиславовой грамоты ориентировался в своем правописании на книжное произношение).

Свидетельства сохранения палатальных сонорных могут быть найдены, впрочем, и для еще более позднего времени. Таким свидетельством может служить Троицкий сборник конца XII — начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. лавры 12 — цит. по изд. Поповски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пандекты Антиоха. Как установил Н. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989а, 120—134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно со старейшей рукописи Пандектов — ГИМ, Воскр. 30 XI в. (цит. по изд. Поповски 1989б), так что соответствующие рукописи представляют собой древнейшую в славянской письменности пару антиграф-апограф. Эта пара позволяет увидеть, как писцы конца XII — начала XIII в. преобразовали правописание копировавшейся ими рукописи XI в., приводя его в соответствие с орфографическими нормами своего времени. Стратегии разных писцов Троицкого сборника, общие характеристики вносившихся ими исправлений (такие, как устранение элементов одноеровой орфографии, перестановка еров и **р**, **л** в сочетаниях редуцированных с плавными, замена **ж** на **оу** или **ю** и т. д.), равно как индивидуальные черты каждого из писцов, требуют особого анализа. Один момент, однако, имеет непосредственное отношение к обсуждаемой проблематике.

В рукописи Воскр. 30 палатальные сонорные никак не обозначаются, в рукописи Троицк. 12 один из писцов использует для обозначения палатальных сонорных **ь**. Таким образом, в рукописи Троицк. 12 обозначения палатальных сонорных появляются вне зависимости от оригинала и, следовательно, могут быть приписаны данной рукописи. И рукопись Троицк. 12, и Воскр. 30 написаны несколькими писцами, орфографические

навыки которых в ряде моментов не совпадают. Приводимые ниже примеры берутся из части, написанной первым писцом Троицк. 12, переписывавшим Пандекты[5]. На его долю выпала переписка текста, написанного двумя писцами Воскр. 30 — А и В по обозначению И. Поповского (1989а, 69). Писец А практически не использует **ѥ** (лишь в единичных случаях **ѥ** появляется в начале слова и после гласной), тогда как писец В употребляет **ѥ** чрезвычайно широко как в начале слова и после гласных, так и после согласных, вне зависимости от их качества. Переписывая текст писца А, первый писец Троицк. 12 вводит **ѥ** в начале слова, после гласных и после палатальных сонорных, переписывая же текст писца В, он, напротив, устраняет написания **ѥ** после согласных, кроме палатальных сонорных. Приведу примеры, предпосылая им корреспондирующие формы из рукописи Воскр. 30 (использованы указанные выше издания; для примеров из Троицк. 12 указывается лист и строка; для примеров из Воскр. 30 глава и стих в соответствии с членением, данным И. Поповским):

Воскр. 30 — А	Троицк. 12
г҃лемъ P: 1.5	**г҃лѥмъ** 64.16
г҃лемъıꙗ P: 2.4	**г҃лѥмъıꙗ** 64.20
прѣстоуплениꙗ P: 3.13	**прѣстоуплѥниꙗ** 65 об.1
оустрьмлениꙗ 6: 1.24	**оустрьмлѥниꙗ** 66.9—10
зане 6: 1.36; 6: 1.85; 23: 4.31; 24: 8.2	**занѥ** 66.21; 67.12; 70 об.22; 72 об.9
вьнегда 6: 1.40	**вънѥгда** 66.23
рачителе Nom. pl. 6: 1.58	**рачителѥ** 66 об.13
ѿемлемь 7: 2.23	**ѿѥмлѥмъ** 68 об.3
ближьнѫмоу 11: 4.1	**ближьнѥмоу** 69.9
заеметь 11: 5.2; 11: 6.2	**заѥмлѥть** 69.15—16; 69.17

[5] Границы этого почерка определены Н. Б. Тихомировым: «С середины л. 64, где Прологом из Пандект Антиоха черноризца начинается 2-ая часть сборника... появляется новый почерк — первый почерк 2-ой части ... С л. 67 в этом почерке начинают появляться вкрапления нового почерка (второго во 2-ой части). Им писан текст на лл. 67 (7 строка снизу) — 68 (3 св.), 70 (с заголовка — 7 св. — до конца страницы), 75 об. (10 св.) — 79 (8 св.), 81 об. (вся страница), 86 об. (10 св.) — 87 об. (6 св.). На л. 88 (9 св.) первый почерк кончается, и далее текст пишется вторым почерком» (Тихомиров 1968, 128—129).

ѿ него 11: 11.13	**ѿ нѥго** 69 об.22—23
въ немь 11: 11.14	**въ нѥмь** 70.1
вьзлюбении 23: 11.2	**възлюблѥнии** 71 об.3—4
молениемъ 24: 2.6	**молѥниѥмь** 72.10
отъ неѩ 24: 2.8	**ѿ нѥꙗ** 72.12
хоуление 24: 15.4	**хоулѥниѥ** 73.8
молеве Nom. pl. 25: 8.1	**молѥве** 74.7
въ неи 25: 9.3	**въ нѥи** 74.13
вь неи 25: 10.8	**въ нѥи** 74 об.1—2
моленье 25: 10.17	**молѥниѥ** 74 об.9
молениꙗ 25: 10.27	**молѥниꙗ** 74 об.16
бл҃гние 25: 13.2	**благословлѥниѥ** 75.2
гн҃е 25: 13.2	**гн҃ѥ** 75.2
озълобенъ 25: 16.4	**ѡзлоблѥнъ** 75.15
молениѭ 25: 16.16	**молѥнию** 75 об.4
ославено 25: 16.17	**ославлѥно** 75 об.5

Воскр. 30 — В	Троицк. 12
отъ нѥго 27: 1.20	**отъ нѥго** 79 об.1
понѥжѥ 27: 6.3; 35: 4.1	**понѥже** 79 об.18; 87 об.15
оудавѥниꙗ 27: 7.3	**оудавлѥниꙗ** 80.4
вьзлюбении 27: 8.9	**възлюблѥнии** 80.12
оумилѥниѥмъ 27: 12.3	**оумилѥниѥмь** 80 об.9—10
зане 27: 14.33	**занѥ** 82 об.15
възлюбѥнии 27: 15.1; 33: 14.1	**възлюблѥнии** 82 об.23; 86.10—11
ославенааго 27: 19.2	**ославлѥнаго** 83.20—21
къ нѥмоу 27: 19.8	**къ нѥмоу** 83 об.3
гл҃еть 32: 5.3; 33: 11.1	**гл҃ѥть** 84.13; 86.1
сълѥть 32: 7.1	**сълѥть** 84.18
порабѥнъ 33: 1.15	**порабльнъ** 85.20
хранѥниѥмь 33: 1.18	**хранѥниѥмь** 85.23
гл҃ѥть 33: 8.1	**гл҃ѥть** 85 об.18

В одном случае палатальный сонорный остается необозначенным:

гл҃еть 35:6.2	**гл҃еть** 88.2

Для части, переписанной первым писцом Троицк. 12 с текста, принадлежащего писцу В Воскр. 30, важны не только примеры, в которых появляется отсутствовавшее в антиграфе обозначение палатального сонорного, но и те — очень многочисленные

и совершенно последовательные — случаи, когда устраняется **ѥ**, поставленное писцом В после других согласных, в том числе сонорных. Приведу несколько примеров:

речѥ 27: 5.1	**рече** 79 об.13
вьсѥи 27: 14.30	**вьсеи** 82.14
себѥ 32: 9.2	**себе** 84.22
нѥ 32: 10.5	**не** 84 об.7
мѥнѥ 32: 10.7	**мене** 84 об.9

Ряд обозначений палатального сонорного встречается во фрагменте, оригинал которого утрачен: **молѥнию** 80 об.18, **волѥю** 80 об.19, **къ нѥмоу** 82.8, **молѥниѥ** 82.9, **поновлѥниѥ** 82.14, **гл҃ѥть** 82.15—16, 82.20, **занѥ** 82.18. В одном случае переписчик, вопреки своему обыкновению, заменяет форму с *l* epentheticum на форму без *l* epentheticum (обычно он делает прямо противоположную замену):

вьстꙗгновлениꙗ 7: 2.14	**въстѧгновениꙗ** 68.19

В одном случае **ѥ** в положении после согласного употреблено не после палатального сонорного:

зьлобꙋжшⷮеи 6: 1.41	**злобоующѥи** 66 об.1

Итак, в обследованной части коэффициент выраженности составляет $^{55}/_{56}$, или 98%, так что не может быть сомнения в том, что писец основывается на реальной фонологической оппозиции[6]. Совокупность примеров не разбивается на небольшое число простых классов и тем самым не может быть объяснена

---

[6] В отличие от **ѥ**, **ꙗ** в рассматриваемом фрагменте рукописи Троицк. 12 не может считаться способом обозначения палатальных сонорных. Во многих случаях, тем не менее, **ꙗ** после палатальных сонорных употребляется, причем как в соответствии с **ѧ** антиграфа, например:

Воскр. 30	Троицк. 12
ѭтрьнѧаго 6: 1.15	**оутрьнꙗго** 66.3
гл҃ѧ 11: 2.1	**гл҃ꙗ** 69.5
тьлѧ 11: 9.8	**тьлꙗ** 69 об.9,

так и в соответствии с **ꙗ** антиграфа, например:

как результат применения писцом простых правил. Таким образом устанавливается, что еще в конце XII — начале XIII в. оппозиция палатальных и непалатальных сонорных в восточнославянских говорах продолжала существовать. Поскольку в более поздних рукописях — второй половины XIII — XIV в. — палатальные сонорные вообще не обозначаются или их обозначения носят реликтовый характер, можно полагать, что палатальные сонорные как особые фонемы исчезают именно в конце XII —

възбранꙗи 6: 1.72	**възбранꙗи** 67.1
понавлꙗеть сꙗ 7: 2.1	**понавлꙗѥть сѧ** 68.10.
оскръблꙗи 25: 10.2	**ѡскьръ/блꙗи** 74.19

Однако **ꙗ** может употребляться и после других согласных, причем опять же как в соответствии с **ѧ** антиграфа, например:

помѧни 23: 4.4	**помꙗни** 70 об.23,
мѧ 25: 16.21	**мꙗ** 75 об.11
сѧ 25: 17.10	**сꙗ** 75 об.18

так и в соответствии с **ꙗ** антиграфа, например:

сꙗ 25: 17.2, 25: 17.3	**сꙗ** 75 об.12, 75 об.14

Возможны вместе с тем противоположные соотношения, т. е. появление **ѧ** вместо **ꙗ** после палатальных сонорных, например:

гл҃ꙗ 7: 2.33	**гл҃ѧ** 68 об.12,

равно как и после других согласных, например:

врѣмꙗ 11: 9.2	**врѣмѧ** 69 об.3.

Наконец, **ѧ** антиграфа после палатальных сонорных может переноситься в апограф без замены, например:

адамлѧ Р: 3.13	**адамлѧ** 65 об.1
оставлѧеми 27: 14.22	**ѡставлѧѥми** 82 об.8

Тем самым единственная функция, которая может быть приписана графеме **ꙗ**, — это обозначение фонемы /ä/, т. е. та же функция, что и у **ѧ**. Ситуация здесь аналогична той, которая наблюдается во втором почерке Архангельского евангелия и привела Н. Н. Дурново к необоснованным выводам. Как и в случае с Архангельским евангелием, никаких выводов о палатальных сонорных на основании употребления **ꙗ** сделать нельзя.

начале XIII в. Из этого и следует исходить при построении восточнославянской исторической фонетики.

5. Итак, рукописные данные, будучи последовательно интерпретированы, показывают, что нейтрализация оппозиции палатальных и непалатальных сонорных происходит в тот период, когда в восточнославянских говорах завершается процесс падения редуцированных (о датировке этого процесса см. Зализняк 1986, 122—124; Зализняк 1993, 241—270). Это означает, что палатальные сонорные исчезают тогда, когда появляется фонологическое противопоставление твердых и мягких согласных. О том, что оба эти процесса происходят после падения (и прояснения) редуцированных, говорят и материалы псковских говоров, собранные и проанализированные С. Л. Николаевым. По его наблюдениям, «специфической чертой псковских говоров, а точнее тех говоров, которые расположены на старой псковской территории, является переход **ь > е* либо *ы* и **ь > 'и* перед мягкими сонантами, причем только перед теми, которые были исконно мягкими в праславянском... либо смягчились в положении перед *j* после падения редуцированных в данной позиции (например, в распространенном суф. **-ьје*)» (Николаев 1988, 121). Примерами могут служить рефлексы **о-dьnьје* типа *адэ́нье*, **vъ-dъlјь* типа *вдыль*, **gъlјьkъ* типа *гылёк* и т. д. (там же, 122—123). Это специфическое развитие *ь* не имело места перед палатализованными сонантами (т. е. перед непалатальными сонантами в положении перед передней гласной), например, «**оgъnь* со вставным -*ъ*-... всегда дает формы с -*о*-» (там же, 125). Отсюда следует, что в момент прояснения редуцированных (т. е. заведомо позднее падения слабых редуцированных) оппозиция палатальных и непалатальных сонорных сохранялась. Сонант же в рефлексах типа *адэ́нье* имел особый характер, поскольку после падения редуцированного в последовательности -*nьј*- он делался палатальным в результате ассимиляции с *j*. Таким образом, после падения и прояснения редуцированных палатальные сонорные продолжают существовать и возникает тройное противопоставление /*l*, *n* — *l̃*, *ñ* — *l'*, *n'*/; именно его упрощение, которое можно датировать концом XII — началом XIII в., и приводит к устранению палатальных сонорных.

Можно было бы считать, что данный вывод исчерпывает тему, если бы не одно частное обстоятельство, которое нуждается в дополнительном комментарии. Говоря о палатальных сонорных, мы рассматривали исключительно /*l̃*, *ñ*/, тогда как /*r̃*/ (из **rj*) никак не упоминалось. Это неравенство обусловлено тем обстоятельством, что в восточнославянских рукописях /*r̃*/ практически никогда не обозначается. Восточнославянские рукописи отличаются в этом отношении от старославянских (точнее, от Зографского евангелия), в которых знак палатальности (камора) может стоять как над /*l̃*, *ñ*/, так и над /*r̃*/. Хотя в Зографском евангелии /*r̃*/ обозначен менее последовательно, чем /*l̃*, *ñ*/ (а в Супрасльской рукописи вообще не обозначается — в отличие от /*l̃*, *ñ*/), существование этих обозначений дает основание говорить о том, что по крайней мере в части болгарских и македонских диалектов наряду с фонемами /*l̃*, *ñ*/ имелась и фонема /*r̃*/. Отсутствие специальных обозначений для /*r̃*/ в восточнославянских рукописях, отмечающих /*l̃*, *ñ*/, свидетельствует, напротив, о том, что в восточнославянских диалектах, сохранивших фонемы /*l̃*, *ñ*/, фонема /*r̃*/ была утрачена, т. е. совпала с /*r*/.

Именно на такое развитие указывают данные второго почерка Остромирова евангелия. Палатальные /*l̃*, *ñ*/ обозначаются здесь с помощью последующей йотированной гласной **ѥ**, **ꙗ** и **ѭ**. Коэффициент выраженности высок, случаи, когда обозначение отсутствует, единичны (см. примеры: Козловский 1885—1895, 20). Несколько раз, однако, встречается и другое обозначение, а именно, **ԓ** (**л** с крючком), при этом в одном случае крючок может перемещаться (в перевернутом виде) на последующую гласную (см. о таких обозначениях: Голышенко 1987, 44). Всего в Остромировом евангелии пять таких написаний: **гԓѥши** 291г.17, **гԓѫ** 293г.4, 15, **възгԓѫть** 127г.3 и **правԓааше** 294в. 4 (Козловский 1885—1895, 17, 20). Естественно интерпретировать их как следы болгарского протографа, в котором употреблялось данное обозначение /*l̃*/ (скорее всего, также и /*ñ*/): писец Остромирова евангелия использовал другое обозначение, заменяя соответствующие знаки своего оригинала, в нескольких случаях, однако, он этой замены не сделал, повторив начертание оригинала. В четырех случаях аналогичные реликтовые обозначения появляются и для /*r̃*/: **лазаꙑа** 142в.13, 18, 143б.10, **сътворѫ** 166б.4

(Козловский 1885—1895, 17). И в отношении этих написаний можно предположить, что они восходят к более последовательному обозначению /*r̃*/ в болгарском протографе. Таким образом, в оригинале, который копировал писец Остромирова евангелия, были как обозначения /*l̃*, *ñ*/, так и обозначения /*r̃*/. Для /*l̃*, ñ/ писец употребляет иное эквивалентное обозначение, для /*r̃* /, однако, он подобного эквивалента не ищет и не употребляет. Наиболее вероятное объяснение состоит в том, что обозначения /*l̃*, *ñ*/ обладали для него фонетической реальностью и воспроизводились, тогда как обозначения /*r̃*/ такой реальностью не обладали и потому в большинстве случаев не воспроизводились. Это и означает, что в фонологической системе данного (восточнославянского) писца сохранялись фонемы /*l̃*, *ñ*/, но не сохранялось /*r̃*/.

Такое развитие может рассматриваться как естественное. Тенденция трактовать /*l̃*, *ñ*, *r̃*/ как единое целое, переживающее общие изменения, возникает из-за общности их происхождения из сочетаний сонорных с /*j*/ и из-за удобства описания, привычно помещающего три этих фонемы в одну рубрику. Между тем, если противопоставление /*l*, *n* — *l̃*, *ñ*/ широко распространено в языках мира, то противопоставление палатального и непалатального дрожащего (/*r* — *r̃*/) представляет довольно редкое явление. Можно утверждать, что если в языке есть противопоставление палатального и непалатального дрожащего, то в нем есть противопоставление других палатальных и непалатальных сонорных[7]. Эта синхронная универсалия коррелирует с диахро-

[7] Противопоставление по месту образования у дрожащих, или флепов (апико-альвеолярный и палатальный ретрофлексный, дентальный и палатальный) широко представлено в языках австралийских аборигенов, например, в Nyangumada (О’Грейди 1960), Gugu-Yalanji (Оатс 1964), Pitjantjatjara (Гласс и Хаккетт 1970), Gogo-Yimidjir (Цваан 1969), Kalkatungu (Блейк, б. д.). Во всех этих языках то же противопоставление по месту образования имеет место и у других сонорных (латеральных и носовых). Противопоставление дорсальных и апикальных дрожащих представлено в фонологической системе гуджарати (Савельева 1965), и в этом случае это же противопоставление имеется у носовых и щелевых сонантов. В то же время широко распространены языки, в которых противопоставление по месту образования (дентальный и палатальный, апикальный и

нической закономерностью: палатальный дрожащий является наиболее уязвимым элементом системы и при исчезновении палатальных сонорных исчезает не позднее (возможно, ранее), чем другие палатальные сонорные.

Эта закономерность реализуется и в истории славянских языков. Как было показано выше, есть основания предполагать, что /*r̃*/ совпало с /*r*/ ранее, чем /*l̃*, *ñ*/ с /*l'*, *n'*/, у восточных славян, причем эти совпадения были двумя разными, по-разному мотивированными изменениями. Утрата /*r̃*/ из **rj* имела место в сербохорватском, при том что /*l̃*, *ñ*/ здесь сохранились, так что и в этом случае совпадение /*r̃*/ и /*r*/ оказывается особым процессом, не имеющим отношения к судьбе других палатальных сонорных. Единственным славянским языком, в котором сохранились особые рефлексы **rj* (впрочем, не как палатального дрожащего, но в виде сочетания согласных /*rj*/), является словенский; показательно, однако, что и в нем при исчезновении палатальных сонорных в конце слова /*r̃*/ совпало с /*r*/ существенно раньше, чем /*l̃*, *ñ*/ с /*l*, *n*/ (Карлтон 1991, 312). Хотя утрата /*r̃*/ характеризует почти все славянские языки, нет оснований считать, что это общий для них процесс: устранение /*r̃*/ представляет собой типологически ожидаемое изменение, и поэтому в разных славянских ареалах оно может происходить вне связи одного процесса с другим. Таким образом, восточнославянские рукописи XI—XII вв. отражают реальное состояние фонологической системы, в которой наличествуют палатальные сонорные /*l̃*, *ñ*/, но отсутствует /*r̃*/[8].

ретрофлексный) представлено у носовых и/или щелевых сонантов, но отсутствует у дрожащих, или флепов. Из славянских к числу таких языков относится сербохорватский, многочисленные примеры находим в индо-арийских языках (сингальский, синдхи, маратхи, панджаби).

[8] Следует, в принципе, различать два процесса: утрату /*r̃*/ и диспалатализацию дрожащего сонанта перед передними гласными. Утрата /*r̃*/ состоит в том, что палатальный дрожащий перестает отличаться от дентального дрожащего, т. е. происходит смена места образования. Этот процесс характеризует почти все славянские диалекты. В результате /*r̃*/ переходит в /*r*/, поскольку во всех этиих случаях речь идет о позиции перед передним гласным, фонетически рефлексом палатального дрожащего оказывается [*r'*]. Артикуляция этого звука также может рассматриваться как

6. Подведем некоторые итоги. Адекватная интерпретация восточнославянских рукописей XI—XII вв. показывает, что в восточнославянских говорах в этот период сохранялось противопоставление палатальных и непалатальных сонантов /*l̃*, *ñ* — *l*, *n*/. Несмотря на то что обозначения для этих фонем отсутствовали в азбуке, различные способы их фиксации проведены в ряде восточнославянских рукописей XI—XII вв. с достаточной последовательностью. Это выражается, во-первых, в незначительном количестве неоправданных употреблений таких обозначений, когда знак палатальности поставлен при непалатальном сонорном, во-вторых, в высоком коэффициенте выраженности данной оппозиции, характеризующем ряд рукописей. Особенно показательно, что в Троицком сборнике конца XII — начала XIII в. обозначение палатальных сонорных, характеризующееся высоким коэффициентом выраженности, может быть отнесено к самой рукописи (к самостоятельной работе писца),

---

неудобная: «combination of the basic trilling articulation with the definitly non-trilleing palatalizing movement of the tongue», как описывает ее Г. Шевелов (1979, 192). Поэтому в части тех диалектов, которые утратили /*r̃*/, было затем утрачено и [*r'*] — либо в результате аффрикации (польский и чешский), либо в результате замены на [*r*] (болгарский, украинские и южнобелорусские говоры). Это последнее изменение распространялось как на рефлексы /*r̃*/ ([tvor'u > tvoru]), так и на рефлексы /r/ перед передним гласным ([r'iza > ryza]), и поэтому собственно к утрате палатального дрожащего отношения не имело. Это фонетическое преобразование, происходившее в разных диалектах в разное время, фонологически могло выглядеть как переход палатализованного /r'/ в непалатализованный /r/, если в диалекте существовала корреляция твердых и мягких согласных (например, в южнобелорусских говорах), или как замена последующей передней гласной на заднюю гласную, если корреляция твердых и мягких отсутствовала (сербские говоры). В ряде говоров, обладавших корреляцией твердых и мягких, палатализованное /r'/ изменениям не подверглось: дрожащий остался в числе парных по твердости-мягкости звуков (севернобелорусские и русские говоры). Неверно было бы поэтому противопоставлять, скажем, русские и украинские говоры по судьбе /*r̃*/ (как это делает Г. Шевелов (1979, 192), не различающий утрату /*r̃*/ и отвердение /r'/), различие между ними состоит в разной судьбе палатализованного /r'/ и, очевидно, возникает позднее времени, когда происходила утрата /*r̃*/.

а не к ее оригиналу. Это позволяет утверждать, что оппозиция /*l̃*, *ñ* — *l*, *n*/ была свойственна восточнославянской фонологической системе еще в то время, когда завершался процесс падения и прояснения редуцированных (конец XII в.).

В отличие от палатальных сонантов /*l̃*, *ñ*/, палатальный дрожащий /*r̃*/ в восточнославянских рукописях не обозначается. Можно полагать, что это обусловлено слиянием /*r*/ и /*r̃*/, которое было отдельным изменением, происходившим существенно раньше слияния /*l̃*, *ñ*/ с /*l'*, *n'*/ и вне зависимости от этого процесса. Устранение из фонологической системы палатального дрожащего мотивировано типологически периферийным статусом данной артикуляции как универсальным свойством языка. Следы обозначения /*r̃*/ обнаруживаются только в Остромировом евангелии, могут быть отнесены на счет южнославянского протографа и по типу фиксации ближайшим образом напоминают употребление знаков для /*l̃*, *ñ*/ в восточнославянских рукописях второй половины XIII — XIV в., т. е. того периода, когда эти фонемы были утрачены фонологической системой живого языка.

Эти данные говорят о том, что утрата палатальных сонорных /*l̃*, *ñ*/ совершается после падения редуцированных. В силу этого нет необходимости постулировать отдельный процесс так называемого «вторичного смягчения согласных», якобы имевший место до падения редуцированных, приведший к формированию корреляции палатализованных и непалатализованных согласных и тем самым мотивировавший слияние /*l̃*, *ñ*/ с /*l'*, *n'*/. Утрата палатальных сонорных /*l̃*, *ñ*/ в восточнославянских (и западнославянских) диалектах, действительно, мотивирована возникновением данной корреляции, однако ее возникновение следует рассматривать как результат падения редуцированных, после которого в конце слова (и перед согласным) твердость-мягкость фонологизируется, что обусловливает рефонологизацию этого противопоставления и в других позициях. Слияние /*l̃*, *ñ*/ с /*l'*, *n'*/ продиктовано стремлением преобразовать трехчленную оппозицию сонантов /*l*, *n* — *l'*, *n'* — *l̃*, *ñ*/ в двухчленную. Это преобразование осуществляется в конце XII — начале XIII в.

Литература

Блейк, б. д. — *Blake B. A.* Brief Description of the Kalkatungu Language. Unpublished manuscript. Canberra: Australian Institute of Aborigenal Studies, s. a.

Васильев 1913 — *Васильев Л.* Об одном случае смягчения звука n в общеславянском языке, являвшегося не посредством следующего за ним древнего j // Рус. филол. вестник, LXX (1913), 71—76. Цит. по: *Васильев Л.* Труды по истории русского и украинского языков. München: W. Fink Verlag, 1972. S. 449—454. (Slavische Propyläen; 94. Bd.).

Гласс и Хаккетт 1970 — *Glass A.*, *Hackett D.* Pitjantjatjara Grammar: A Tagmemic View of the Ngaanyatjara (Warburton Ranges) Dialect. Canberra, 1970. (Australian Aborigenal Studies; 34).

Голышенко 1987 — *Голышенко В. С.* Мягкость согласных в языке восточных славян XI—XII вв. М.: Наука, 1987.

О'Грейди 1960 — *O'Grady G. N.* New Concept in Nyungumada. Some Data on Linguistic Acculturation // Anthropological Linguistics. 2 (1960), 1. P. 1—6.

Дурново 1924 — *Дурново Н. Н.* Очерк истории русского языка. М.; Л.: Гос. изд-во, 1924.

Дурново 1924а — *Дурново Н. Н.* К истории звуков русского языка. II. Старославянские смягченные согласные в Архангельском Евангелии // Slavia. Roč. II. Seš. 4 (1924). С. 599—612.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Живов 1984 — *Живов В. М.* Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian Linguistics. 1984. Vol. 8, № 3. С. 251—293.

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М.: Наука, 1985.

Зализняк 1986 — *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М., 1986. С. 89—219.

Зализняк 1990 — *Зализняк А. А.* «Мерило праведное» XIV века как акцентологический источник. München: Otto Sagner, 1990. (Slavistische Beiträge; 266. Bd.).

Зализняк 1993 — *Зализняк А. А.* К изучению языка берестяных грамот // *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). М.: Наука, 1993. С. 191—321.

Карлтон 1991 — *Carlton T. R.* Introduction to the Phonological History of the Slavic Languages. Columbus, Ohio: Slavica Publishers, 1991.

Козловский 1885—1895 — *Козловский М. М.* Исследования о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности имп. АН, 1885—1895. С. 1—127.

Лант 1949 — *Lunt H. G*. The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts: Ph. D. Thesis. University microfilms. Columbia Univ., 1949.

Николаев 1988 — *Николаев С. Л.* Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования, 1986. М.: Наука, 1988. С. 115—154.

Оатс 1964 — *Oates L.* Distribution of Phonemes and Syllables in Gugu-Yalanji // Anthropological Linguistics. 6 (1964), 1. P. 23—26.

Поповски 1987 — *Popovski J.* Najstariji par antigrafa i apografa u slovenskoj pismenosti // Paleographie et diplomatique slaves, 1987. 3.

Поповски 1989а — *Popovski J.* Die Pandekten des Antiochus Monachus. Slavische Übersetzung und Überlieferung. Amsterdam; Nijmegen, 1989.

Поповски 1989б — *Popovski J.* The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription. — **Полата кънигописьнаꙗ**. 1989. January. № 23—24.

Поповски, Томсон, Федер 1988 — *Popovski J.*, *Thomson F. J.*, *Veder W. R.* The Troickij Sbornik (Cod. Moskva, GBL, F. 304 (Troice-Sergieva Lavra) № 12). Text in Transcription. — **Полата кънигописьнаꙗ**. 1988. February. № 21—22.

Савельева 1965 — *Савельева Л. В*. Язык гуджарати. М.: Изд-во вост. лит., 1965.

Тихомиров 1968 — *Тихомиров Н. Б*. Каталог русских и славянских пергаменных рукописей XI—XII вв., хранящихся в Отделе рукописей Гос. б-ки СССР им. В. И. Ленина. Ч. 3 // Записки Отдела рукописей ГБЛ. 1968. Вып. 30. С. 87—156.

Трубецкой 1954 — *Trubetzkoy N. S.* Altkirchenslavische Grammatik. Schrift-, Laut- und Formensystem. Wien: Rudolf M. Rohrer, 1954. (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Sitzungberichte; 228. Bd., 4. Abh.).

Цваан 1969 — *Zwaan J. D. de*. A Preliminary Analysis of Gogo-Yimidjir. Canberra, 1969. (Australian Aborigenal Studies; 16).

Шевелов 1979 — *Shevelov G. Y.* A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1979.

Въ плѣну у ангеловъ, на дикомъ брегѣ — ахъ!*

Я мог бы продолжить этот утешительный эпод и далее и придать своим чувствам к юбиляру стихотворную форму, однако многие годы лингвистического ученичества побуждают вернуться в привычную профессиональную сферу и заняться теми проблемами, которые имплицитно обозначены в первой строке прерванного эпода. Почему *плѣнъ*, но *брегъ*? Как хорошо известно, в обоих случаях мы имеем дело с рефлексами сочетаний праславянского краткого *ĕ* с плавными (сонорными), развивавшимися параллельно во всех славянских языках. У южных славян эти сочетания дают рефлексы с ятем типа *плѣнъ*, *брѣгъ*; у восточных славян полногласные рефлексы типа *полонъ*, *берегъ*. Разная орфографическая реализация неполногласных форм данного типа в русском правописании до 1918 г. восходит в конечном счете к процессу адаптации южнославянских форм в русском церковнославянском. В результате этого процесса в словах типа *брѣгъ*, *прѣдъ*, *врѣмя* и т. д. ѣ замещался на *е*, а в рефлексах сочетаний с *l* это замещение подобной регулярностью не отличалось, что и обусловило сохранение написания *плѣнъ* в дореволюционной орфографии. Соответственно возникает вопрос, что обусловило подобное отсутствие параллелизма.

Гипотезы, высказывавшиеся в этой связи, немногочисленны. Большинство авторов, описывавших данное явление, ограничи-

---

* Впервые напечатано: Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сб. к 70-летию Вяч. Вс. Иванова. М.: ОГИ, 1999. С. 777—791.

вались указанием на то, что в формах с рефлексами **er* происходит замещение яти на есть, что во многих рукописях по крайней мере с XII в. оно имеет систематический характер; попутно они иногда замечали, что в формах с рефлексами **el* подобного последовательного замещения не происходит. Можно полагать, что вопрос об отсутствии параллелизма не вставал перед ними прежде всего потому, что явления эти несопоставимы количественно: рефлексы **el* встречаются в полудюжине не слишком употребительных слов (*плѣнъ*, *шлѣмъ*, *члѣнъ*, *млѣко*, *плѣва*, *влѣщи*, *облѣчи*, *тлѣщи*), тогда как рефлексы **er* обнаруживаются во множестве, прежде всего в весьма распространенных в церковных текстах образованиях с приставкой *пре*-, равно как в предлогах *предъ* и *чрезъ*; ряд корней с этими рефлексами (*брег*-, *врем*-) также употребляется относительно часто.

А. А. Шахматов, не вдаваясь в лишние рассуждения, замечает просто, что «[п]утем заимствования из древнеболгарского, в значительном числе случаев через посредство церковного, книжного языка, в русский язык проникли сочетания ра, ла вместо оро, оло, и ре, ле (на месте древнеболгарских рѣ, лѣ) вместо ере, ело» (Шахматов 1915, 154). Замена яти на есть объясняется церковным произношением, хотя не уточняется, какие именно его особенности обусловили такую замену. Шахматов пишет: «В церковном произношении звук е передавал древнеболгарское ѣ: предъ, времꙗ, средоу, телесьныи, при тебе. Ср. се же ведьте Путенск. ев. 107, не вѣде 109, к себе 113, ни азъ повѣде вамъ 140, ωблеченъ 235; вѣде Быбельск. ап. 10, свѣде 27 об., въ себе 6 об.» (там же, 168). Шахматов, таким образом, рассматривает интересующее нас явление как частный случай смешения ѣ и *е* в книжной письменности, смешения, которое не может быть объяснено неразличением фонем /ě/ и /e/ в разговорном языке восточных славян и потому требует апелляции к особому церковному произношению, в котором «болгарское ѣ, произносившееся частью как ä, частью как а, передавалось через е» (там же, 162).

Совершенно очевидно, что подобное построение никак не объясняет той совокупности данных, которые представляют восточнославянские письменные памятники раннего периода (до второго южнославянского влияния). Если бы действовал

механизм, описанный Шахматовым, следовало бы ожидать, что в восточнославянских рукописях *ѣ* и *е* вообще различаться не будут. Ничего подобного, однако, не наблюдается: в большинстве восточнослававянских письменных памятников *ѣ* и *е* различаются вполне последовательно[1], и именно на фоне этого последовательного различения выделяется несколько категорий форм, в которых традиционное южнославянское написание с *ѣ* замещается на написание с *е*. Шахматов же соединяет под одной рубрикой окказиональные случаи смешения (такие, как *ведьте* или *повѣде*), написания отдельных форм, не совпадающих в книжном и некнижном языке (таких, как *тебе*, *себе*, *телесе*; ср. восточнославянские соответствия *тобѣ*, *собѣ*, *тѣла*) и случаи систематической адаптации определенной фонетической (resp. графической) последовательности.

Подробный анализ всех типов смешения дал Н. Н. Дурново, который исходил из очевидного, но тем не менее проигнорированного Шахматовым наблюдения, что «употребление *е* вместо *ѣ* в памятниках русского письма сводится или к единичным примерам при огромном количестве случаев правильного написания или к определенным категориям» (Дурново 1924–1927, VI, 39 / 2000, 468). К таким категориям Дурново относит, разделяя их по отдельным рубрикам, «неполногласные сочетания с *рѣ*» и «неполногласные сочетания с *лѣ*» (там же, 40). Среди обследованных им древнейших восточнославянских рукописей в сочетаниях первой категории «написания с *е* отсутствуют только в ОЕ, ГБ, ЧПс, ТЕ1 и У330; очень редко пишется *е* при обычном *ѣ* в ТЛ, ‹…› И73[1]» (там же). Во второй категории «[в] большей

[1] Неразличение *ѣ* и *е* известно в нескольких древних рукописях, таких как второй почерк Типографского устава (Сводный каталог 1984, №50), Стихирарь 1157 г. (там же, №100) или Софийская минея начала XII в. (там же, №63); такое неразличение, действительно, следует связывать с разной фонетической реализацией *ѣ* в книжном и разговорном произношении и отсутствием у писцов данных рукописей навыков соотнесения двух способов фонетической реализации, однако этот случай не типичен, требует более сложного концептуального аппарата, нежели предложенный Шахматовым, и в настоящих заметках может быть оставлен без внимания (см. об этом: Живов и Успенский 1984; Успенский 1987, 113—114).

части памятников в этом положении *е* не пишется, а пишется правильно ѣ; таковы ОЕ, ТЛ, И 73[1], И 73[2], ГБ, СПт, ПА, АЕ[1], У 142, ГЕ, ТЕ1, У 330, УС[2]; в единичных случаях написано *е* в ЧПс, ‹…› КИ:, пленениѥ 213 об. (ср. плѣна 109 об., плѣвьными 59 об., млѣка 84 об., млѣко 127), М 95: плевелы, пленениѥ, М 96: облекоста сѧ (при 7 случаях с ѣ); чаще *е* в М 97: влекома bis, привлече, звлече при более частом ѣ, и ЕК, где *е* в этом положении 5 раз, случаев с ѣ не менее 30; обычно *е* при редком ѣ в АЕ[2], МЕ, УС[1]» (там же, 40—41). Дурново находит в этих данных основание для того, чтобы противопоставить две рассматриваемые категории, замечая, что «[в] ряде рукописей, знающих *е* вместо ѣ в неполногласных сочетаниях после *р*, в таких же сочетаниях после *л* ‹…› пишется правильно ѣ. Таковы ГБ, ТЛ, И 73[1], И 73[2], ПА, СПт, АЕ[1], ГЕ, УС[2]» (там же, 51).

Дурново обследовал исключительно древнейшие восточнославянские рукописи — рукописи XI—XII вв., — причем рассматривал их, игнорируя отдельные детали (например, статистические соотношения) и выделяя прежде всего те основополагающие моменты, которые указывали на принципы трансформации южнославянских правописных систем на восточнославянской почве. Если, однако же, выйти за рамки древнейшего периода и учесть ряд частных особенностей, картина становится существенно яснее. Процесс адаптации южнославянских написаний по признаку *рѣ/ре* в полногласных сочетаниях развивался достаточно медленно, существенно медленнее, например, чем в случае таких признаков, как *-тъ/-ть* в окончаниях 3 лица презенса или написание редуцированных с плавными в примерах типа *дрьжава/дьржава~дьрьжава* (Живов 1987, 63). Поэтому в ранних памятниках находим большую вариативность, позволяющую увидеть лишь направление развития восточнославянской орфографической практики, но не окончательную модель, характеризующую восточнославянскую правописную норму.

Я не предполагаю дать в этих заметках полное исследование разбираемого явления в его развитии, но попытаюсь лишь обозначить вехи этого процесса, указав на несколько характерных рукописей, относящихся к разным эпохам. Начну, впрочем, с древнейших памятников, уже обследованных Дурново. Во втором почерке Архангельского евангелия 1092 г. (АЕ[2], см. изд.:

Архангельское евангелие 1997) процесс адаптации по интересующему нас признаку продвинулся весьма далеко, дальше, чем в большинстве рукописей рубежа XI—XII вв. В неполногласных сочетаниях с *рѣ* ять практически не пишется, на 265 написаний с *ре* приходится всего 3 написания с *рѣ*: **прѣречеть** 147_{16}, **прѣтѧше** 110 об.$_{17}$, 118 об.$_{7}$; это составляет чуть более 1% (1,12%). Неполногласные сочетания с *лѣ* статистически куда менее показательны, и такая ситуация неизбежна, поскольку, как уже говорилось, основы с этими сочетаниями немногочисленны. Дурново перечисляет АЕ[2] в ряду рукописей, в которых «обычно *е* при редком *ѣ*», и формально это верно: лишь в одном случае *ѣ* оказывается не замененным на *е*: **плѣньникомъ** 123 об.$_{6}$; в 13 случаях такая замена имеет место. Тем не менее стоит заметить, что эта замена происходит в других корнях: **облекоша** (7 раз), **плевы** (1 раз), **съвлекоша** (5 раз), причем этот набор естественно ограничен, а общая пропорция написаний с *ѣ* выше, чем в случае с *рѣ* / *ре* — 7,14%[2].

Продвинемся теперь приблизительно на столетие вперед и обратимся к первому почерку Успенского сборника (УС[1], см. изд.: Успенский сборник 1971) второй половины XII в. Дурново упоминает и его в числе тех рукописей, в которых в неполногласных сочетаниях с *лѣ* «обычно *е* при редком *ѣ*», однако такая характеристика мало что говорит об орфографической системе данной рукописи. Существенно, что в УС[1] в отличие от многих памятников того же времени *ѣ* в неполногласных сочетаниях с *рѣ* полностью отсутствует, т. е. замена *ѣ* на *е* в этих сочетаниях

---

[2] Первый почерк Архангельского евангелия (АЕ[1]), который Дурново относит к числу рукописей с заменой *ѣ* на *е* в неполногласных сочетаниях с *рѣ*, но не с *лѣ*, на самом деле куда менее показателен. Прежде всего, замена *ѣ* на *е* имеет здесь место и в сочетаниях с *лѣ*, правда всего в одном случае: **облечете сѧ** $14_{17—18}$; в пяти случаях находим написания *лѣ*, т. е. пропорция написаний с *е* в неполногласных сочетаниях с *лѣ* составляет 16,67%. Что же касается неполногласных сочетаний с *рѣ*, то пропорция написаний с *е* составляет здесь 10,22% (14 из 137), и поэтому различие в трактовке сочетаний с *рѣ* и с *лѣ*, столь значимое для последующего развития (см. ниже), в этом случае еще никак не проявляется. Таким образом, в перспективе последующей нормализации именно АЕ[2], а не АЕ[1] может рассматриваться как начальная веха.

проведена с полной последовательностью (материал достаточен для выводов, замена наблюдается в 295 случаях). На фоне этой последовательной адаптации правописание неполногласных сочетаний с *лѣ* выделяется вполне рельефно: *ле* пишется в 28 случаях, а *лѣ* — в 7 случаях, т. е. написания с *лѣ* составляют 20%. И здесь, таким образом, отчетливо видно несходство в развитии неполногласных сочетаний с *лѣ* и с *рѣ*. Еще существеннее, пожалуй, что намечается определенное лексическое распределение написаний с *лѣ* и с *ле*. Его можно суммировать в следующем виде:

	ѣ	е
влѣщ- (извлѣщ-, повлѣщ-)		9
облѣщ-	1	10
млѣк-	1	4
плѣн-	4	5
шлѣмъ	1	

Эти данные позволяют сказать, что в наибольшей степени к замене *ѣ* на *е* склонны образования с корнями *влѣщ-* и *облѣщ-*, в наименьшей степени — образования с корнем *плѣн-*, тогда как образования с корнем *млѣк-* занимают промежуточное положение.

Следующий этап в истории адаптации интересующих нас неполногласных сочетаний может быть проиллюстрирован Сборником толкований XIII в. РНБ Q. п. I.18 (см. Сводный каталог 1984, № 309; ср. публикацию: Вантрубска 1987). В отношении адаптации неполногласных сочетаний с *рѣ* данная рукопись, понятно, не идет далее УС[1], в котором предел уже достигнут; напротив, адаптация проведена здесь с меньшей последовательностью, что характеризует, надо думать, не период написания рукописи, а правописные навыки писца, работавшего в разбираемом сейчас аспекте с меньшей тщательностью, чем писец УС[1]. Всего в рукописи встречается 503 неполногласных сочетания с *рѣ*; из них 489 пишется с *ре* и лишь 14 с *рѣ*, что составляет 2,78% от общего количества. Количество написаний с *рѣ* сопоставимо с количеством написаний с *ере*, т. е. случаев

полногласия, представляющих собой явный дефект в орфографической практике писца[3]. Любопытно, что написания с *рѣ* появляются в основном в корне *дрѣв-* (12 из 14 случаев: **дрѣво** 17, 59 [bis], 139 об., 140 об., 142 об., 145 об.; **дрѣвѣ** 17; **дрѣва** 59, 154 [bis]; **дрѣвѧнымь** 134 об.; два других случая: **врѣжѧють** 60об., **чрѣвѣ** 158), и эта лексическая привязка указывает на ненормативный характер написаний с *рѣ* — в нормальном случае писец в данном положении пишет *ре*.

Иным образом осуществляется адаптация неполногласных сочетаний с *лѣ*. Замена *ѣ* на *е* явно не имеет здесь нормативного характера. На 19 написаний с *ле* приходится 12 написаний с *лѣ*, т. е. написания с *ѣ* составляют 38,71%. Как и в УС[1], в разбираемой рукописи написания с *ле* и с *лѣ* лексически распределены, причем то распределение, которое лишь намечалось в УС[1], в Q. п. I.18 приобретает вполне фиксированный характер, характер сложившегося узуса. Данные говорят сами за себя:

	ѣ	е
влѣщ- (извлѣщ-, отвлѣщ-, привлѣщ-, въвлѣщ-)		11
облѣщ-		6
млѣк-	2	2
плѣв-	1	
плѣн-	9	

Таким образом, в корнях *влѣщ-* и *облѣщ-* закрепляется написание с *е*, в корне *плѣн-* утверждается написание с *ѣ*, а в менее употребительных корнях *млѣк-* и *плѣв-* сохраняется вариативность[4].

---

[3] Таких написаний шесть: **ѿверечи сѧ** 7, **середѣ** 124 об., **деревѧнымь** 135 об., **перепона** 152 об., **переведение** 172 об., **переди** 190 об. Следует, впрочем, заметить, что в одном случае полногласное написание появляется на переносе — **пе-репона**, — т. е. в особых условиях, благоприятствующих возникновению таких написаний (см.: Кандаурова 1968, 8—10).

[4] Приведу данные, относящиеся к анализируемой рукописи (я не делал этого для АЕ[2] и УС[1], поскольку издания этих текстов снабжены указателями и, обратившись к ним, читатель легко может найти соответствующие

Перейду теперь к финальному этапу процесса адаптации неполногласных сочетаний с *рѣ* и *лѣ*. Подходящей иллюстрацией может послужить здесь коломенская Палея 1406 г., написанная в самом конце рассматриваемого нами периода (см. изд.: Палея толковая 1892—1896): она вполне соответствует нормам «позднедревнерусской» (если пользоваться термином А. А. Зализняка — Зализняк 1986, 100) орфографии и при этом не обнаруживает следов второго южнославянского влияния. Понятно, что в рефлексах неполногласного *рѣ* последовательно пишется *е*: на сотни примеров с *е* приходится лишь один пример с *ѣ* (что составляет доли процента), но и он может рассматриваться как случайная ошибка писца, а не как реликт более старого узуса. Этот пример — **прѣмененьѥ**, 16вг, соответствующий **примѣренїе** (в значении ‘мера’) в других списках, написание **ѣ** в первом слоге может рассматриваться как ошибка, связанная с ошибочным написанием **є** вместо **ѣ** во втором слоге. В рефлексах неполногласного *лѣ* находим то же лексическое распределение написаний с *ѣ* и с *е*, что и в анализировавшихся выше рукописях, пожалуй, лишь еще в большей степени стабилизировавшееся. Данные таковы:

	ѣ	е
влѣщ- (привлѣщ-, вовлѣщ-, совлѣщ-)		9
облѣщ-		1
млѣк-		8
плѣв-	1	
плѣн-	4	16
члѣн-	1	
шлѣмъ		2

примеры): **влекоуще** 25, **влечеть** 25 об., **влечахоуть** 83, **вълекъшю** 155; **извлещи** 126, **извлекъ** 158; **ѿвлече** 64 об., **ѿвлещи** 162 об.; **привлечеть** 60 об., **привлекоуть сѧ** 62; **въвлекъшю** 158; **облеченѣ** 11, **облеченамъ** 11, **облечеть** 37, **облечена** 48, **облекоша** 90, **облецѣмъ сѧ** 168; **млеко** 136, 147 об., **млѣцѣ** 92, **млѣка** 192; **плѣвы** 20; **плѣнѧꙗ** 6об., **плѣнивъ** 21, **плѣни** 21, 92 об., **плѣнъ** 66, 92 об., **плѣнены** 66, **плѣнилъ ѥси** 92 об., **плѣнѧюще** 141.

Хотя правописание рукописи не отличается особой тщательностью, распределение написаний с ѣ и с *е* в основном следует сложившемуся узусу[5]. Сформировавшаяся правописная традиция обнаруживается здесь вполне явно, и стоит отметить, что позднейшая орфографическая норма (XVIII—XIX вв.: *влеку*, *облеку*, *шлемъ*, но *плѣнъ*) в значительной степени опирается на эту традицию.

Итак, в процессе формирования норм книжного правописания в восточнославянской письменности XI—XIV вв. неполногласные сочетания с *рѣ* и *лѣ* переживают неодинаковые преобразования: в сочетаниях с *рѣ* ѣ последовательно заменяется на *е*, тогда как в сочетаниях с *лѣ* такое замещение нормативным не становится, а написания с *ле* и с *лѣ* оказываются распределены лексически, причем это распределение образует хотя и не строгую, но достаточно устойчивую традицию. Вопрос в том, что обусловило такое различие в развитии.

Как уже говорилось, высказывавшиеся гипотезы немногочисленны. Наиболее подробно анализирует интересующее нас явление Дурново. Вслед за Шахматовым он утверждает, что замены ѣ через *е* обусловлены не «совпадение[м] этих звуков в живом языке», а тем, «что таким написанием русские писцы передавали не свое живое произношение ѣ, а церковное, отличное от живого и основанное на южнослов. произношении ѣ (хотя, быть может, и не совпадавшее с ним), и что ю.-сл. ѣ воспринималось русскими, по крайней мере, в некоторых положениях, как звук, отличный от русского ѣ, а в некоторых случаях отождествлялось ими с церк.-слав. *е*» (Дурново 1924—1927, VI, 49/2000, 479). В силу этого Дурново задается вопросом, «[в] каких же случаях црк.-слав. ѣ отождествлялось русскими писцами с *е*

---

[5] Приведу полные данные: **привлече[н]** 19в, **привлещи** 123а, **влекѹще** 19г, 31г, **вовлечеть[с]** 31а, **вовлеченъ** 41г, **совлеченъ** 86г, **совлещи** 86г, **совлече** 136в; **облекѹть[с]** 196г; **млека** 48а, 92г, **млеко** 95в, 137в, 157г, **млекомь** 138б, 158в, **млеко[м]** 141б; **плѣ̀вою** 46б; **плѣ̀нъ** 53б, 97б, 110б, 200б, **попленени** 53в, **плѣ̀ни** 64в, **плѣ̀ниша** 65в, 146в, **плѣ̀нь** 65г, **пленѫѥмѹ** 103б, **плѣ̀нитъ** 104б, **плѣ̀нении** 107а, **плѣ̀нениѥ** 107г, 159а, 205г, **попленѫть** 112б, **плѣ̀ненїѥ** 118в, **плѣ̀нить** 145г, **пленьныхъ** 160а, **плѣ̀нълъ ѥси** 200б; **члѣ̀ны** 29б; **шлемъ** 188б, 188г.

и как произносилось в тех случаях, когда не отождествлялось с *е*» (там же, 50/480). Для ответа на этот вопрос принципиальное значение имеют, на взгляд Дурново, неполногласные сочетания, поскольку именно на них приходится «бóльшая часть случаев смешения *ѣ* с *е*, которые могут указывать на русское церковное произношение *ѣ*» (там же).

Несовпадение в усвоении неполногласных сочетаний с *рѣ* и с *лѣ* оказывается для Дурново центральным моментом, позволяющим реконструировать это произношение. Писцы тех рукописей, в которых *ѣ* заменялся на *е* после *р*, но сохранялся после *л*, по мысли Дурново, «воспринимали ю.-сл. *ѣ* после *р* иначе, чем после *л* ‹…› Это могло быть вызвано какими-то особенностями в ю.-сл. произношении звука *р*. Такой особенностью была, по-видимому, твердость этого звука, указания на которую мы находим в русских рукописях XI и XII в. В тех из них, которые различают мягкие и немягкие *л* и *н*, мягкость *р* не обозначается, что свидетельствует об отсутствии мягкого *р* в церковном произношении, а это отсутствие вызывалось, очевидно, тем, что *р* мягкое в известном русским ю.-сл. произношении отвердевало. По-видимому отвердение *р* в ю.-сл. шло довольно далеко и перед палатальными гласными не останавливалось на степени полумягкости; т. е. *р* полумягкое перед палатальными гласными становилось более твердым, что вызывало, между прочим, какие-то изменения в произношении сочетания *рѣ*, заставлявшие русских воспринимать его, как тождественное с сочетанием *ре* в ю.-сл. произношении. В словах, известных живому русскому языку, писцы сочетаний *ре* и *рѣ* не смешивали, т. е. произносили, очевидно, *рѣ* отлично от *ре*» (там же, 51/481).

Таким образом, в построении Дурново оказывается, что отвердение *р* создавало в церковном произношении условия для нейтрализации противопоставления *ѣ* и *е*, и именно основываясь на этой нейтрализации, Дурново устанавливает фонетические параметры данного противопоставления. Он пишет: «[С]овпадение *ѣ* с *е* после отвердевшего *р*, после *j* или *i̯* и после смягченного *н*, дела[е]т вероятным предположение, что ю.-сл. *ѣ* в произношении, известном русским писцам, звучало, приблизительно, как i̯e или сложный звук, начинавшийся с артикуляции *i*; после отвердевшего *р*, как и после начального *j* или *i̯* и после

смягченного *н* в сочетании *гнѣ-*, это *i* (i̯) в значительной степени скрадывалось; поэтому русские писцы воспринимали ѣ в этих случаях частью, как ѣ, частью, как *е*, а в остальных случаях, как свое ѣ, произносившееся сходно с ю.-сл., но, по-видимому, с несколько более сильным элементом *i* в первой части звука» (там же, 52—53/482).

Это построение неубедительно по нескольким параметрам. В фонетическом плане сомнителен тезис об отвердении *р*. Дурново имеет в виду не корреляцию по мягкости, а так называемые «исконно мягкие», т. е. противопоставление палатального /*r̃*/ дентальному /*r*/ (это очевидно, поскольку он здесь же говорит о сохранении оппозиции «мягких» и «немягких» *л* и *н*); речь идет, таким образом, об устранении палатального /*r̃*/ из фонологической системы восточнославянских и/или болгарско-македонских говоров. Гипотеза об отвердении *р* связана тем самым с тем неправомерным отождествлением палатальности и мягкости в историко-фонетических построениях Дурново, о котором я уже писал в другом месте (см. Живов 1996а). Дурново полагает, следовательно, что в том диалекте, на котором было основано «известное русским ю.-сл. произношение», сначала прошло постулируемое им «вторичное смягчение согласных», в результате которого /*r*/ перед передними гласными совпало с палатальным /*r̃*/, а затем результат этого совпадения, т. е. /*r'*/, утратил мягкость, иными словами, совпал с /*r*/, тогда как образовавшиеся аналогичным образом /*l'*/ и /*n'*/ мягкости не утратили. Все это построение в целом не может быть обосновано данными известных нам рукописей, так что его сложность никак не оправдана (ср. Живов 1996а). В рамках этого построения остается без удовлетворительного объяснения и написание *е* вместо ѣ в неполногласных сочетаниях после *л*. Интерпретируя данные обследованных им текстов, Дурново замечает: «Немногие встречающиеся в этих рукописях случайные написания *е* вм. ѣ могли явиться под влиянием употребления *е* вм. ѣ в неполногласных сочетаниях после *р*» (Дурново 1924—1927, VI, 51—52/2000, 481). Как показывают приведенные выше материалы, подобные замены отнюдь не носят окказионального характера, и поэтому нет возможности объяснить их случайной аналогией, тем более что аналогичность контекстов (в неполногласных сочетаниях

после *р* и после *л*) очевидна лишь для лингвиста, а вовсе не для писца, не посвященного в таинства исторической фонетики.

Однако даже в том случае, если бы можно было принять основную гипотезу Дурново, неправдоподобным остается тот механизм «скрадывания» различий между *ѣ* и *е* после *р*, который он предлагает. В самом деле, если «*ѣ* в произношении, известном русским писцам, звучало, приблизительно, как i̯e», противопоставление *ѣ* и *е* могло нейтрализоваться после начального *j* или после /ñ/ в сочетании *гнѣ*-: начальный сегмент [i̯e] мог реинтерпретироваться как переход от палатального согласного к переднему гласному среднего подъема (т. е. безразлично /*е*/ или /ě/). В силу чего такая реинтерпретация могла бы происходить после отвердевшего *р*, остается совершенно непонятным. Если следовать Дурново и считать, что различие между *ѣ* и *е* реализовалось в противопоставлении типа [i̯e — e], никакого «скрадывания» этого противопоставления после твердого *р* не должно было происходить: в *дрѣво* и *древле* должны были реализоваться разные фонетические последовательности — [ri̯e] и [re] — и у восточнославянских писцов не должно было возникать никаких трудностей с их дифференцированным восприятием. Неясно, почему последовательность типа [ri̯e] могла восприниматься «частью, как *ѣ*, частью, как *е*» и почему при такой амбивалентности нормативным становится написание с *ре*, тогда как логично было бы ожидать закрепление вариативности *ре* ~ *рѣ*. Таким образом, в плане исторической фонетики предложенная интерпретация принята быть не может.

Сомнительным представляется и другой, если угодно историко-филологический, аспект рассуждений Дурново. Интерпретируя данные рукописей, он обращается к тому, как восточнославянские писцы воспринимали южнославянское произношение. Возникает, однако, вопрос: кто, где, когда и что воспринимал? То, что у восточнославянских книжников были южнославянские учители, можно допустить (даже при отсутствии каких-либо исторических свидетельств). Нельзя исключить, что первые ученики этих учителей могли имитировать их произношение. Однако этот период ученичества должен был прийтись на княжение Владимира и Ярослава, а не на конец XI в., так что писцы, скажем, Архангельского евангелия или новгородской

Минеи 1097 г. вряд ли когда-нибудь видели южных славян и слышали, как они читают переписывавшиеся ими тексты. Таким образом, как бы ни звучало «сочетание *ре* в ю.-сл. произношении», восточнославянские писцы известных нам рукописей отродясь этого произношения не слышали, а потому и не могли подстраивать под него свое правописание. Дурново, вероятно, и не рисовал столь прямолинейной схемы и говорил о южнославянском произношении метафорически — как об основе того «церковного» произношения, которое утверждается в период южнославянского учительства, а затем поддерживается в качестве традиции. Это, однако, не решает вопроса, поскольку непонятным остается, почему, если эта традиция сформировалась столь рано и столь основательно, писцы, стоявшие близко к ее истокам (например, писцы Остромирова евангелия, Слов Григория Богослова или Чудовской псалтыри), полностью ее игнорировали, а книжники позднейшего времени стали на нее ориентироваться [6].

---

[6] Понятно, что писцы более раннего времени были теснее связаны с южнославянской графической традицией, они копировали южнославянские оригиналы и воспроизводили южнославянские написания в большем объеме, чем позднейшие писцы, переписывавшие восточнославянские копии оставшихся в далеком прошлом южнославянских протографов. Писцы Остромирова евангелия могли писать **дрѣво** просто потому, что так было написано в лежавшей перед ними болгарской рукописи. Если, однако, они при этом произносили *древо*, т. е. воспроизводили в своей реинтерпретации южнославянское произношение и это было для них установившейся традицией, это должно было отразиться в их правописании аналогично тому, как отражалось в нем отсутствие носовых гласных. В перечисленных рукописях никакого отражения подобного произношения нет.

Дурново, видимо, чувствовал, что его построение противоречиво, и пытался исправить это положение. В работе 1933 г. он замечает: «С течением времени литературное произношение ѣ совпало с живым, но к этому времени ѣ уже было заменено звуком *е* в церковнославянских словах, отсутствовавших в том же виде в русском живом языке» (Дурново 1933, 55/2000, 655). Никаких доказательств подобного изменения в книжном произношении Дурново не приводит; видимо, он просто пытается объяснить тот факт, что в позднем церковном произношении (например, у старообрядцев-беспоповцев) ѣ и *е* противопоставлены, тогда как ранее,

Из сказанного отнюдь не следует, что я отрицаю возможность различий между «церковным» и разговорным произношением. Однако в генезисе таких различий должно было быть не простое подражание неведомым южным славянам, но определенные институции книжной культуры, стимулировавшие одни явления и делавшие невозможными другие. Владение книжным языком (следовательно, и литургическим произношением) базировалось на специальном обучении, которое состояло в основном из чтения по складам и заучивания наизусть Часослова и Псалтыри (Живов 1996, 20—30). В формировании этого обучения южнославянская традиция действительно могла играть весьма существенную роль. Так, например, книжное произношение **ъ** как [o], а **ь** как [e] естественно связывать с чтением по складам, при котором склады типа **бъ** и **бь** заучивались как [bo], [be], а происхождение этой системы чтения видеть в южнославянской традиции, в которой ко времени ее перенесения на Русь уже произошло прояснение редуцированных в [o], [e] (Успенский 1997, 145, 185—188). Весьма вероятно, что и различение *ѣ* и *е* реализовалось в книжном произношении иначе, чем в разговорном языке восточных славян (по крайней мере, на части восточнославянской территории). И в этом случае основой этого расхождения должно было быть чтение по складам, при котором склады типа **бѣ** и **бє** дифференцировались за счет иных фонетических параметров, нежели те, которые противопоставляли /ě/ и /e/ в разговорном языке. Правдоподобно, что в книжном про-

---

согласно его концепции, такое противопоставление отсутствовало. От этого, однако, его построение становится только еще более противоречивым. Если *ѣ* и *е* совпадали в древнейшем книжном произношении, это должно было отразиться уже в древнейших памятниках. Если позднее они оказались противопоставлены, а замена *ѣ* на *е* в правописании неполногласных сочетаний с *рѣ* еще не была проведена последовательно (а именно так обстоит дело вплоть до середины XIII в.), следовало бы ожидать регенерации *ѣ* в этом положении, ведь речь идет о чтении текстов, и если в них написан *ѣ*, то он, видимо, должен и читаться; ничего похожего на такую регенерацию в церковнославянских текстах до второго южнославянского влияния не обнаруживается (для текстов же, отразивших второе южнославянское влияние, написание неполногласных сочетаний с *ѣ* естественно связывать с южнославянскими образцами).

изношении таким параметром могла быть мягкость/твердость предшествующей согласной (см. Успенский 1987, 108—114). В подобных случаях расхождение книжного и некнижного произношения имеет институциональную основу; понятно, как могла возникнуть данная традиция, и очевидно, за счет чего она поддерживалась.

Гипотетическое отвердение *р* у южных славян, а соответственно и звучание *ре* в южнославянском произношении, о которых пишет Дурново, никакого отношения к такого рода институализованной традиции иметь не могли. Если бы, допустим, склад **рѣ** в результате отведрения *р* воспринимался восточнославянскими книжниками как омофоничный складу **рє** и эта тождественность звучания закреплялась бы в обучении чтению, соответствующие последовательности всегда должны были бы читаться одинаково. Следствием в правописании должно было бы быть безразличное употребление букв **ѣ** и **є** в положении после **р** или закрепление лишь одной из букв в этом положении (аналогично тому, например, как случилось с последовательностями типа **рж** и **роу** или **ша** и **шꙗ**, **ча** и **чꙗ** и т. д.). В этом случае обычными оказывались бы написания **грєхъ**, **крєпъкъ** и т. п., чего, как известно, не происходит. Поэтому, если южные славяне и произносили **р** перед **ѣ** твердо, это никак не могло повлиять на правописную практику восточнославянских писцов конца XI в. или более позднего времени[7]. Этот аргумент сохраняет силу не

---

[7] В принципе можно было бы представить себе, что южнославянская орфоэпическая традиция закреплялась не только в чтении по складам, но и в выучивавшихся наизусть текстах Часослова и Псалтыри, т. е. что эти тексты выучивались и произносились в том виде, как они преподавались южнославянскими учителями их восточнославянским ученикам в период формирования восточнославянской книжной традиции, точнее, в том виде, как они воспринимались и воспроизводились восточнославянскими учениками в этот начальный период. Иными словами, можно было бы предположить, что, заучивая Псалтырь, дети, отданные на учение книжное Владимиром или Ярославом, произносили вслед за своими учителями **дрѣво** как **дрєво**, что это произношение передавалось затем из поколения в поколение и служило для позднейшего времени проводником южнославянской произносительной традиции. Правописание же рукописей постепенно приводилось в соответствие с этим произноше-

только в отношении построения Дурново, но и в отношении построения Б. А. Успенского (1987, 115—116), который по-новому конструирует различия между книжным и разговорным произношением в реализации противопоставления *ѣ* и *е* (связывая их с мягкостью / твердостью предшествующего согласного), но вслед за Дурново полагает, что в неполногласных сочетаниях «[з]амена *-рѣ-* на *-ре-* ‹…› в рус. ц.-сл. памятниках может быть связана с отвердением /*r’*/ в юж.-сл. произношении» (там же, 115).

Итак, сложные построения, предлагаемые Дурново и Успенским, не дают удовлетворительного объяснения отсутствию параллелизма в развитии неполногласных сочетаний с *рѣ* и *лѣ*. Между тем, объяснение лежит на поверхности, и надо лишь принять в расчет то, как работали восточнославянские книжные писцы в рассматриваемый нами ранний период, чтобы причины разбираемого явления стали очевидными. В тех случаях, когда различные компоненты языкового опыта книжного писца (написание копируемых оригиналов, книжное произношение соответствующего элемента, его разговорное произношение) не были полностью согласованными[8], писцы пользовались правилами, соотносившими произношение и написание. Так, например, в

нием, преодолевая влияние южнославянских протографов, в которых, понятно, писалось **дрѣво**. Такой способ передачи, вообще говоря, возможен, хотя никаких исторических свидетельств его существования не имеется. Он, однако же, не может служить объяснением для замены **рѣ** на **рє** в неполногласных сочетаниях как той нормы, которая постепенно утверждается в церковнославянском правописании восточных славян. Дело в том, что так можно было бы объяснить лишь правописание слов, встречающихся в Часослове и Псалтыри, но не общую правописную норму для всех неполногласных сочетаний. Нужно помнить, что полногласие и неполногласие — это «категории лингвиста» (Успенский 1987, 116), а не носителей языка, и поэтому никаких оснований для обобщения всех неполногласных сочетаний у восточнославянского книжника не было.

[8] Такое полное согласование было, понятно, достаточно частным явлением. Скажем, при написании глаголов *дати* или *пити* никаких проблем с тем, какие именно гласные и согласные надо употребить, не вставало. Видимо, большая часть элементов копируемых текстов особой рефлексии не требовала.

силу расхождения книжного и разговорного произношения ъ и ь и несоответствия книжного произношения правописной норме восточнославянские писцы должны были «руководиться правилом писать *ъ* и *ь* там, где в соответствующих словах и формах русской живой речи слышались звуки *ъ* и *ь*, а *о* и *е* там, где слышались звуки *о* и *е*» (Дурново 1933, 64 / 2000, 663; ср. Успенский 1997, 158—161). Сходным образом, новгородские писцы, сталкивавшиеся с правописной нормой различения ц и ч, но не имевшие коррелирующей оппозиции ни в своем книжном, ни в своем разговорном произношении, должны были пользоваться правилами, апеллировавшими, в частности, к их разговорному произношению, чтобы вычислить, какая из аффрикат должна быть написана в каждом конкретном случае (Живов 1984). Аналогичные проблемы возникали и с написанием ѣ и є в силу несовпадения реализации этого противопоставления в книжном и разговорном произношении[9]. Соответственно, ѣ и є писались «по правилам», учитывавшим разговорное произношение, типа «пиши ѣ там, где в разговорном произношении слышится /*ě*/, пиши є там, где в разговорном произношении слышится /*е*/».

В приложении к неполногласным сочетаниям с *рѣ* подобные правила закономерно давали написание ρє: выясняя, какую

[9] Для большой части северного восточнославянского ареала это несовпадение могло состоять в том, что в книжном произношении оппозиция ѣ и є реализовалась за счет палатализации / отсутствия палатализации предшествовавшего согласного, тогда как в разговорном произношении согласный смягчался перед всеми гласными переднего ряда, а дифференцирующим моментом было качество гласного (дифтонгическое или закрытое произношение /*ě*/ в отличие от недифтонгического или более открытого произношения /*е*/). Для большей части южного восточнославянского ареала несходство, видимо, носило иной (возможно, менее выраженный) характер. Палатализация согласного перед /*е*/ скорее всего отсутствовала (как показывают современные украинские говоры), и в этом отношении книжное и разговорное произношение не различались. Однако в разговорном произношении, в отличие от книжного, /*ě*/ мог реализоваться с *i*-образной начальной фазой (на что указывает позднейший переход /*ě* > *i*/), а /*е*/ звучать более закрыто (что создает условия для образования нового ятя). Надо думать, нечто подобное имели в виду Шахматов и Дурново, предполагавшие, что ѣ в книжном произношении был «ближе к русскому *е*, чем к *ě*» (Дурново 1933, 55 / 2000, 655).

гласную нужно писать после ρ в слове дрѣво, писец обращался к своему произношению полногласного коррелята, т. е. *дерево*, и обнаруживал, что писать следует є. Понятно, что такое написание «по правилам» вступало в конфликт с орфографией южнославянских оригиналов и разрешение этого конфликта должно было растянуться на достаточно длительный период. Растянутость преобразования, непонятная в рамках построения Дурново, предполагавшего, что є идет из книжного произношения, которое сформировалось, когда южные славяне обучали восточных, находит здесь естественное объяснение. Как и в других случаях, конфликт был разрешен в пользу написания «по правилам», но процесс был постепенным, так что написания, восходящие к южнославянским протографам, могли окказионально появляться даже в совсем поздних рукописях. Именно эту картину мы и наблюдали в приведенных выше материалах.

В этом контексте становится понятным и разнообразие узуса, отражающегося в разных рукописях одного времени. Правописание писца зависит от степени его книжной выучки, от того, насколько он уверен в себе и склонен следовать правилам, а не доверяться написаниям копируемого им оригинала. Так, скажем, писцы Остромирова евангелия себе не доверяли и старались не отступать от своего антиграфа; в результате они сохраняют ѣ во всех неполногласных сочетаниях с *рѣ*. Писцы Архангельского евангелия следовали разным установкам. Как отмечает М. А. Соколова, второй писец «не так внимателен к оригиналу и, не копируя его непрерывно, он, больше, чем первый писец, вносит в свое письмо черт живого говора ‹...› У первого писца мы не находим ни такого умения и любви к делу, ни той начитанности, привычки обращаться с церковным текстом, которые так выгодно отличают второго ‹...› Вот почему он относится с большим вниманием к оригиналу, который копирует. Поэтому он допускает значительно меньше отклонений от него» (Соколова 1930, 95—96). Различие в установках сказывается во многих особенностях правописания двух писцов, и в частности, в их трактовке неполногласных сочетаний с *рѣ*: как мы видели, второй писец заменяет в них ѣ на є в 99% случаев, тогда как первый писец — лишь в 10%. Сходным образом объясняются

различия в правописании первого и второго писца Успенского сборника.

В данном случае, в сущности, имеет место то самое взаимодействие с восточнославянскими полногласными формами, о котором в свое время писал А. И. Соболевский: «Русские слова как-бы с польским сочетанием звуков в роде б*ре*гъ, в*ре*дъ, в*ре*мя — заимствования из церковно-славянского языка (с *е* вм. ц.-слав. *ѣ*, под влиянием русского *е* в берегъ и т. п.)» (Соболевский 1907, 23—24). Дурново, конечно же, был знаком с этим объяснением, однако отвергал его, поскольку влияние полногласных форм понимал механистически, как, по словам Успенского (1987, 116), «контаминаци[ю] соответствующих ст.-сл. форм (*прѣ-*, *брѣгъ*) и рус. разговорных форм (*пере-*, *берегъ*)». Возражения Дурново сводились к следующему: «Употребление *е* вместо *ѣ* в неполногласных сочетаниях могло бы объясняться компромиссом между русским и ю.-сл. произношением соответствующих слов: писцы не писали *е* перед [со]гласной, п. ч. его не было в цсл., и писали *е* после [со]гласной, п. ч. в их живом языке было *е*, подобно писцу СПт, писавшему злотникъ, оброниша сѧ и т. п., где *ло*, *ро* соответствовали русским *оло*, *оро* и цсл. *ла*, *ра*. Но в таком случае мы должны бы ждать и в других памятниках рядом с написаниями *ре* вместо *рѣ* также написаний *ло*, *ро* вместо *ла*, *ра*, а вместо *лѣ* не *ле*, а *ло* и притом тем чаще, чем чаще пишется *ре*; между тем такие написания, кроме СПт, почти не встречаются» (Дурново 1924—1927, VI, 50—51 / 2000, 480; ср. то же рассуждение: Успенский 1987, 116). Если говорить не о механической контаминации, а о действии правил, аргумент Дурново оказывается несостоятельным. Писцу не было надобности выяснять, следует ли писать *а* или *о* в слове *градъ* или *благъ*; никаких проблем здесь не вставало, правил не требовалось и никакого повода обращаться к своему живому произношению у писца не возникало (написания типа *злотникъ* в Синайском патерике требуют особого объяснения, не имеющего никакого отношения к рассматриваемым проблемам). Проблемы возникали, лишь когда нужно было выбирать между *ѣ* и *е*. В этом случае писец проверял слово **грѣхъ**, обнаруживал /*ě*/ в своем разговорном произношении и писал **грѣхъ**; проверял слово **брѣгъ**, находил в своем разговорном произношении /*е*/

и писал **брегъ**, и эта проверка была ключевым моментом в том преобразовании церковнославянской нормы в правописании неполногласных сочетаний с *рѣ*, которое мы проследили выше.

Иначе складывалась судьба неполногласных сочетаний с *лѣ*, и это вполне понятно. Они тоже требовали проверки, но проверять их было нечем. Писец мог обратиться к своему разговорному произношению, выбирая между *ѣ* и *е* в словах **млѣко** и **плѣнъ**, но там он находил только *молоко* и *полонъ*, так что его запрос оставался без ответа. Естественным результатом такого безмолвия была вариативность в написании *ѣ* и *е* в формах данного типа, та вариативность, которую мы наблюдаем в ранних памятниках восточнославянского происхождения, например, в АЕ[1] или УС[1]. В дальнейшем, однако, правописная норма и здесь стабилизируется, хотя стабилизация эта основывается, естественно, на иных принципах, чем в случае неполногласных сочетаний с *рѣ*. Она менее последовательна, поскольку не базируется на правиле, и привязана к лексическим единицам, поскольку больше ее привязать не к чему. Отсутствие параллелизма в развитии неполногласных сочетаний с *рѣ* и неполногласных сочетаний с *лѣ* выглядит в этой перспективе само собой разумеющимся.

Итак, разные судьбы неполногласных сочетаний с *рѣ* и с *лѣ* в восточнославянской книжной письменности обусловлены теми механизмами воспроизведения книжного текста, которые действовали в ней на протяжении по крайней мере всего раннего периода (XI—XIV вв.). Во всех тех случаях, когда книжное произношение, разговорное произношение и написание не соотносились однозначно, писцы пользовались правилами, которые составляли часть их профессиональной выучки. В частности, они проверяли, где нужно писать *ѣ*, а где *е*, обращаясь к своему разговорному произношению. Такая проверка обусловливала замену *ѣ* на *е* в неполногласных сочетаниях с *рѣ*, но не давала оснований для выбора в случае неполногласных сочетаний с *лѣ*. Процесс формирования нормы был постепенным, написания, полученные по правилам, вытесняли написания, восходящие к южнославянским оригиналам в течение многих десятилетий. В самой длительности этого процесса отражалась преемственность письменного узуса восточнославянских книж-

никовъ. Наиболее ярким свидетельством этой преемственности представляется закрепление написаний с *ѣ* и с *е* в отдельных неполногласных корнях из **el*, начавшееся еще в XI в., продолжившееся в течение последующих столетий и не потерявшее своей актуальности вплоть до катастрофы 1917 г. И потому

Въ плѣну у ангеловъ, вдали сочленовъ — ахъ!
Куда влечешься ты, великое свѣтило?
Тамъ медъ и млеко, здѣсь взметенный прахъ.
Но правитъ Одиссей къ роднымъ брегамъ вѣтрило.

Литература

Архангельское евангелие 1997 — Архангельское евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М.: Скрипторий, 1997.

Вантрубска 1987 — *Wątróbska H*. The Izbornik of the XIII[th] Century (Cod. Leningrad, GBP, Q. p. I. 18). Text in Transcription. Nijmegen, 1987. (**Полата кънигописьнаꙗ**; № 19—20)

Дурново 1924—1927 — *Дурново Н. Н*. Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. 1924. Кн. 4. С. 72—94; V (1925—1926). С. 93—117; VI (1926—1927). С. 11—64.

Дурново 1933 — *Дурново Н. Н*. Славянское правописание X—XII вв. // Slavia. Roč. 12 (1933). Seč. 1—2. С. 45—82.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н*. Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Зализняк 1986 — *Зализняк А. А*. Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *Янин В. Л., Зализняк А. А*. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М.: Наука, 1986. С. 89—219.

Живов 1984 — *Живов В. М*. Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian Linguistics. Vol. 8 (1984), № 3. С. 251—293.

Живов 1987 — *Живов В. М*. Проблемы формирования русского извода церковнославянского языка на начальном этапе // Вопр. языкознания. 1987. № 1. С. 46—65.

Живов 1996 — *Живов В. М*. Язык и культура в России XVIII века. М.: Языки рус. культуры, 1996.

Живов 1996а — *Живов В. М*. Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика // Русистика. Слави-

стика. Индоевропеистика: Сб. к 60-летию А. А. Зализняка. М.: Индрик, 1996. С. 178—202.

Живов и Успенский 1984 — *Живов В. М.*, *Успенский Б. А.* Оппозиция рефлексов **ě* и **e* в книжном произношении и историческая диалектология // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровнего взаимодействия в истории языка). Ужгород, 18—20 сентября 1984 г.: Тез. докл. и сообщений. Т. 2. М., 1984. С. 217—218.

Кандаурова 1968 — *Кандаурова Т. Н.* Случаи орфографической обусловленности слов с полногласием в памятниках XI—XIV вв. // Памятники древнерусской письменности: Язык и текстология. М.: Наука, 1968. С. 7—18.

Палея толковая 1892—1896 — Палея толковая по списку сделанному в г. Коломне в 1406 г. / Труд учеников Н. С. Тихонравова. М., 1892—1896.

Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М.: Наука, 1984

Соболевский 1907 — *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.

Соколова 1930 — *Соколова М. А.* К истории русского языка в XI веке // Изв. по рус. яз. и словесности. 1930. Т. 3. Кн. 1. С. 75—135.

Успенский 1987 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München: Verlag Otto Sagner, 1987. (Sagners slavistische Sammlung; Bd. 12).

Успенский 1997 — *Успенский Б. А.* Русское книжное произношение XI—XII вв. и его связь с южнославянской традицией (чтение еров) // *Успенский Б. А.* Избранные труды. Т. 3. Общее и славянское языкознание. М.: Языки рус. культуры, 1997. С. 143—208.

Успенский сборник 1971 — Успенский сборник XII—XIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., Наука, 1971.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энциклопедия славянской филологии; Вып. 11.1.)

ХОУ-ть-И.
Об идиосинкратических факторах при выборе морфологических вариантов *

В исследованиях по языку древней восточнославянской письменности неоднократно указывалось на существование особой формы имперфекта 3 лица с аугментом *-ть*, не характерной для церковнославянских текстов других изводов. Эту форму отмечает уже И. Добровский в своих «Institutiones»: «Rarissime in plurali post **хꙋ: впрашахꙋт** in Damiani Apostolo, **съвршахꙋть** Mich. 2, 1 in Ostrogiensi, **искахꙋть** 2 Reg. 17, 20 in eadem, in correcta **искаша**» (Добровски 1822, 555). В дальнейшем без упоминания имперфекта с аугментом не обходится ни одна подробная история восточнославянских языков. Стандартную сумму знаний по этому вопросу можно найти в «Очерке истории русского языка» Н. Н. Дурново: «В 3 л. ед. и мн. в о.-р. могло являться окончание *-ть*. Ср. Остр. ев. **моуждашеть** 279, Арх. ев. **оугнѣтахоуть и** 138 об., **нарицахоуть и** 157 об., житие Феодосия Печ. по списку XII в. **идяшеть** 31, **имяшеть** 36, **творяхоуть** 36, **исходяахоуть** 59 об. и мн. др. Лавр. летоп. **оучашеть** (под 955 г.), **предаяшеть** (под 986 г.), **изимахоуть** (под 941 г.), **несяхоуть** (под 1019 г.) и мн. др.; вообще, в памятниках XII—XIV вв. это окончание нередко. По-видимому, формы с окончанием *-ть* в имперфекте восходят еще к о.-сл.

---

* Впервые опубликовано: Rusistika • Slavistika • Lingvistika. Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag / Hrsg. von Sebastian Kempgen, Ulrich Schweier und Tilman Berger. München: Otto Sagner 2003, 320—329. (Die Welt der Slaven; Sammelbände Bd. 19).

эпохе; правда, в ст.-сл. их нет, кроме единичного **запрѣщашеть** в Сав. кн., но они встречаются в старосербских памятниках» (Дурново 2000, 298; ср. еще: Соболевский 1907, 160—161). Как из самого характера приводимых Дурново данных (единичные примеры из Остромирова и Архангельского Евангелий), так и из опущения контекста, в котором такие формы появляются, создается впечатление, что мы имеем здесь дело с окказиональным, хотя и нередким явлением, не подчиняющимся какой-либо закономерности; это впечатление лишь усиливается при обращении к другим изложениям истории русского имперфекта (ср. Иванов 1995, 430).

В недавнее время появился ряд работ А. Тимберлейка (Тимберлейк 1997a; Тимберлейк 1998; Тимберлейк 1999; ср. также: Штоль 2000), в которых на материале нескольких памятников древней восточнославянской письменности устанавливалось, что употребление аугмента может быть достаточно систематическим, хотя закономерности его появления в разных текстах не совпадают. Анализируя употребление аугмента в Лаврентьевской летописи, Тимберлейк обнаружил, что в разных хронологических слоях данной летописи действуют разные закономерности. В древнейшем слое, а именно, в Повести временных лет, аугмент появляется преимущественно перед местоименными энклитиками, так что этот контекст можно рассматривать как исходный для возникновения рассматриваемых форм имперфекта. Как пишет Тимберлейк,

> {-t'} встречается как в Лавр., так и в Ипат., а следовательно, и в *ПВЛ, в половине (6/11xx) примеров с исходным **и**. Если даже совпадение форм в Лавр. и Ипат. является результатом параллельной инновации ‹…›, данные формы указывают на тот контекст, в котором первоначально должен был развиваться {-t'} ‹…› Утвердившись в позиции перед **и**, {-t'} мог быть легко обобщен на позиции перед другими местоимениями (Тимберлейк 1997a, 71).

Дальнейшее развитие, запечатлевшееся в позднейших слоях летописи, обусловлено разными возможностями обобщения того контекста, в котором первоначально появляется аугмент. Подводя итоги своего анализа, Тимберлейк пишет:

> В системном плане была предложена схема развития {-t'} в 3 лице имперфекта, у которой в качестве исходного состояния выделялся

один четко определенный контекст — позиция имперфекта непосредственно перед энклитическим местоимением **и** (и аналогичными местоимениями **ꙗ**, **ю**, а также, возможно, вин.=род. **ихъ**). Отсюда {-t'} распространяется на положение перед другими местоимениями, включая возвратное. Другая линия развития, основанная на том, что глагол со своими местоименными энклитиками часто стоит в начале предложения, ведет к обобщению {-t'} в позиции перед другими энклитиками, которые помещаются после начального глагола, а именно перед энклитическими частицами **бо** и **же**. ‹…› Сверх того, {-t'} употребляется в предложениях, содержащих частицы **бо** и **же** даже в тех случаях, когда глагол не стоит непосредственно перед частицей, если только предложение имеет модальный характер (там же, 85).

Объясняя появление аугмента имперфекта в исходном контексте (перед энклитическими местоимениями), Тимберлейк предположил, что *-ть* переносится из форм презенса в условиях сандхи:

[В] условиях сандхи гласный имперфектного окончания был отделен от гласного идущего за ним местоимения в лучшем случае глайдом [j], а еще правдоподобнее, здесь образовалась последовательность двух гласных. Формы наст. времени задавали образец для флексий 3 лица, оканчивающихся на {-t'}, демонстрируя чередование вариантных флективных форм, одна из которых имела в исходе гласный, а другая — согласный. Подражая этой особенности презенса, имперфект усваивал данную часть морфемы, чтобы отделить гласный имперфектной формы от гласного следующей морфемы. Неудобная последовательность [$C_1V_1|V_2$] замещалась более естественной [$C_1V_1C_2|V_2$], где C_2 = [t'] (там же, 76)[1].

---

[1] С. Штоль, исследуя употребление имперфекта в славянском переводе «О пленении Иерусалима» Иосифа Флавия (Штоль 2000), предложила другое объяснение для форм имперфекта с *-ть*. Она полагает, что речь может идти не об аугменте, перенесенном из форм презенса, а о сохранении праславянских первичных окончаний, утраченных в позиции конца слова, в положении перед клитиками. Для настоящей работы в принципе безразлично, идет ли речь о контексте, где появляется аугмент *-ть*, или о контексте, в котором консервируется — в том же положении перед энклитиками — старый морфологический вариант. Данные Галицкого евангелия (далее — ГЕ) никак не подтверждают указанной гипотезы, но и не могут опровергнуть ее. Вообще говоря, значимым является употребление

Обнаруженная Тимберлейком закономерность находит замечательное подтверждение в памятнике совсем иного жанра сравнительно с теми, которые рассматривались в его работах, — а именно, в Галицком евангелии 1144 г. (ГИМ, Син. 404; ср.: Сводный каталог 1984, 94—95)[2]. Формы имперфекта с аугментом встречаются здесь многократно, и их употребление носит вполне систематический характер. Основной контекст, в котором появляется аугмент, — это положение перед энклитическим местоимением **и**. Формы с аугментом фиксируются в этом контексте в 41 случае. Приведу все соответствующие примеры:

Пример	Стих	Лист
бѣсі / же молѧхоуть и г҃лще	Мф **8** 31	17 об.
зан·е ѧко пр҃рка имѧхоуть и.	Мф **14** 5	31
и молѧхоуті и. да тъкмо пріко/сноутьсѧ подразѣ ризы ѥго.	Мф **14** 36	33
и пріступльше оучe/ніці ѥго молѧхоуть и г҃лще.	Мф **15** 23	34
и бьѧхоуть и по главѣ.	Мф **27** 30	64 об.
и сѣдъше стрѣжѧхоуть и тоу	Мф **27** 36	64 об.
Мімоходѧщеи же хоулѧхоуть і.	Мф **27** 39	65

-*ть* перед энклитиками, начинающимися с согласного (*ся*, *бо*, *же*): если речь идет о флексии, унаследованной из праславянского, она должна сохраняться и перед этими клитиками; если же речь идет об аугменте, появляющемся в условиях сандхи, употребление его перед данными клитиками является вторичным и необязательным. В ГЕ -*ть* перед энклитиками, начинающимися с согласного, отсутствует (за исключением одного случая), однако этот факт ни о чем не говорит, поскольку, как мы увидим, употребление -*ть* в ГЕ обусловлено идиосинкратическими задачами писца, которому -*ть* перед *ся*, *бо*, *же* было вовсе не нужно.

[2] Я глубоко признателен А. А. Пичхадзе, которая любезно указала мне на необычное употребление имперфекта с аугментом в данном памятнике. Мне приятно также поблагодарить А. А. Зализняка, А. А. Пичхадзе, А. Тимберлейка, Б. А. Успенского и С. Штоль, которые обсуждали со мною данную работу и высказали важные соображения, которыми я был рад воспользоваться.

и не оста/влꙗше г҃латі бѣсъ. ꙗко вѣдѧхȣть ї.	Мк **1** 34	71
и назірахоуть ї.	Мк **3** 2	73 об.
и оу҆гн·ѣтахоуть ї.	Мк **5** 24	79
идеже слышѧхоуть и ꙗко тоу ѥсть.	Мк **6** 55	83 об.
и молѧхоуть и да понѣ/ въскрілли різы ѥго косноуться.	Мк **6** 56	83 об.
Потомь же въпрашѧхоуть и фарісеї.	Мк **7** 5	84
въпрашѧхоуть и оу҆ченіці ѥго	Мк **7** 17	84 об.
и молѧ/хоуть и да възложіть на нь роукоу.	Мк **7** 32	85 об.
и молѧхоуть / и да и коснеть.	Мк **8** 22	87
И въпрашахоу/ть и г҃лще	Мк **9** 11	88 об.
ꙗко пріріщюще цѣ/ловахоуть и	Мк **9** 15	89
оу҆чені/ці ѥго въпрашѧхоуть и ѥдіного.	Мк **9** 28	90
И прістоупльше /фарісеи въпрашѧхоуть и.	Мк **10** 2	91 об.
И въ домоу пакы оу҆чені/ці въпрашѧхоуть и. и г҃ла имъ	Мк **10** 10	92
и въпрашѧхоуть / и г҃люще	Мк **12** 18	97 об.
въпрашѧхоуть и ѥдиного / петръ и иѧковъ	Мк **13** 3	99 об.
и бьѧхоуть и тръстью по главѣ.	Мк **15** 19	107
И мімоходѧщеи хоулѧхоуть и.	Мк **15** 29	107 об.
И въпрашѧхоуть и народі г҃люще.	Лк **3** 10	119 об.
ѧко вѣдѧхоуть и г҃а самого / соущѧ.	Лк **4** 41	123 об.
и прідошѧ до н·ѥго. и дь/ржѧхоуть и	Лк **4** 42	123 об.
и назірахоу/ть и кніжніці.	Лк **6** 7	127
молѧхоуть и тъщь/но г҃люще ѥмоу.	Лк **7** 4	130
и вѧзахоуть / и оу҆жі желѣзнъı.	Лк **8** 29	135
и молѧхоуть и. да не пове/літь имъ въ бездьноу ити.	Лк **8** 31	135
ѥгда же и/дѧше. народі оугн·ѣтахоуть и.	Лк **8** 42	136
и подражѧхоуть и.	Лк **16** 14	157 об.
и въ/прашѧхоуть и г҃люще. оу҆чітел·ю	Лк **20** 27—28	167
молѧхоуть и оу҆че/ніці ѥго г҃люще	Ин **4** 31	187 об.
молѧхоуть и дабъı прѣбъı҃л ȣ ніхъ.	Ин **4** 40	188

пакъı / же въпрашахоуть и фарıсеи.	Ин **9** 15	202
и молꙗхоуть и г҃люще	Ин **12** 21	209 об.
ра/зоумѣ же і҃съ ꙗко хотꙗхоу/ть и въпрашати.	Ин **16** 19	217 об.
и бьꙗхоуть и / по ланıтама	Ин **19** 3	222 об.

Особого внимания заслуживает тот факт, что аугмент появляется во всех соответствующих контекстах, т. е. всякий раз, когда за формой имперфекта 3 лица мн. числа следует энклитическое местоимение **и**, оно присоединяется к глагольной форме с помощью аугмента. В Лаврентьевской летописи, обследованной Тимберлейком, употребление аугмента в данном контексте отнюдь не столь последовательно; о том, что этот контекст является исходным для появления аугмента, свидетельствуют лишь статистические соотношения: в 6 из встречающихся в Повести временных лет 11 случаев, которые могут быть приписаны оригиналу данного памятника, аугмент имеется, в 5 — отсутствует. Возможно, эта непоследовательность Лаврентьевской летописи объясняется тем, что она представляет собой достаточно поздний список, хотя соответствие между разными списками Повести временных лет делает это объяснение не самым правдоподобным. Скорее можно думать, что тщательность письма в летописном памятнике радикально отличалась от тщательности письма евангельского текста и, таким образом, последовательность в употреблении аугмента обусловлена жанром памятника (ср. об этом факторе: Дурново 2000, 645—646).

Нужно заметить, что писец ГЕ обладал высоким профессионализмом. В тексте совсем не много описок и исправлений, вариативность в написании отдельных форм, столь характерная для памятников XI—XIV вв., в разбираемом памятнике весьма ограничена. Искусность писца заметна и в орфографии. Он с почти полной последовательностью обозначает палатальные сонорные (с помощью диакритической точки, йотированной буквы, крючка или комбинации этих приемов), что для XI—XII вв. может служить показателем профессионального мастерства; последовательно передает рефлексы **zdj*, **zgj* и **zg* перед передней гласной с помощью **жч** и т. д. Последовательное употребление аугмента с формами имперфекта 3 лица мн. числа

перед энклитическим **и** тоже следует интерпретировать как характеристику его высокого профессионализма.

Определенная непоследовательность свойственна лишь употреблению аугмента с формами имперфекта 3 лица мн. числа перед неэнклитическими местоимениями, начинающимися с йотированного гласного. Здесь на 11 случаев употребления формы имперфекта с аугментом приходится 12 случаев употребления аналогичной формы без аугмента. Примеры употребления аугмента см. ниже (привожу полный список)[3]:

Пример	Стих	Лист
и се агг҃ели / пристоупішѧ. и слоужѧхоуть ѥмꙋ.	Мф **4** 11	7
даро/ді (sic! — вм. **народі**) **же прѣщѧхоуть има да оумъ/лчіта.**	Мф **20** 31	44 об.
и агг·ели слоу/жѧхоуть ѥмоу.	Мк **1** 13	69 об.
и прѣщѧхоуть ѥмоу мнозі да оу҆/мълчіть.	Мк **10** 48	94
и нѣціи ѿ сто //ꙗщіх· тоу гл҃ахоуⷮ има.	Мк **11** 5	94 об.—95
и прѣщѧхоуть ѥи.	Мк **14** 5	102
по н·ѥмь хожѧхоу и слоужѧхоуⷮ ѥмоу.	Мк **15** 41	108
и народі иска/хоуть ѥго.	Лк **4** 42	123 об.
віде̑вше же оу/ченіці прѣщѧхоуть имъ.	Лк **18** 15	161 об.
и прѣдъидоущеи прѣщѧхоуть ѥ/моу да оу҆мълчіть.	Лк **18** 39	162 об.
ненавідѧхоуⷮ ѥго. / и послашѧ	Лк **19** 14	163 об.

Не менее часто, однако, в соответствующих контекстах аугмент не употребляется. Приведу и здесь полный список контекстов:

---

[3] О том, как обстоит дело с другими энклитическими местоимениями, судить трудно, поскольку для такого суждения нет материала. В одном случае находим форму с аугментом перед местоимением **ѧ** (**прівожѧхоуть ѧ к н·емоу.** — Лк **4** 40, л. 123 об.), и отсюда можно было бы сделать вывод, что аугмент последовательно употребляется перед всеми энклитическими местоимениями, начинающимися с глайда. Единичность примера, однако, не способствует доказательности этого вывода.

Пример	Стих	Лист
и фарісеї гл҃ахоу ѥмоу	Мк **2** 24	73
ꙗко/ нападахоу ѥмь хотѧще прікоснoутісѧ ѥмь.	Мк **3** 10	74
и мнозі на/роді послоушѧхоу ѥго въ сласть.	Мк **12** 37	99
дадѧхоу ѥмоу піті огорчено віно.	Мк **15** 23	107
арх·іиере/и же и кніжніці. искахоу ѥго погоу/біті.	Лк **19** 47	165 об.
Къ томоу же не съмѣѧхоу ѥго въпра/шѧти ничсо же.	Лк **20** 40	167 об.
и не имѧхоу имъ вѣры	Лк **24** 11	176 об.
и искахоу ѥго оубіті.	Ин **5** 16	190
сего же раді паче иска/хоу ѥго июдеи оубіті.	Ин **5** 18	190
ѧко искахоу ѥго июдеї / оубіті.	Ин **7** 1	195 об.
июдеи же искахоу ѥго въ празд/нікъ	Ин **7** 11	196
и гл҃ахоу ѥмоу.	Ин **10** 24	205

Употребление аугмента в данном контексте заставляет задуматься об акцентном статусе неэнклитических местоимений. Аугмент, как показывает материал ГЕ, употребляется лишь в тех случаях, когда имеется сильное (клитическое) примыкание начинающегося с гласной или глайда слова к предшествующей форме имперфекта. Там, где такого примыкания нет, аугмент не употребляется. Эти случаи многочисленны, так что нет смысла давать их полный список; приведу лишь несколько примеров: **гл҃ахоу оученикомъ ѥго** (л. 18), **гл҃ахоу. о кнѧ/зи** (л. 19 об.), **гл҃ахоу. ꙗко** (л. 45 об.), **гл҃ахоу архіиереи** (л. 63 об.), **гл҃ахоу. инъı сп҃се** (л. 65), **гл҃ахоу. ꙗко илію зоветь** (л. 65 об.), **гл҃ахоу оученікомъ ѥго** (л. 72 об.), **бѧхоу оученіці** (л. 72 об.), **бѧхоу оу н·его** (л. 74 об.), **гл҃ахоу. ꙗко** (л. 74 об.), **гл҃ахоу ѧко** (л. 75), **иже бѧхоу о н·ѥмь** (л. 75 об.), **и бѣсъı многъı изгонѧхоу. и мазахоу мастью** (л. 81), **гл҃ахоу. ꙗко** (л. 81), **бѧхоу ꙗко овьцѧ** (л. 82), **проповѣдахоу. и прѣи/зліха дівлꙗхоусѧ** (л. 85 об.), **гл҃а/хоу ꙗко** (л. 89 об.), **имѧхоу иѡана ꙗко пр҃рка** (л. 96 об.), **И искахоу ꙗті и** (л. 97), **искахоу архіиереи** (л. 101 об.), **гл҃ахоу. инъı сп҃се** (л. 107 об.), **хожѧхоу и слоужѧхоу҃т ѥмоу** (л. 108), **и въ/стъргахоу оученіці ѥго класъı и ѧ҆/дѧхоу. и** (л. 126 об.), **творѧхоу и лъжімъ пр҃р-**

ко/мъ (л. 128) и т. д. Единственным исключением является следующее употребление: **и нарıцꙗхоуть именьмь /оц҃ꙗ своѥго захарıꙗ.** (л. 115 — Лк **1** 59). На фоне множества примеров противоположного свойства (без аугмента перед гласной или глайдом последующего полноударного слова) этот случай можно рассматривать как окказиональное и немотивированное отступление от действующей в ГЕ закономерности, обусловленное, видимо, пропуском энклитического местоимения (**и** или **ѥ**), представленного в других евангельских рукописях.

В сочетаниях форм имперфекта с неэнклитическими формами местоимения **и** имеет место, видимо, своего рода промежуточный тип примыкания или колебание между двумя основными типами — энклитическим и полноударным. В 48% случаев эти формы ведут себя как энклитики, т. е. объединяются с формой имперфекта в одну тактовую группу (о возможности подобных объединений для сочетаний иного рода ср.: Зализняк 1985, 121), в 52% случаев — как полноударные слова. Данные Лаврентьевской летописи, проанализированные Тимберлейком, хотя и менее определенны (поскольку употребление аугмента менее последовательно и характеризует больший набор контекстов), хорошо согласуются с такого рода промежуточным акцентным статусом форм типа **ѥмоу**, **имъ** и т. д.: они могут появляться с аугментом, хотя существенно реже, чем настоящие энклитические местоимения (Тимберлейк 1997а, 71—72). Можно было бы с осторожностью предположить, что уже в этот ранний период (XII в.) рассматриваемые местоимения факультативно могут функционировать как энклитики (как это имеет место и в современном русском языке и, надо думать, характеризовало достаточно ранний период в истории болгарского и македонского языков — до тех пор, пока соответствующие местоимения окончательно не превратились в энклитики), и именно этот их переходный статус отражается в непоследовательном употреблении аугмента.

Сформулированная выше закономерность употребления аугмента в ГЕ нарушается еще в одном случае. Окказиональное отступление от нее находим в следующем примере: **Подражꙗхоуть же и и кнꙗѕı гл҃юще** (л. 175 — Лк **23** 35). Аугмент появляется здесь перед энклитикой, начинающейся с согласной.

В принципе, этот пример можно было бы трактовать и как случай расширения (и переосмысления) первоначального контекста, в котором возникает аугмент имперфекта: от местоименных энклитик, начинающихся с глайда, к фразовым энклитикам с любой инициалью. Такая реинтерпретация контекста (трафарета) вполне возможна, и подобная возможность реализуется, например, в Лаврентьевской летописи — в зачаточном виде в Повести временных лет и с большой последовательностью в следующем сегменте летописи, охватывающем статьи от 1111 до 1185 г. (Тимберлейк 1997а, 72—78). В этом последнем сегменте аугмент последовательно употребляется с имперфектами, «стоящими в начале фразы, когда за ними следуют энклитики **же** или **бо**» (там же, 78); в 6 из 7 релевантных случаев аугмент присутствует, ср.: **бѧхуть бо лодьѣ покрытъı доскаміи бѧхуть бо борци стоѧще горѣ** ‹6659›; **помагашеть же ѥму и Черниговьскъıи еп҃пъ** ‹6676› (там же).

Для ГЕ, однако, такая интерпретация вряд ли подходит. Во-первых, пример остается единичным, при том что релевантные контексты имеются во множестве и аугмент в них не появляется, ср.: **гл҃а/хоу же. нъ не въ праздьнікъ** (л. 58, 101 об.), **Бѧхоу же тоу женъı многъı** (л. 66), **бѧхоу же нѣции ѿ кнıжнікъ** (л. 71 об.), **Бѧхоу же на поуті** (л. 93), **слъıшѧхоу же оученіці ѥго** (л. 95 об.), **бѧхоу же нѣции** (л. 102), **Бѧхоу же женъı** (л. 108), **хотѧхоу же и прı/ѧти въ корабль** (л. 192 об.) и т. д. Во-вторых, в таком случае аугмент должен был бы встречаться и перед энклитическим возвратным местоимением, поскольку этот контекст может рассматриваться как естественное промежуточное звено в предполагаемой реинтерпретации: **сѧ** представляет собой «присловную» энклитику, так же как и местоимение **и**, и при этом начинается с согласной, так же как и фразовые энклитики **бо** и **же**. Именно такую ситуацию наблюдаем в Лаврентьевской летописи, в Галицком же евангелии аугмент перед **сѧ** не встречается ни разу. Это и побуждает трактовать разбираемый пример как случайное отклонение, вызванное, возможно, тем, что за энклитикой **же** в правильном порядке следует энклитика **и**: писец мог по ошибке «проглядеть» **же** и вставить аугмент, которого требовала бы энклитика **и**, если бы **же** отсутствовало.

Не эти явления, однако, составляют наиболее нетривиальную особенность употребления аугмента имперфекта в ГЕ. Замечательным образом, аугмент употребляется только после форм имперфекта 3 лица мн. числа и никогда после форм 3 лица ед. числа. Между тем сочетания имперфекта 3 ед. с энклитическими местоимениями не менее многочисленны, чем аналогичные сочетания с имперфектом 3 мн., так что отсутствие аугмента при формах 3 ед. ни в малой мере не обусловлено недостатком возможностей. Приведу выборочные примеры: **давлѧ/ше и гл҃ѧ.** (Мф **18** 28 — л. 40 об.), **молѧше и гл҃ѧ.** (Мф **18** 29 — л. 40 об.), **напаꙗше и** (Мф **27** 48 — л. 65 об.), **и въпра/шѧше и** (Мк **5** 9 — л. 78), **и молѧше ї мъ/ного** (Мк **5** 10 — л. 78), **молѧше и** (Мк **5** 18 — л. 78 об.; Лк **8** 41 — 135 об.), **и молѧше ї мно/го гл҃ꙗ** (Мк **5** 23 — л. 79), **и хранѧше и** (Мк **6** 20 — л. 81 об.), **И молѧше и** (Мк **7** 26 — л. 85), **въпрашѧше и** (Мк **8** 23 — л. 87; Мк **10** 17 — л. 92; Мк **15** 4 — л. 106), **на//палѧше и гл҃ѧ** (Мк **15** 10 — л. 107 об.—108), **оу҆жѧсъ бо одьржѧше и** (Лк **5** 9 — л. 124 об.), **въсхъıщѧше и** (Лк **8** 29 — л. 135) и т. д., ср. также: **въпрашѧше ѧ** (Мф **2** 4 — л. 4 об.; Мк **9** 33 — л. 90), **оучаше ѧ гл҃ѧ** (Мф **5** 2 — л. 8), **и оу҆чѧше ѧ прıтъчѧмı/ много** (Мк **4** 2 — л. 75 об.), **пакъı оу҆чѧше ꙗ** (Мк **10** 1 — л. 91 об.), **и сѣдъ оу҆чѧше ѧ** (Ин **8** 2 — л. 198).

Ни в одном из обследованных в интересующем нас отношении памятников употребление аугмента никак от числового значения имперфектной формы не зависит, аугмент употребляется и с формами ед. числа на -*ше*, и с формами мн. числа на -*ху*. Именно такая ситуация и представляется естественной, как бы мы ни объясняли происхождение аугмента. Если аугмент появляется в условиях сандхи, эти условия равно относятся к формам ед. и мн. числа. Если аугмент переносится из форм презенса, то и здесь формы мн. числа ничем не противопоставлены формам ед. числа. Одним словом, ни фонетические, ни морфологические факторы не могут объяснить той разности в употреблении аугмента с формами ед. и мн. числа, которая наблюдается в ГЕ. Это и делает узус ГЕ столь необычным.

На мой взгляд, разгадка лежит на поверхности и состоит в том, что писец старался избежать того обсценного звучания, которое возникает при присоединении энклитических местоиме-

ний к форме мн. числа имперфекта. Евангелие предназначалось прежде всего для литургического чтения. Конечно, honni soit qui mal y pense, однако постоянное повторение непристойного звукосочетания могло показаться смутительным для благочестивого уха монашествующего книжника. Употребление аугмента позволяло избежать кощунственного соблазна. Соблазн, видимо, не возникал, когда элементы непотребного звукосочетания были разнесены по разным тактовым группам, как, скажем, во фразе **ꙗко мнозѣ кго ради идꙗхоѵ июдеи и вѣровахоѵ въ іс҃а** (Ин **12** 11 — л. 209), поскольку литургическое чтение было отчетливым и возможного в allegro стиле слияния в нем не происходило, однако в случае энклитик разделение элементов было невозможно.

В силу традиций книжного чтения, расчленявшего произносимую последовательность звуков на склады, вычленение из этой последовательности отдельных фонетических сегментов было для средневекового восточнославянского книжника достаточно естественным процессом: ему не нужно было обладать извращенным умом, для того чтобы услышать, как сомнительно звучит **вѣдꙗхоѵ и**. О том, что членимость звуковой цепочки была актуальна для средневековых книжников, может свидетельствовать наименование пения, при котором еры произносятся как [о] и [е], *хомовым*. Как поясняет Б. А. Успенский, «[х]омовым данное пение называется потому, что окончание аориста 1 л. мн. -*хомъ*, часто встречающееся в церковных текстах, звучит в этих условиях как -*хомо*. Так, ирмос седьмой песни Великого канона поется в хомовой огласовке следующим образом: „Согрѣшихомо и беззаконовахомо, не оправдихомо предо тобою, ни соблюдахомо, ни сотворихомо якоже заповѣда намо, но не предаи же насо до конеца отеческіи Боже“» (Успенский 2002, 146). Те книжники, которые не обинуясь вычленяли **хомъ**, столь же натуральным образом вычленяли и **хоѵ и**[4].

Было бы недальновидно сводить лингвистическое значение обнаружившегося явления к филологическому курьезу. Мы

---

[4] Стоит отметить, что приведенный материал является хотя и косвенным, но, видимо, наиболее ранним свидетельством существования данной лексемы со значением фаллоса в славянских языках.

имеем здесь дело с особенно ярко выраженным, но никак не исключительным случаем осуществления воли носителя языка в его языковой деятельности. Морфологическая вариативность возникает по большей части под действием системных факторов (таких как морфологизация фонетических вариантов при изменении фонологической системы, аналогия, воздействие условий сандхи и т. д.). Как только, однако, в распоряжение говорящего или пишущего поступают вариантные языковые элементы, он получает возможность воспользоваться появившимся у него выбором. Язык — это не черный ящик, спустившийся с небес в мозг носителя, а инструмент (или набор инструментов), который носитель приспосабливает для стоящих перед ним коммуникативных задач (ср. Живов и Тимберлейк 1997).

Так, скажем, когда у летописца для одушевленных существительных появляется возможность выбора между В = И и В = Р, он начинает пользоваться ею для противопоставления «existential reference», которая благоприятствует В = И, и «individuated reference», которая благоприятствует В = Р (см. Тимберлейк 1997b); семантические различия, которые ему при этом удается выразить, могут быть весьма значимы и нетривиальны (ср. о значении словосочетания **созва болѧръ** в Лаврентьевской летописи под 6605 г. при обычном для Повести временных лет **созва болѧре**: Тимберлейк 1996, 12—13).

У пишущего могут быть, понятно, и задачи совсем иного типа. Например, приказной служащий, составлявший в 1642—1643 гг. протоколы по делу Офоньки Науменки, обвиненного в том, что он умышлял портить и уморить царицу Евдокию Лукьяновну (публикацию этих протоколов см. Котков и др. 1968, 254—277), располагал вариантными формами инфинитива на *-ть* и на *-ти*. В основном тексте он последовательно употребляет форму на *-ть* в соответствии с тем узусом, который был характерен для приказных документов этого периода; однако в завершающем фрагменте, содержащем царский приговор по делу, появляются инфинитивы на *-ти*. Очевидно, что находчивый канцелярист воспользовался имевшимся в его распоряжении морфологическим вариантом для того, чтобы маркировать особый статус текста монаршего волеизъявления (см. Живов 2004, 164—166).

Подобные примеры могут быть приведены во множестве. В разных случаях и цели использования морфологических вариантов, и степень сознательности, с которой носитель языка пускает в дело имеющиеся у него возможности, могут быть различны. Так обстоит дело и с возможностями, сообщавшимися разными типами употребления аугмента имперфекта. Сами эти возможности возникли благодаря системным факторам. В ряде восточнославянских памятников они использовались, как было показано в упоминавшихся выше работах А. Тимберлейка и С. Штоль, для маркировки различных синтаксических и семантических отношений; степень интенциональности такого использования в каждом из случаев требует особого обсуждения. Писец ГЕ, несомненно, воспользовался имевшимися у него возможностями вполне намеренно, так что мы имеем здесь дело с предельно ясным случаем сознательной манипуляции морфологическими вариантами. Эта манипуляция, надо думать, идиосинкратична и в силу этого особенно показательна, хотя, заметим, степень оригинальности галицкого книжника не может быть установлена без обследования других библейских и богослужебных памятников. В конце концов, стремление избежать неблагопристойных коннотаций свойственно всем нам, включая и высокочтимого юбиляра.

Addendum

Вопрос о том, до какой степени писец ГЕ оригинален, а до какой он следует сложившейся традиции, все еще нуждается в дополнительном исследовании, однако некоторые сведения, проливающие свет на эту проблему, кажутся уместными и на сегодняшнем этапе ее изучения. В одних рукописях XI—XII вв. аугмент **-ть** может присоединяться к формам имперфекта и во мн. и в ед. числе, в других он сочетается только с формами мн. числа. К первому типу относится, например, Выголексинский сборник (Житие Федора Студита) и Успенский сборник, ко второму — Архангельское евангелие (АЕ — РГБ, Муз. 1666; см. публикацию: Жуковская и Миронова 1997) и Мстиславово евангелие (МЕ — ГИМ, Син. 1203; см. публикацию: Жуковская 1983) (Янакиева 1989). Ко второму типу могут быть отне-

сены также Юрьевское евангелие 1119—1128 г. (ЮЕ — ГИМ, Син. 1003) и Добрилово евангелие 1164 г. (ДЕ — РГБ, Рум. 103). Сами по себе эти дистрибутивные ограничения ничего еще не говорят о характере употребления аугмента.

Аугмент имперфекта в АЕ[1] (первый почерк, л. 1—76 об.) и АЕ[2] (второй почерк, л. 77—175) употребляется в целом так же, как в ГЕ, — с тем лишь различием, что примеров здесь значительно меньше. Во всех примерах, кроме одного, аугмент стоит перед энклитическим местоимением **и**; как и в ГЕ, в этой позиции аугмент употребляется с полной последовательностью, т. е. после имперфекта 3 лица мн. числа и перед **и** аугмент появляется по всех имеющихся случаях. Все формы имперфекта с аугментом перечислены у Ц. Янакиевой (Янакиева 1989, 39); приведу эти примеры с их контекстами:

Пример (АЕ[1])	Стих	Лист
молѧхоути и оученици г҃лющє	Ин **4** 31	2об.
молѧхоути и да бъı прѣбъıлъ оу нихъ	Ин **4** 40	3
и молѧхоуть и г҃лющє	Ин **12** 21	11
ѥдини жє ѿ нихъ хотѧхоути и ѩти[5]	Ин **7** 44	22 об.—23
бѣси жє молѧахоути и г҃лющє	Мф **8** 31	31 об.
и назирахоути и кънижьници и фарисѣи	Лк **6** 7	51 об.
ѥгда жє идѧашє народъ оугн·ѣтаахоути и	Лк **8** 42	54
и вѧзахоути и оужи желѣзнъı и поутъı. и стрѣжахоуть и	Лк **8** 29	56
и молѧхоути и. да повелить имъ въ бездьноу вънити	Лк **8** 31	56
и подражахоути и.	Лк **16** 14	66 об.
и пристоупльшє оученици ѥго молѧхоути и г҃лющє.	Мф **15** 23	70 об.

[5] В издании Жуковской и Мироновой неправильное и не дающее смысла словоделение: **ѥдини жє ѿ нихъ хотѧхоу тии ѩти** (Жуковская и Миронова 1997, 86—87).

Пример (АЕ[2])	Стих	Лист
и оуги·ѣтахоуть и	Мк **5** 24	138 об.
и нарицахоуть (и) имєньмь оц҃а своѥго захарıа[6]	Лк **1** 59	167 об.

Всего, таким образом, насчитывается 14 примеров с аугментом перед энклитическим местоимением **и**. В одном случае в АЕ[2] аугмент стоит перед неэнклитическим (слабоэнклитическим) местоимением **ѥго**:

и биꙗхоуть ѥго по главѣ.	Мф **27** 30	107 об.

Перед другими неэнклитическими местоимениями, равно как и вообще перед другими словами, начинающимися с гласной, аугмент не встречается. Это позволяет приписать писцу АЕ те же интенции, что и писцу ГЕ: писец стремится избежать неблагозвучного звукосочетания, образующегося при тесном примыкании энклитики к форме имперфекта. Существенно меньшее число примеров в АЕ сравнительно с ГЕ объясняется как меньшим объемом памятника, так и характером текста, менее архаичного, чем текст ГЕ, и нередко дающего местоимение **ѥго** в тех контекстах, где в ГЕ стоит местоимение **и** (см. примеры ниже, примеч. 9). Как отмечает Ц. Янакиева (Янакиева 1989, 40—41), сопоставившая АЕ с Остромировым евангелием, это особенно характерно для АЕ[2] (в 64 случаях форма **ѥго** появляется там, где в Остромировом евангелии стоит **и**; в 6 случаях это имеет место после формы 3 лица мн. числа имперфекта). Кажется вероятным, что различия в данном отношении между АЕ[1] и АЕ[2] обусловлены не столько модернизирующими пристрастиями второго писца, сколько разными лингвистическими традициями оригиналов, с которыми работали первый и второй писец АЕ: как показала Л. П. Жуковская (Жуковская и Миронова 1997, 20—33), АЕ[1] восходит к краткому апракосу, а АЕ[2] — к полному.

---

[6] Поставленная в скобки энклитика **и** написана в рукописи над строкой.

Для ЮЕ данные таковы. Аугмент употребляется почти исключительно перед энклитическим местоимением **и**; таких употреблений насчитывается 19, см.:

Пример	Стих	Лист
бѣси же. молѧа̇хоу/ть и гл҃юще	Мф **8** 31	48г.
и̇ молѧахоу/ть и да тъкмо прико/сноуть сѧ въскрилии ризъı ѥго.	Мф **14** 36	53вг
понеже ꙗ̇/ко пр҃рка имѣахоуть ї	Мф **21** 46	64а
и назира/а̇хоуть и̇ кънижьни/ци	Лк **6** 7	99г
молѧахоуть и̇ / тъщьно. гл҃ѭще ѥ̇моу	Лк **7** 4	103б
ѥ̇гда же и̇дѧа̇ше. наро/ди оугн·ѣтаа̇хоуть и.	Лк **8** 42	106г
и̇ молѧа̇/хоуть и да не повели/ть и̇мъ въ бездьнѫ /и̇ти.	Лк **8** 31	110в
и̇ въпра/шаа̇хоуть и̇ гл҃ѭще. / оучителю	Лк **20** 27—28	124б
и̇ въпра/шаахоуть и гл҃ѭще	Мк **9** 11	127б
и̇ прири/щоуще цѣловаа̇хоу/ть и̇	Мк **9** 15	129б
и похоулѧа̇хоуть / и̇ и̇ рече и̇мъ	Лк **16** 14	133г
въпрашаа̇/хоуть и̇ особь. петръ / и и̇ꙗ̇ковъ	Мк **13** 3	140в
и̇ закръıвъше и̇ / биѧ̇а̇хоуть и̇ по лицѫ.	Лк **22** 64	153г
и молѧа̇хоуть и̇ да / възложить на нь рѫкоу.	Мк **7** 32	160б
оученици / ѥго въпрашаахоуть // и̇ ѥ̇диного.	Мк **9** 28	161аб
и̇ възѧша / тръсть и̇ биꙗ̇а̇хоуть и̇ /по главѣ.	Мф **27** 30	196б
и̇ сѣдѧще / стрѣжаа̇хоуть и̇ тоу	Мф **27** 36	196в
мимиходѧщеи̇ (sic!) **же / хоулѧхоуть и.**	Мф **27** 39	196г
и̇ въпрашаа̇/хоуть и народи	Лк **3** 10	218а

Лишь в одном случае аугмент встречается перед неэнклитическим местоимением **ѥго** (имперфект мн. числа без аугмента в данной позиции встречается часто, так что примеров не приводим), ср.:

зане ꙗ̇ко / пр҃рка имѧахоуть ѥ̇го	Мф **14** 5	53б

Таким образом, ЮЕ весьма сходно в интересующем нас отношении с АЕ; и здесь писец избегает употребления «неприкрытой» флексии **-хоу** перед энклитикой **и**[7]. Существенное отличие ЮЕ от АЕ и ГЕ состоит в том, что писцы АЕ и ГЕ употребляют аугмент перед энклитикой **и** с неуклонной последовательностью, что в ГЕ приводит к экспансии этого узуса и на контекст с неэнклитическими (или «слабоэнклитическими») местоимениями, тогда как писец ЮЕ употребляет аугмент перед энклитикой непоследовательно, ср. следующие примеры:

Пример	Стих	Лист
молѧа̇хоу и̇ оучє/ници ѥ̇го	Ин **4** 31	18а
па/къı жє въпрашаа̇хоу / и фарисѣи	Ин **9** 15	22в
и̇ молѧа̇хоу и / г҃лѭщє	Ин **12** 21	24б
и̇дєжє / слъıшѧа̇хоуть и. ꙗко тоу / ѥсть	Мк **6** 55	82б
въпрашаа̇хоу и оучє/ници ѥ̇го	Мк **7** 17	84г
ꙗко вѣ/дѧахоу и г҃а самого сѫ/ща	Лк **4** 41	91г
и придошѧ до / нєго и дьрьжаахоу и	Лк **4** 42	91г
и вѧ/заа̇хоуть и оужи жєлѣ/знъı.	Лк **8** 29	110в

Непоследовательность, как можно видеть, характеризует почти треть всех релевантных контекстов (8 из 27, т. е. 29,63%); понятно, что в этой ситуации отсутствует и экспансия данного узуса на положение перед неэнклитическими местоимениями.

Употребление аугмента в МЕ характеризуется в общем теми же чертами, что и употребление ЮЕ. И в этом памятнике аугмент

---

[7] Весьма показательно следующее сопоставление одного и того же стиха в ГЕ и ЮЕ:

ГЕ	**И въ домоу пакъı оу̓чєнı/цı въпрашѧхоуть и. и г҃ла имъ**	Мк **10** 10	92
ЮЕ	**и въ домоу пакъı / оучєници ѥ̇го о̇ сємь / жє въпрашаахоу. и̇ г҃ла / и̇мъ**		131г

Форма имперфекта в обоих случаях находится перед словом, начинающимся с *и*, однако в ГЕ это энклитическое местоимение, обусловливающее появление аугмента, а в другом случае союз, подобного эффекта не дающий.

за единичными исключениями, употребляется только перед энклитическим местоимением **и**; полные данные (с небольшими неточностями) собраны в работе Ц. Янакиевой (1989, 42—43). Всего отмечено 23 употребления аугмента перед энклитикой **и**, см.:

Пример	Стих	Лист
разоумѣ же ис҃ъ ꙗко хотѧахѫти и въпрашати.[8]	Ин **16** 19	24в
бѣси же молѣахоуть и г҃лѭще	Мф **8** 31	38г
и молѣахоуть и. да тъкмо прикоснѫть сѧ подо(лъ)цѣ ризъ его.	Мф **14** 36	42а
понеже ꙗко пр(о)рка имѣахоуть и	Мф **21** 46	49г
и егда видѣахоуть и доуси нечисти	Мк **3** 11	56в
иде слъышаахоуть и ꙗко тоу есть.	Мк **6** 55	64в
и молѣахоуть и да понѣ подолъкоу ризѣ его прикоснѫть сѧ.	Мк **6** 56	64в
и пристѫпьше оученици его молѣхоуть и г҃лще.	Мф **15** 23	67г
и вѧзаахоуть и ѫжи желѣзнъı.	Лк **8** 29	83г
и молѣахоуть и да не повелить имъ въ бездьноу ити.	Лк **8** 31	84а

[8] Л. П. Жуковская предлагает здесь иное словоделение: **разоумѣ же ис҃ъ ꙗко хотѧахѫ ти и въпрашати** (Жуковская 1983, 57). Правда, замена **ь** на **и** в позиции перед **и** (отражение напряженности редуцированного) для МЕ не характерна, однако в качестве окказионализма она выглядит достаточно правдоподобно. Она может быть отражением протографа: для данных чтений из Иоанна мог быть использован иной протограф, чем для остального текста (как предполагает, впрочем без аргументации, Ц. Янакиева — Янакиева 1989, 44), или писец МЕ, устраняя данное явление при переписке своего оригинала, в рассматриваемом случае оставил по недосмотру **и** на месте **ь**. Как бы то ни было, чтение **хотѧахѫти и** представляется предпочтительным. Хотя текст осмыслен и при словоделении, предложенном Жуковской, он оказывается лингвистически аномален, поскольку энклитика не примыкает к глаголу, а отделена от него полноударным словом. На правильность чтения **хотѧахѫти и** указывают и другие евангельские рукописи, и греческий оригинал, в котором местоимению им. мн. **ти** ничего не соответствует.

ѥгда же идѧше народи оугнѣтаахоуть и.	Лк **8** 42	86в
и въпрашахоуть и глюще	Мк **9** 11	101а
и пририщюще цѣловаахоуть и	Мк **9** 15	101б
пристѹпивъше фарисеи въпрашаахоуть ї.	Мк **10** 2	103а
и въ домоу пакы оученици ѥго о семь же въпрашаахѫть и.	Мк **10** 10	103б
и подражаахоуть и.	Лк **16** 14	104в
и въпрашаахоуть и глюще	Мк **12** 18	107г
въпрашаахѫть и особь. петръ. іаковъ	Мк **13** 3	109аб
и слоугы біаахѫть и за ланитоу	Мк **14** 65	115б
и закрывъше и біаахоуть и по лицю.	Лк **22** 64	120б
и оугнѣтаахоуть и.	Мк **5** 24	176в
и въпрашаахоуть и народи глюще.	Лк **3** 10	185в
занѥ іако прка имѣахоуть и	Мф **14** 5	205г

В двух случаях имперфект с аугментом встречается не перед энклитикой **и**. В одном случае это употребление не следует, видимо, считать отклонением от правила, поскольку аугмент появляется перед энклитикой **ѥ**, дающей практически столь же неблагозвучное чтение. В другом случае мы имеем дело с экспансией употребления аугмента на позицию перед неэнклитическими местоимениями. Приведу эти примеры:

Пример	Стих	Лист
и нарицахоуть ѥ именьмь оца ѥго захариа	Лк **1** 59	199г
и не имѧахоуть имъ вѣры	Лк **24** 11	208а

Нередки, однако, случаи, когда аугмент в релевантном для нас контексте отсутствует (таких случаев 10, т. е. приблизительно треть от всех релевантных контекстов), см.:

Пример	Стих	Лист
молѧахоу и оученици ѥго глюще	Ин **4** 31	15г
пакы же въпрашаахоу и фарисѣи	Ин **9** 15	19б
и молѧхоу и глюще	Ин **12** 21	20в

занѥ ꙗко п҃ррка имѣахоу и	Мф **14** 5	41г
въпрашаахоу и оученици ѥго	Мк **7** 17	65в
ꙗко видѧахоу и х҃а соуща самого.	Лк **4** 41	72в
и придошѧ до него и дьржаахоу и	Лк **4** 42	72в
и назираахѹ и книжьници	Лк **6** 7	78в
молѧахоу и тъщьно г҃лющє ѥмѹ.	Лк **7** 4	81а
и въпрашаахоу и г҃лющє оучителю	Лк **20** 27—28	97в

Таким образом, и в данном случае интенция писца не вызывает сомнения, однако последовательность в ее реализации далека от того эталона, который задают АЕ и ГЕ[9].

Из приведенных данных можно сделать по крайней мере один существенный вывод. Писец ГЕ следовал не своей идиосинкразии, а вполне сложившейся к его времени традиции обращения с обсценными звукосочетаниями, возникавшими при сочетании форм имперфекта во мн. числе с энклитическим местоимением **и**. Особенность его работы заключалась лишь в том, что он эту существовавшую до него тенденцию довел до полной последовательности и реализовал на обширном материале, продемонстрировав свои намерения в особенно эксплицитной форме. Когда именно и при каких обстоятельствах (в каком месте, в каком скриптории) возникла данная тенденция, остается неясным,

[9] Читателя не должны смущать расхождения в списках примеров между четырьмя анализируемыми евангелиями. Тексты их отнюдь не идентичны, и не только потому, что ГЕ — это тетр, а АЕ, ЮЕ и МЕ — апракосы. В ряде случаев вместо местоимения **и** появляется местоимение **ѥго**, ср. Мф **27** 39 **Мімоходѧщеи же хоулѧхоуть ı.** (в ГЕ, л. 65) — **мимоходѧщеи же хоулѧхоу ѥго** (в АЕ, л. 109); **мимоходѧщии же хоулѧахоу ѥго** (в МЕ, л. 154б, 161в); **мимоходѧще/и же хоулѧ̇хоу ѥ̇го** (в ЮЕ, л. 189 в). Вместо имперфекта может стоять другая глагольная форма, ср.: Ин **16** 19 **ра/зоумѣ же і҃съ ѩко хотѧхоу/ть и въпрашѧти.** (ГЕ, л. 217 об.) — **разоумѣ же і҃съ ꙗко хотѧти и въпрашѧти** (АЕ, л. 19); Мк **1** 34 **и не оста/влꙗше г҃латі бѣсъ. ꙗко вѣдѧхѹть ї.** (ГЕ, л. 71) — **и не оставлꙗаше г҃лати бѣсомъ ꙗко оувѣдѣша и** (МЕ, л. 55б); Мк **12** 18 **и въпрашѧхоуть / и г҃лющє** (в ГЕ, л. 97 об.); **и въпрашаахоуть и г҃лющє** (МЕ, л. 107г) — **ӥ въпрашѧѭть ӥ г҃лѭще** (ЮЕ, л. 137г). Имеются, понятно, и иные разночтения.

и вряд ли дальнейшие изыскания дадут однозначный ответ на этот вопрос. Рассмотренные памятники позволяют утверждать, что эта традиция возникает уже в XI в. и характеризует прежде всего евангельские рукописи. Последнее обстоятельство кажется понятным, поскольку евангельский текст предназначался для особо торжественного и внятного литургического чтения.

Надо полагать, что установившаяся в первой половине XII в. практика (отнюдь, впрочем, не общепринятая) употребления аугмента имперфекта для устранения неблагозвучных звукосочетаний продолжала существовать и позже. Ее отражение находим в ДЕ, которое, к сожалению, я не мог обследовать в полном объеме. Анализ приблизительно трети текста показывает вполне последовательное, хотя и представленное немногими примерами, употребление аугмента имперфекта только с формами мн. числа и только перед энклитикой **и**, ср.:

Пример	Стих	Лист
молꙗхоути и то/щьно г҃люще ѥмꙋ	Лк **7** 4	124б
и вѧзахꙋ/ти и оужи желѣзны	Лк **8** 29	128в
и молꙗхоути и да / не повелить имъ / въ бездьноу итї	Лк **8** 31	128г
ѥ/гда же идꙗше на/роди оугнѣтахоу/ти и.	Лк **8** 42	132г
и въпрашахоу/ти и г҃люще	Мк **9** 11	154вг
и приристюще / цѣловахоути и	Мк **9** 15	155а
и / въ домоу пакы / оученици ѥго о се/мь же въпраша/хоути и	Мк **10** 10	158а
и въпраша/хоути и народи г҃лю/ще.	Лк **3** 10	257г

Без аугмента **ти** (форма которого представляет собой результат распространенного преобразования **ь** в **и** в позиции перед **и**) имперфект 3 лица мн. числа в сочетании с энклитикой **и** в обследованном мною материале не появляется. Вне данного контекста аугмент появляется лишь в двух случаях, которые могут быть охарактеризованы в качестве исключений, появившихся из-за ошибки при копировании. В одном случае (Лк **4** 42 — л. 110г) аугмент появляется перед **сѧ** (**и при/доша до нєго. и де/ржахоуть сѧ да/бы не шелъ ѿ ни/хъ**), однако это **сѧ** делает

чтение малоосмысленным (народы держали Христа, чтобы Он не ушел от них, а не держались друг за друга) и представляет собой явное искажение копируемого текста, ср. неискаженный текст в ГЕ, л. 123 об.: **и прıдоша до н҇єго. и дь/ржѧхоуть и да нє бъı ошьлъ ѿ ни/хъ**. Таким же искажением с пропуском слов является и второй случай (Лк **22** 64 — л. 184а), в котором аугмент появляется перед предлогом **по** (**и закрꙑ/въшє бьıахоуть / по лицю г҇лющє**), ср. неискаженный текст в МЕ, л. 120б: **и закрꙑвъшє и биıаахоуть и по лицю. въпрашахоу же и г҇лющє**.

Было бы интересно понять, когда данная практика исчезает. И этот вопрос требует дополнительных исследований [10]. Эти исследования могли бы показать, как стремление к благозвучию вступает в конфликт с возникающим в какой-то момент восприятием формы имперфекта с аугментом в качестве нарушения книжной нормы и как (и в какой ситуации) нормативная установка одерживает в этом конфликте победу.

Литература

Дидди 2001 — Патерик Римский. Диалоги Григория Великого в древнеславянском переводе / Изд. подгот. *К. Дидди.* М.: Индрик, 2001.

Добровский 1822 — *Dobrowsky I.* Institutiones linguae slavicae dialecti veteris quae quum apud Russos, Serbos aliosque ritus graeci tum apud

---

[10] Реликты этой традиции обнаруживаются даже в весьма поздних рукописях, в которых почти не употребляется энклитическое местоимение **и**, а потому и не встречаются контексты, в которых ожидается появление аугмента имперфекта. Так, в списке Римского патерика (РНБ, Погод. 909) середины XVI в. имперфект с аугментом встречается всего три раза: **молѧхѹть и** (л. 27), **ѿгонѧхоуть и** (л. 101), **молѧхоуть и** (л. 87) (см. Дидди 2001, 111, 343, 351). Как можно видеть, во всех этих случаях аугмент присоединяется к форме 3 лица мн. числа и стоит перед энклитическим **и**; эти три случая исчерпывают все употребление имперфекта 3 лица мн. числа перед энклитическим **и** в рассматриваемой рукописи. Трудно предположить, что это случайное совпадение. Скорее можно думать, что в каком-то из протографов данной рукописи аугмент употреблялся более широко, а впоследствии устранялся по ходу устранения энклитического **и**. Без дополнительных материалов, однако, все подобные построения остаются в области гипотез.

Dalmatas glagolitas ritus latini Slavos in libris sacris obtinet. Vindobonae: A. Schmid, 1822.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Живов 2004 — *Живов В. М.* Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII веков. М.: Языки слав. культуры, 2004.

Живов и Тимберлейк 1997 — *Живов В.*, *Тимберлейк А.* Расставаясь со структурализмом (тезисы для дискуссии) // Вопр. языкознания. 1997. № 3. С. 3—14.

Жуковская 1983 — Апракос Мстислава Великого / Под ред. Л. П. Жуковской. М.: Наука, 1983.

Жуковская и Миронова 1997 — Архангельское Евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М.: Скрипторий, 1997.

Зализняк 1985 — *Зализняк А. А.* От праславянской акцентуации к русской. М.: Наука, 1985.

Иванов 1995 — Древнерусская грамматика XII—XIII вв. / Отв. ред. В. В. Иванов. М.: Наука, 1995.

Котков и др. 1968 — Московская деловая и бытовая письменность XVII века / Изд. подгот. С. И. Котков, А. С. Орешников, И. С. Филиппова. М.: Наука, 1968.

Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. / Отв. ред. Л. П. Жуковская. М.: Наука, 1984.

Соболевский 1907 — *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М.: Унив. тип., 1907.

Тимберлейк 1996 — *Тимберлейк А.* Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительного-родительного падежа (По поводу книги В. Б. Крысько «Развитие категории одушевленности в истории русского языка». М., 1994. 224 с.) // Вопр. языкознания. 1996. № 5. С. 7—19.

Тимберлейк 1997a — *Тимберлейк А.* Аугмент имперфекта в Лаврентьевской летописи // Вопр. языкознания. 1997. № 5. С. 66—86.

Тимберлейк 1997b — *Timberlake A.* Templates and the Development of Animacy // Russian Linguistics. 1997. Vol. 21. № 1. С. 49—62.

Тимберлейк 1998 — *Timberlake A.* Linguistic Layering in the *Lavrentian Chronicle* (The Imperfect Consonantal Augment) // R. A. Maguire, A. Timberlake (eds). American Contribution to the Twelfth International Congress of Slavists. Bloomington: Slavica Publishers, 1998. P. 501—514.

Тимберлейк 1999 — *Timberlake A.* On the Imperfect Augment in ‘Slovo o polku Igoreve’ // H. Baran, S. I. Gindin et al. (eds). Roman Jakobson:

Texts, Documents, Studies. Moscow: Russian State Univ. for the Humanities, 1999. P. 771—786.
Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). 3-е изд. М.: Аспект пресс, 2002.
Штоль 2000 — *Stoll S.* On the Desinence {-t'} of the Early East Slavic Imperfect // Russian Linguistics, 24 (2000). №. 3. C. 265—285.
Янакиева 1989 — *Янакиева Цв.* Отражение форм имперфекта с вторичными личными окончаниями в памятниках письменности Древней Руси // Die slavischen Sprachen. 17 (1989). C. 37—56.

Проблемы формирования русской редакции церковнославянского языка на начальном этапе (По поводу книги И. Тота «Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI — начале XII вв.». София, 1985, 358 с.)*

Труды И. Тота хорошо известны исследователям-славистам. В *Studia Slavica* им был опубликован ряд древнейших славянских памятников русского происхождения, ему принадлежит и серия палеографических и лингвистических описаний древнейших рукописей, содержащая полезную информацию о начальном периоде формирования русской редакции церковнославянского языка. Появившаяся недавно монография И. Тота как бы подводит итог этим исследованиям, что не может не вызвать у заинтересованного читателя определенных ожиданий: процессы формирования русской редакции до сих пор остаются не вполне изученными, и, заполнив эту лакуну, было бы естественно перейти к существенным обобщениям, касающимся функционирования церковнославянского языка в Древней Руси, его отношения к церковнославянскому языку других редакций, его взаимодействия с разговорным языком восточных славян. В какой мере книга И. Тота отвечает этим ожиданиям, в значительной степени и будет предметом нашего обсуждения.

---

* Впервые опубликовано: Вопросы языкознания. 1987. № 1. С. 46—65.

Прежде чем перейти к нему, однако, я кратко остановлюсь на том материале, который содержится в монографии.

1. Материалом для исследования И. Тота послужили десять русских рукописей XI — нач. XII в. Сюда относится Слуцкая псалтырь (СлПс), одноеровая часть Пандектов Антиоха (ПА[2]), Туровские листки (ТЛ), Житие Кондрата (ЖК), Житие Феклы (ЖФ), Минея Дубровского (МД), Бычковская псалтырь (БПс), кирилловская часть Реймсского евангелия (РЕ[1]), Листок Викторова (ЛВ), древнейшая русская часть Саввиной книги (СК[2]). В монографии дается краткая характеристика этих рукописей (с указанием палеографических особенностей), а затем рассматриваются отдельные явления, отражающие процесс адаптации церковнославянского языка на русской почве.

Характеристика рукописей составляет первую главу исследования. Вторая глава названа «От графики к орфографии». Первым вопросом, разбирающимся здесь, являются «особенности употребления букв **ѫ**, **ѭ**, **ѧ**, **ѩ** (ꙙ) и **оу** (ȣ), **ю**, **ꙗ**, **а** в древнерусских памятниках». Последовательно по всем десяти рукописям расписано употребление юсов, причем отдельно отмечается этимологически правильное употребление, употребление юсов на месте букв, обозначающих неносовые гласные (**оу**, **ю**, **ꙗ**, **а**), употребление этих последних букв на месте юсов. Примеры сгруппированы по морфологическим рубрикам: по отдельности даются употребления в корнях, суффиксах и окончаниях, что в принципе позволяет увидеть, в какой степени писец при написании юсов пользовался морфологической информацией. Следующий параграф второй главы посвящен употреблению букв **ъ** и **ь**. Указав, что большинство древнерусских рукописей является двуеровым, И. Тот перечисляет затем рукописи с одноеровой орфографией: ПА[2], РЕ[1], ЛВ с исключительным употреблением **ь** (я не уверен, что такая характеристика подходит для ЛВ, где написания с **ъ** составляют статистически значимую группу), ЖК с исключительным употреблением **ъ**. Автор пытается здесь обосновать тезис о том, что на Руси существовали писцовые школы, пользовавшиеся одноеровой орфографией и следовавшие здесь «болгарской» традиции. Особый раздел отводится

употреблению йотированных букв. И. Тот указывает на класс рукописей с «полным комплектом» йотированных букв (ѥ, ѭ, ѩ, ꙗ, ю — из исследованных рукописей сюда относится ТЛ) и на классы рукописей, в наборе графем которых недостает одной или нескольких йотированных букв: ѥ — в ЖК (а также, за исключением нескольких примеров, в ПА[2], ЖФ и ЛВ), ѩ — в ЖК, ЖФ, МД, РЕ[1], ЛВ, ѭ — в БПс, РЕ[1] (а также, за исключением нескольких примеров, в ПА[2], МД, СК[2]), ꙗ и ю — в РЕ[1] (ю употреблено здесь всего два раза). Приведены списки примеров по памятникам и выяснены условия употребления отдельных йотированных букв. Последним моментом, который разбирается во второй главе, является употребление диакритических знаков. Исследуя их функции, И. Тот принимает без особых оговорок гипотезу Е. Будде (выглядевшую легкомысленно уже и сто лет назад, когда она была выдвинута), согласно которой писцы с помощью диакритических знаков «старались передать те оттенки произношения, для передачи которых не хватало „буквенных средств“» (с. 204). Анализируя рукописи, И. Тот приводит примеры на употребление диакритических знаков для обозначения пропущенных редуцированных, для передачи «мягкости согласных» и для обозначения йотации (что́ здесь может быть причислено к «оттенкам произношения», остается неясным).

Третья глава носит название «Особенности языка русской редакции древнеболгарского языка». Глава начинается с раздела, посвященного судьбе редуцированных гласных. Выводы этого раздела соответствуют ожиданиям: в исследованных памятниках падение редуцированных практически не отражается, и автор относит это на счет влияния живой речи русских писцов, в ряде случаев, видимо, исправлявших написания оригинала. Ценной является роспись по памятникам всех примеров с ерами; примеры распределены по морфологическим рубрикам: редуцированные в корнях, суффиксах, приставках и предлогах, окончаниях. Будущий исследователь истории редуцированных сможет почерпнуть из этих материалов ряд интересных примеров, обнаруживающих роль морфологического фактора в правописании еров. Следующий раздел посвящен рефлексам сочетаний типа **tъrt*, **tъlt*, **tьrt*, **tьlt*. Как известно,

правописание этих рефлексов с редуцированным перед плавным (типа *търгъ)* или с редуцированными по обеим сторонам плавного (типа *търъгъ)* является одним из наиболее ранних формирующих моментов русской нормы церковнославянского языка. Исследованные И. Тотом памятники хорошо отражают этот процесс: в одних представлены только написания южнославянского типа (типа *тръгъ*), в других такие написания чередуются в разной пропорции с написаниями, ставшими стандартными для русской нормы, и, наконец, в третьих представлены только написания русского типа. Третий параграф настоящей главы посвящен рефлексам сочетаний типа **trъt*, **trьt*, **tlъt*, **tlьt.* Как и ожидается, примеров на прояснение редуцированных в этих сочетаниях в исследованных рукописях не обнаруживается; остается неясным, зачем эти сочетания описаны в отдельном параграфе, а не рассмотрены в разделе, трактующем падение и прояснение редуцированных в других условиях. Последний параграф третьей главы носит название «Особенности употребления буквы ѣ». Автор расписывает по памятникам примеры с ѣ, распределяя их по морфологическим рубрикам. Цель этой работы не ясна, поскольку никаких «особенностей» употребления при этом не выявляется. Отмечены единичные случаи смешения ѣ и ꙗ (ѧ), свидетельствующие, видимо, о глаголическом протографе соответствующих рукописей. В рефлексах **tert* ѣ пишется в СлПс, ПА[2], ТЛ, ЖК, ЖФ, ЛВ, а также в СК[2] (за исключением трех примеров); частое написание є в сочетаниях этого типа отмечается в МД, БПс и РЕ[1]. И здесь, таким образом, можно наблюдать постепенное становление русской нормы (которая требует написаний с є). И. Тот без оснований рассматривает соответствующие примеры под рубрикой «рефлексы общеславянских сочетаний *tert*, *telt*» — на рефлексы **telt* во всем приведенном материале имеется всего два примера, и автор не приводит ни одного аргумента в пользу тождественности судьбы рефлексов **tert* и **telt* в русской редакции церковнославянского языка (как известно, поздняя норма XIII—XIV вв. предписывала написание є лишь в рефлексах **tert*, но не в рефлексах **telt*: прєдъ, но плѣнъ).

В последней, четвертой главе книги говорится о «русизмах, редко встречающихся в рукописях». Содержание главы не вполне отвечает этому названию. И. Тот описывает здесь те явления, которые имеют ту или иную значимость в истории церковнославянского языка русской редакции, но не могут быть сколько-нибудь подробно проиллюстрированы на обработанном им материале. Сначала рассматриваются явления фонетические. Сюда относится написание **ч**, **ж** на месте **tj*, **kt'* и **dj* (**ч** на месте **tj* встречается только один раз в корне **чоуж**- в БПс, процесс становления **ж** как нормативного соответствия **dj* в русском церковнославянском намечен в МД, БПс, РЕ[1], СК[2]), отсутствие *l* epentheticum в непервом слоге как черта инославянских (у И. Тота почему-то лишь болгарских) протографов (несколько примеров в СлПс и ПА[2]), отражение первого полногласия (один пример в ПА[2]), отражение второго полногласия (написания типа **жьрьтвоу** в МД и БПс), отражение «первой веляризации» (**обълкъша**, **обълъклъ** в МД), отражение «второй веляризации» (переход **je > o*, не представлен ни одним примером; И. Тот зачем-то приводит частицу *оле*, дважды встречающуюся в МД), рефлексы **ort̃* под циркумфлексом (**ростѧше сѧ** в РЕ[1]), «начальное *оу* вместо *ю*» (**оуньци**, **оуности** в БПс). К числу морфологических явлений, рассматриваемых И. Тотом, относятся следующие: **ѣ** в род. ед. и им.-вин. мн. существительных мягкой разновидности *а*-склонения (несколько примеров в РЕ[1]) [1] *-ъмь*, *-ъмь* в тв. ед. существительных муж. и ср. рода (по памятникам в разном соотношении с *-омь*, *-емь*), *-а* в им. ед. действительных причастий муж. рода (единственный сомнительный пример **саи**

---

[1] Здесь же, среди морфологических явлений, рассматривает И. Тот и окончание **-ꙗ**, **-а** в вин. мн. мягкой разновидности *о*-склонения (которое он почему-то называет «разновидностью флексии **ѣ**»). Между тем это окончание является лишь русской передачей южнославянского **-ѩ**, **-ѧ**, закономерно возникающей при замене юсов неносовыми гласными. Эта специфическая черта книжной морфологии образуется благодаря усвоению южнославянского морфологического элемента; отличие русской редакции от южнославянских обусловлено здесь не морфологическими, а фонетическими процессами.

блгслнъ в МД), *-тъ* в 3 л. презенса (*-тъ* из обследованных рукописей только в СлПс; в БПс и РЕ[1] несколько примеров с отсутствием *-тъ).* Далее И. Тот рассматривает формы имперфекта, указывая соотношение стяженных и нестяженных форм в разных памятниках, распространение перенесенных из аориста окончаний -*сте*, -*ста* во 2 л. мн. и 3 л. дв., характер гласного в суффиксе имперфекта и появление -*тъ* в личных окончаниях 3 л. (по одному примеру в РЕ[1] и СК[2]). Остановившись на употреблении суффикса **-ѧи** (в соответствии с южнославянским **-ѣи**), исследователь переходит к описанию встретившихся в рукописях «диалектизмов». Понятно, что диалектные явления в рассмотренных памятниках практически не отражаются. Те феномены, которые перечисляет в данном разделе И. Тот, по большей части не могут быть отнесены к выраженным региональным характеристикам. В разделе говорится об изменении **tь + j > ти + и* (типа **нарекоути имѧ** в РЕ[1]); о принадлежности этого явления южнорусскому ареалу писал в свое время А. А. Шахматов, однако без достаточных оснований (в поздних работах диалектное приурочение отсутствует — Шахматов 1915, 202). Изменение **ъ + jь > ы + и* (типа **въı истиноу** в ПА[2]) Шахматов считал более свойственным южным рукописям, нежели северным; на этом основании И. Тот и отражения этого процесса зачисляет в диалектизмы. Здесь же приводится один пример из ТЛ с **и** на месте **ѣ** (**видѧть**), который интерпретируется как южнорусская специфика. К южнорусским чертам (на этот раз вслед за И. В. Ягичем) относит автор и переход *ъ > ь* в результате ассимиляции с передним гласным следующего слога (примеры сомнительны). Один пример цоканья в ПА[2] (**црьньць**) приводит И. Тота в недоумение, поскольку он склонен считать ПА южнорусским памятником. Основанием для этого служит якобы отражающееся в ПА[2] (равно как в ЖК, ТЛ, ЖФ, БПс, МД) троякое разделение согласных на твердые, полумягкие и мягкие (о методологической непоследовательности в подобной интерпретации данных см. ниже). Наконец, автор пишет здесь о «своеобразном значении» употребления **-є** вместо **-ѣ** в дат.-местн. местоимений *ты* и *себе* и отсутствия -*ть* в 3 л. презенса (в чем состоит своеобразие и какое отношение имеет оно к диалектным особенностям, остается неясным).

Завершается монография кратким разделом, озаглавленным «Подведение итогов». Поскольку следующая далее полемика и будет в значительной степени посвящена этим итогам, сейчас я на этом разделе останавливаться не буду[2].

2. Исследование процессов формирования русской редакции церковнославянского языка требует двойной перспективы. Та эпоха, к которой принадлежат исследуемые И. Тотом памятники (XI — нач. XII в.), является переходной, и поэтому выявление значимых черт развития книжного языка в этот период предполагает восстановление некой первоначальной картины, исходного момента развития, и учет окончательных результатов этого процесса, т. е. тех норм книжного языка, которые сложились на Руси в XIII—XIV вв. (до второго южнославянского влияния). Только исходя из подобной двойной перспективы и можно понять, какие явления, обнаруживающиеся в рукописях, значимы: что представляет собой уходящие черты книжного языка (что, таким образом, следует отнести на счет протографов), что предвосхищает позднейшую норму (именно здесь и ставится закономерно вопрос об источниках нормирования, прежде всего о книжном произношении) и что, наконец, следует трактовать как отклонение (ошибки орфографического характера или окказиональное отражение живого произношения, отличающегося в данном пункте от книжного).

2.1. Задача реконструкции итоговой картины является относительно простой: поздняя древнерусская норма книжного языка прекрасно документирована многочисленными рукописями, и лишь недостаточная изученность соответствующих памятников не позволяет сейчас представить ее во всех значимых деталях. Общие контуры этой картины, однако, достаточно

---

[2] В конце книги дан список использованной литературы. Отмечу ряд пропусков и погрешностей. Так, в нем нет работы, обозначенной как «В. В. Иванов, 1968», на которую И. Тот ссылается на с. 203. Остается нерасшифрованной и работа, обозначенная как «А. А. Шахматов, 1914» (ссылка на той же с. 203) — имеется в виду «Очерк древнейшего периода истории русского языка» (Шахматов 1915).

ясны. В принципе И. Тот отдает себе отчет в важности этой перспективы и, подводя итоги (с. 331—332), проводит различие между теми русизмами, «которые с течением времени входили в нормы церковно-книжного языка», и теми русизмами, которые попадают в рукописи только по недосмотру писцов. Эта оглядка на сложившуюся норму в самом исследовании не проведена, однако, сколько-нибудь последовательно, и отсюда целый ряд сомнительных интерпретаций.

Так, я уже говорил о том, что как одно целое рассмотрена судьба рефлексов **tert* и **telt*; материал не дает для этого оснований, а позднейшая норма показывает, что написания с **є** являются принятыми лишь в случае рефлексов **tert*, но не в случае рефлексов **telt*. Один взгляд на позднейшую норму мог бы убедить И. Тота и в том, что последовательное различение **ѣ** и **є** (вне рефлексов **tert*) является постоянной чертой русского церковнославянского — от XI в. до наших дней. Поэтому нет смысла подчеркивать тот факт, что в обследованных рукописях смешение **ѣ** и **є** отсутствует; тем более неправомерно трактовать этот факт как «архаическую фонетическую особенность» (с. 289)[3].

Точно так же взгляд на последующую традицию мог бы помочь И. Тоту дать правильную интерпретацию различению **є** и **ѥ** в начале слова в ТЛ. Обычно здесь в начале слова пишется **ѥ**, однако в нескольких случаях — **єда**, **єи** (частицы), **єзєрѣ**, **єва҃г** — пишется нейотированное **є** с диакритическим знаком или без него. И. Тот, основываясь на том, что в Зографском листке **є̓** (с диакритикой) ставится в значении **ѥ**, предполагает, что и в слу-

---

[3] И. Тот, возможно, имеет при этом в виду высказанную когда-то А. А. Шахматовым (1915, 162) гипотезу, согласно которой в книжном произношении **ѣ** и **є** читались одинаково, и полагает, что обследованные им рукописи появились до установления этой традиции чтения. Самая гипотеза А. А. Шахматова малоправдоподобна (Живов и Успенский 1984), но даже если исходить из нее, то и здесь обращение к позднейшей традиции однозначно показывает, что различение **ѣ** и **є** оставалось абсолютной орфографической нормой. Смешение **ѣ** и **є** в ряде древних рукописей (Софийские минеи XII в., один из почерков Типографского устава) объясняется особыми причинами и в любом случае является отклонением от грамотного книжного письма.

чае написания *е* в ТЛ в книжном произношении йотация имела место (с. 151). Известно, однако, что в позднейшем книжном произношении Юго-Западной Руси именно эти слова (т. е. заимствования из греческого, частицы *еда* и *ей* и основы *елен-*, *езер-*, *есен-*) читались с нейотированным начальным гласным (откуда и современное произношение и написание э в заимствованных словах — Успенский 1971, 18—19). Очевидно, что те рукописи, в которых различаются начальные є и ѥ и начальное є закреплено за указанной выше группой основ, свидетельствуют о том же книжном произношении, которое можно наблюдать позднее в юго-западнорусской традиции. ТЛ в этом отношении не исключение, они примыкают здесь к большинству древнейших памятников русского письма (Остромирово евангелие, Изборник 1073 г., Слова Кирилла Иерусалимского, Юрьевское евангелие и т. д.). Вопрос был подробно исследован Н. Н. Дурново (Дурново 1926—1927, 23—37 / 2000, 452—467), и странно, что И. Тот не использует результатов этого исследования.

Путаную и непоследовательную интерпретацию дает И. Тот и написанию в рассмотренных им рукописях букв ѧ и ꙗ (в особенности в БПс — с. 103). Достаточно было бы, однако, обратиться к тем простым правилам, которыми определялась постановка этих букв в книжной орфографии XII—XIV вв., чтобы мнимые сложности исчезли и вырисовалась картина постепенного становления русской орфографической нормы, которая в ранних рукописях (XI в.) может проводиться не вполне последовательно, поскольку в отдельных случаях писцы повторяли написания своих инославянских протографов.

2.2. Отсутствие четких представлений об «итоговой картине», о перспективе будущего мешает И. Тоту при интерпретации отдельных явлений, отдельных частных фактов. В значительной степени это, видимо, не принципиальные ошибки, а погрешности, обусловленные незнанием соответствующего материала. Сложнее обстоит дело с перспективой прошлого, сложнее, в частности, и потому, что сам вопрос представляет большие трудности и требует для своего решения четкой и точной методики.

В самом деле, если «итоговая картина» подробно документирована, то «исходная картина» должна строиться на фрагментарном, заведомо недостаточном материале. Мы знаем, что русская книжность и русский литературный язык древнейшей эпохи (церковнославянский язык русского извода) возникли на основе инославянской книжности, на основе общего для всех славян кирилло-мефодиевского наследия. Несомненно, что в XI в. на Руси имели хождение рукописи как восточноболгарского, так и македонского происхождения, равно как и рукописи происхождения западнославянского. С самого начала, таким образом, русские книжники сталкивались с церковнославянским языком разных изводов. Каков был при этом «удельный вес» отдельных изводов, остается, в общем-то, неясным. Неясным остается и самый характер орфографических и морфологических систем, представленных в этих рукописях. Очевидно, что дошедшие до нас старославянские памятники дают лишь очень неполное, в значительной степени случайное представление об этом первоначальном разнообразии. В частности, все наши представления о чешской редакции, значение которой в формировании русской книжности нельзя недооценивать, основаны лишь на Киевских и Пражских листках. Можно полагать, что в общем фонде имевших хождение на Руси рукописей были и памятники сербохорватского извода (Дурново 1929, 51/2000, 571), от древнейшего периода которого до нас не дошло ничего. Реконструируя исходную картину, мы должны постоянно помнить об этой кардинальной неполноте наших знаний и не исключать a priori никаких возможностей — даже, например, такой маловероятной гипотезы, как наличие на Руси церковнославянских памятников польского происхождения. С древнейших времен церковнославянский был общим литературным языком славянства, и никаких принципиальных барьеров для миграции памятников из одной славянской области в другую не существовало (Толстой 1961).

Неадекватность сохранившихся старославянских рукописей для реконструкции всех разновидностей книжного языка славянства на рубеже X—XI вв. делает особенно актуальной задачу извлечения дополнительных данных из рукописей более позднего времени, прежде всего из русских рукописей XI—XII вв.

В частности, как писал Н. Н. Дурново, «русские рукописи, восходящие к ю.-сл. орфографической традиции первой половины XI в., имеют большое значение, помогая судить и о самом ст.-сл. языке и об эволюции его у южных славян в X и XI в. с большей ясностью, чем это можно сделать, пользуясь памятниками только ю.-сл. письма» (Дурново 1924, 73/2000, 392). Поставленная Н. Н. Дурново задача остается в значительной степени не решенной и по сей день. Для ее решения необходимо во всех деталях понять, как именно работали русские книжники, и затем, исключив все те моменты, которые были внесены ими в славянскую книжную традицию (прежде всего все элементы переосмысления полученного извне языкового материала), выявить те черты, которые принадлежали усвоенному здесь кирилло-мефодиевскому наследию. И это лишь первый этап работы, поскольку далее эти отдельные черты должны быть соотнесены с разными редакциями литературного языка славян, сталкивавшимися на русской почве.

Поясню сказанное несколькими примерами. В целом ряде русских рукописей XI в. (Остромирово евангелие, Слова Григория Богослова, ТЛ, Синайский патерик, Путятина Минея, Изборники 1073 и 1076 гг., Чудовская псалтырь) употребляется четыре юса: ѫ, ѭ, ѧ, ѩ. Между тем старославянские кириллические памятники с таким набором юсов отсутствуют. Возможно, такие памятники существовали, но не дошли до нас. Именно такой вывод и делает И. Тот. «Древнерусская графика с ѫ, ѭ, ѧ, ѩ, — утверждает он, — отражает следы такой древнеболгарской графической традиции, которая с течением времени прекратила свое существование» (с. 124). Следует, однако, иметь в виду, что графическая система с четверкой юсов ѫ, ѭ, ѧ, ѩ не составляет для кириллицы органического развития и может возникать в ней лишь как относительно поздняя реплика глаголицы (ѩ, созданный по аналогии с ѭ, должен при этом вытеснить ѧ — Марти 1984, 143—144). В какой степени вся русская графическая традиция с указанной четверкой юсов могла восходить к южнославянской кириллической системе, не отразившейся в сохранившихся памятниках? Не следует ли думать, что утверждение на Руси подобной графики было связано с распространением здесь глаголических рукописей? Эти вопросы по-

буждают еще раз с вниманием пересмотреть все факты, относящиеся к бытованию на Руси глаголической традиции, к связям русской книжности с македонской, хорватской глаголической и западнославянской, и это, возможно, приведет к переоценке значимости болгарской редакции церковнославянского языка для формирования его русского извода.

Значимым для реконструкции исходной картины является и книжное произношение еров как [о] и [е] (см. о нем Шахматов 1915, 205; Дурново 1933, 63—65/2000, 662—664). Подобное произношение еров могло идти лишь из той славянской традиции, где происходило прояснение редуцированных, давших в сильном положении /о/ и /е/. Книжное произношение еров может, следовательно, рассматриваться как свидетельство македонского вклада в русскую книжность. Древность и значимость этого вклада подчеркивается тем обстоятельством, что книжное произношение еров как [о] и [е] предполагает, в принципе, такую систему обучения чтению, при которой склады типа **бъ** и **бь** читаются так же, как и склады **бо** и **бє**. По-видимому, македонское происхождение может быть приписано самой этой системе обучения чтению (ср. Шахматов 1915, 205). Этот факт имеет двоякое значение. С одной стороны, он позволяет сделать вывод о том, что произношение еров как [о] и [е] к XI в. становится для македонского извода нормативным, конституируя признак, противопоставляющий македонский извод другим редакциям. С другой стороны, поскольку книжное учение на Руси складывается в законченную систему уже, видимо, в первой половине XI в., македонское влияние следует отнести к древнейшему периоду русской книжности.

И. Тот приводит любопытный материал, относящийся к данной проблеме, — редкие, но ценные своей древностью примеры отражения книжного произношения на письме: **воложить** в ПА[2], 22а; **гръзна** (**ъ** вместо **о**) в МД, 9а; **кото**, **члвкъмъ** (**ъ** вместо **о**) в БПс, 7а, 46; **вавилоноскааго** в РЕ[1], 4а[4]. Однако его

[4] Бóльшую часть этих примеров, правда, И. Тот трактует как описки, возникающие под влиянием последующей или предшествующей гласной. Конечно, описки такого рода возможны, однако апелляция к ним как к стандартному объяснению — это один из случаев недопустимой палео-

интерпретация этого материала основана на неприемлемых методологических принципах. По мнению И. Тота, указанная черта книжного произношения возникает относительно поздно: во время написания ЖК эта норма еще не сложилась (с. 231, ср. с. 142), а во время написания БПс ее формирование находилось в «начальной фазе» (с. 247). Эта точка зрения аргументируется тем, что в ЖК случаи написания о или є на месте слабых редуцированных полностью отсутствуют, а в БПс имеется всего два таких случая, один из которых сомнителен. Эта аргументация неверна, поскольку она не учитывает статуса написаний с о или є на месте слабых редуцированных. Орфографической нормой русского извода в XI—XII вв. является последовательное различение о и ъ, равно как є и ь: эти буквы одинаково читаются, но их смешение на письме считается ошибкой (в ряде памятников такие ошибочные написания подвергнуты правке — Живов 1984, 287), причем для выполнения орфографической нормы писцы проверяют написания с помощью своего живого произношения (Дурново 1933, 64/2000, 663). Отсутствие ошибок или их малочисленность указывает лишь на орфографическую норму и не сообщает никаких данных о стоящем за написанием произношении — ЖК точно так же ничего не говорит о различении редуцированных и гласных полного образования в книжном произношении, как современное грамотное письмо о различении /о/ и /а/ в безударных слогах в речи носителя литературного языка.

2.3. Ошибочная аргументация И. Тота в данном вопросе неслучайна, это лишь одно из частных свидетельств его нечувствительности ко всей проблематике реконструкции «исходной

графической мифологии. Прежде чем давать такое объяснение, следует выяснить, насколько часто возникают такие описки у данного писца в несомненных случаях (например, написание п вместо к в соседстве с к и т. д.). Без подобного обследования описка — это deus ex machina в руках исследователя, стремящегося избавиться от непонятного материала. Именно в силу этого я считаю, что все указанные примеры должны рассматриваться — пока не найдено лучшей интерпретации — как отражение на письме книжного произношения.

картины». Непонимание этой проблематики с самого начала существенно ограничивает глубину и значимость выводов его исследования. Это непонимание проявляется уже в самом названии работы — «Русская редакция древнеболгарского языка». Избранная автором терминология не только неудачна, но и принципиально недопустима при исследовании памятников литературного языка. Употребляя термин «древнеболгарский» (вместо обычного «церковнославянский»), И. Тот замечает, правда, что «вопросы терминологии весьма сложны и в определенной мере всегда носят условный характер», и выражает надежду на то, «что его терминология не нанесет обиды тем, что определяет древнейший литературный язык славянства другим термином» (с. 6). Однако эти ненужные оговорки только показывают, что проблематика истории литературных языков недостаточно ясна автору. Терминология может быть условной, может быть неточной, но она должна удовлетворять одному простому требованию: не называть двух разных предметов одним термином, не позволяя тем самым описать те процессы, в которых эти одинаково названные предметы играют разную роль. Именно этому требованию и не удовлетворяет термин «древнеболгарский» как наименование древнейшего литературного языка славянства. Пользование им неизбежно ведет к ошибочным выводам и неоправданным построениям, не проясняющим, а затмевающим основные линии развития[5].

Так, на с. 73 И. Тот пишет о древнеболгарском диалекте, письменно закрепленном в азбуке, созданной Константином-Кириллом. Почему диалект Солуни, на который ориентировался Кирилл, назван древнеболгарским, остается непонятным,

---

[5] Замечу, впрочем, что И. Тот допускает в своей монографии несколько терминологических ляпсусов, указывающих на странную путаницу основных понятий. Так, на с. 282 Добрилово евангелие 1164 г. названо памятником «древнерусского языка», хотя трудно понять, в чем принципиальное отличие языка этого памятника от языка, скажем, Мстиславова евангелия, которое И. Тот считает памятником «древнеболгарского» языка. На с. 200 говорится о каком-то «церковнославянском произношении», отличающемся от «церковно-книжного произношения, сложившегося на древнерусской почве».

ведь Солунь в Болгарское царство не входила никогда. Диалект Солуни был южнославянским, это несомненно, но нет никаких оснований считать его особо близким диалекту, скажем, Преслава. Называя его древнеболгарским, автор, не аргументируя, отождествляет две языковые системы, совершенно произвольно членя южнославянский диалектный континуум эпохи общеславянской общности.

Это отождествление ведет, в свою очередь, к новым двусмысленностям. Солунский говор действительно был диалектной основой старославянского языка (языка кирилло-мефодиевских переводов), однако старославянский с самого начала выступал как язык литературный, искусственный, для которого диалектная основа имела лишь второстепенное значение. Со своими переводами Кирилл и Мефодий отправляются в Моравию, и то, что в Моравии они сталкиваются с иным диалектом, нисколько их не волнует. Старославянский адаптируется на моравской диалектной основе, что кладет начало западнославянскому изводу церковнославянского языка. Отсюда кирилло-мефодиевская традиция переходит в южнославянские земли, в частности в Хорватию и Болгарию, и в результате появляются хорватский, болгарский и другие южнославянские изводы церковнославянского языка. Возникший таким образом болгарский извод ни в каком плане не может быть отождествлен с разговорным языком славянского населения Болгарии (что оправдывало бы наименование его древнеболгарским): это язык, возникший на иной, нежели восточноболгарская, диалектной основе, испытавший в Болгарии такие же процессы адаптации, как и в других славянских областях, и принципиально противопоставленный языку разговорному как нормированное литературное образование, всегда в той или иной мере отталкивающееся от разговорного начала.

На протяжении XI в. Русь становится основным центром славянской письменности, впитывающим в себя книжные традиции всех прочих славянских земель. Понятно, что здесь сталкиваются разные изводы церковнославянского языка. Процесс формирования русского извода нельзя понять, не учитывая этого разнообразия. Противоречивость норм, представленных в распространявшихся на Руси рукописях, была, несомненно,

одним из важных стимулов для выработки своей, особой нормы. Можно полагать, что разные изводы церковнославянского воспринимались русскими книжниками как варианты единого книжного языка и при этом вариативность его норм творчески переосмыслялась: создание русской нормы выступает одновременно и как процесс адаптации церковнославянского на восточнославянской диалектной основе, и как обобщение и приспособление имевшихся вариантов к задачам создания новой книжной нормы. Сведение всего этого разнообразия к одной болгарской традиции — что подразумевается термином «русский извод древнеболгарского языка» — с самого начала закрывает путь к воссозданию того сложного творческого развития, которое переживает на Руси литературный язык славянства.

2.4. И действительно, заблуждения И. Тота не остаются чисто терминологическими. В особенностях исследуемых им памятников он постоянно стремится увидеть простое воспроизведение черт восточноболгарской рукописной традиции. Соответственно, функциональная интерпретация изучаемых фактов подменяется интерпретацией генетической, так что процессы формирования русского извода — процессы функционального порядка — получают одностороннее и тенденциозное освещение.

Так обстоит дело, в частности, с предлагаемой в монографии интерпретацией русских памятников одноеровой орфографии. И. Тот считает, что на Руси «употреблялись все орфографические приемы, которые были выработаны древнеболгарскими писцами с течением времени как в Восточной, так и в Западной Болгарии. Вследствие этого в XI в. на Руси были представлены три крупные школы древнерусских писцов: две одноеровые школы и одна двуеровая, причем в памятниках с одноеровыми школами обнаруживается только начальная фаза «обрусения» древнеболгарского правописания» (с. 143). Существование на Руси одноеровых школ доказывается, по мнению автора, тем фактом, что двуеровые рукописи могут переписываться здесь в одноеровой орфографии. Именно так рассматривает И. Тот РЕ, однако его интерпретация логически несостоятельна. И. Тот ис-

ходит из трех примеров, в которых на месте **ъ** перед **и** стоит **ꙑ**: **повитꙑ и** 5а, **пожꙑтꙑ и** 12б, **прижꙑтꙑ и** 15а. Эти формы И. Тот считает искажением правильных форм протографа: **повитъ и** и т. д. Это и доказывает, на его взгляд, двуеровый характер орфографии протографа, поскольку «на базе такого диалекта, который лег в основу одноеровой графики с буквой **ь**... появление написаний **ыи** (**-ꙑи**) невозможно» (с. 138). В этих сложных построениях, однако, нет нужды. Естественно считать, что три указанных выше примера являются ошибками, совершенными не писцом протографа (и оттуда перенесенными в РЕ), а писцом самой рукописи. В говоре этого русского писца /ъ/и /ь/, безусловно, не смешивались и /ъ/ перед /i/ имел аллофон, который легко мог отождествляться с фонемой /ɨ/ и соответственно передаваться буквой **ы** (**ꙑ**): приведенные примеры являются, таким образом, ошибками, обусловленными живым произношением писца РЕ. Одноеровую орфографию, напротив, естественно трактовать как воспроизведение орфографии оригинала, что делает малоправдоподобной гипотезу о существовании русских одноеровых школ[6].

Двуеровая орфография несомненно была нормой русской редакции церковнославянского языка, соответствующей нормам русского книжного произношения. При переписке одноеровых памятников — видимо, достаточно широко распространенных на Руси в XI в.,— как правило, восстанавливалось (с помощью

---

[6] История РЕ — это уравнение со многими неизвестными, и вряд ли было бы уместно решать его в данной работе. На мой взгляд, можно во всяком случае с уверенностью утверждать, что одноеровая орфография относится к южнославянскому «слою» этого памятника, а переход *ъ* > *ы* может относиться и к его восточнославянскому «слою». Гипотеза о сербском происхождении РЕ не представляется мне достаточно обоснованной (даже с оговоркой, что монах, «владевший чакавским наречием», переписывал его в Сазавском монастыре), и поэтому локальные южнославянские черты я склонен приписывать оригиналу РЕ. В то же время нельзя полностью исключить возможности того, что РЕ — это чешская копия XI в. с русского оригинала (Лант 1984, 316) (в этом случае, впрочем, можно было бы ожидать меньшей последовательности в написании еров). Данная возможность не меняет существа приведенных выше аргументов, они лишь переносятся на оригинал и оригинал оригинала РЕ.

живого произношения) этимологически правильное написание еров. О его нормативности как раз и могут свидетельствовать ПА², в которых в пределах второго почерка одноеровая орфография характеризует лишь первые семь листов, тогда как далее писец переходит на двуеровую орфографию: трудно истолковать это иначе, чем переход от воспроизведения оригинала к выполнению предписаний собственной орфографической нормы. РЕ, ЛВ и ЖК являются теми редкими рукописями, в которых писец — возможно, в силу недостаточной подготовки — этими предписаниями пренебрег[7]. Мы имеем здесь дело не с трансплантацией южнославянских орфографических норм, а с частными отступлениями, обусловленными влиянием южнославянских протографов.

В то же время И. Тот постоянно относит на счет влияния протографа такие черты, для которых подобное объяснение либо излишне, либо вовсе неприемлемо. Самый принцип работы древнерусских книжников автор понимает как посильное соблюдение «требования точного списывания древнеболгарских текстов» (с. 120). Такого требования, однако, не было и не могло

[7] Конечно, задача восстановления двуеровой орфографии не всегда решалась достаточно последовательно, и, видимо, именно с этим следует связывать довольно многочисленные в ранних русских рукописях случаи смешения **ъ** и **ь** (Дурново 1926—1927, 21—23 / 2000, 450—452).

Обосновывая существование на Руси одноеровых орфографических школ, И. Тот ссылается еще на берестяную грамоту №109 (рубеж XI—XII вв.) с исключительным употреблением **ъ** (с графическим эффектом **ь** → **ъ**). Можно было бы указать и еще на ряд ранних берестяных грамот со смешением **ъ** и **ь** (Зализняк 1986, 109). Правописание берестяных грамот, однако, строится на иных принципах, нежели орфография книжного письма, и поэтому не дает никаких указаний на книжную орфографическую практику. Правописание берестяных грамот связано не с навыками книжного письма, а с навыками чтения (Успенский 1983; Живов 1984, 261). Соответственно, одноеровые грамоты свидетельствуют о распространенности на Руси южнославянских рукописей с одноеровой орфографией. Авторы берестяных грамот усваивали из этих рукописей самый принцип неразличения еров, тогда как реализоваться этот принцип может и в исключительном употреблении **ъ**, и в факультативной замене **ь** на **ъ**, и в их безразличном смешении (Зализняк 1986, 109). Все это, однако, не имеет отношения к книжной орфографической норме.

быть именно потому, что на Русь приходили рукописи разных изводов с разными орфографическими системами, некритическое воспроизведение которых не могло согласоваться со стремлением к единообразию и нормативности. Как писал Н. Н. Дурново, «ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов... Принципом было следование нормам книжного или литературного языка и правописания» (Дурново 1933, 45—47 / 2000, 644—645). На счет оригинала могут быть отнесены лишь такие особенности рукописи, которые идут вразрез с действующими нормами литературного языка, не могут быть объяснены как отражение произношения (книжного или разговорного) или индивидуальная норма писца и в то же время находят себе аналог в рукописной традиции другого региона. Подобная установка, однако, чужда И. Тоту.

Так, например, анализируя русскую часть СК, И. Тот пишет, что здесь «консеквентно сохраняются исконные древнеболгарские написания **ч** + **ѧ**, **ж** + **ѧ** (**шѧ** только частично)... Написания **-шѧ** древнеболгарского оригинала передаются в большинстве случаев как **ша**... за исключением 5 случаев... По всей вероятности, последние примеры попали в СК[2] из оригинала» (с. 119). Подобная же интерпретация дается и написаниям **-шѧ**, **-щѧ** в БПс (с. 100—101). Вместе с тем, говоря о ПА[2], И. Тот отмечает, что здесь «буква **а** вместо **ѧ**, **ѩ** пишется обычно по древнеболгарской модели после букв **ж**, **ш**, **ч**, **ц**... Написания **жа**, **ша**, **ча**, **ца** восходят к древнеболгарскому оригиналу» (с. 81; ср. еще о МД, с. 97—98). Очевидно, однако, что во всех этих случаях оригинал ни при чем. После палатальных согласных имела место нейтрализация противопоставления гласных по ряду (Исаченко 1980, 130—131), в частности, оппозиции /а/ — /ä/. В условиях эквивалентности **ѧ** и **ꙗ** в рукописях русского извода это создавало возможность вариантных написаний с **а**, **ѩ** или **ꙗ** после шипящих и **ц** (написания с **ꙗ** ограничены, постольку поскольку действует тенденция не употреблять **ꙗ** после согласных). Эта вариативность и наблюдается в рукописях, она допускается нормой, причем разные писцы могут поступать по-разному: после шипящих и **ц** одни последовательно пишут **а**, другие **ѧ**, а третьи свободно варьируют написания с этими буквами (Живов 1984, 253). Эти

вариации, как правило, не имеют никакого отношения к этимологии. Характерно, что в Архангельском евангелии (1-й почерк) написания с а и с ѧ распределяются приблизительно поровну и при этом этимологически неправильные написания столь же часты, как и этимологически правильные, т. е. этимологическая правильность (и правописание оригинала) выступает как совершенно нерелевантный фактор (Лант 1949). В этой перспективе связывать с «древнеболгарским оригиналом» или с «древнеболгарской моделью» какие-либо примеры из СК^2, БПс, ПА^2 или МД представляется явно нецелесообразным.

Ориентация на этимологию и правописание оригиналов приводит И. Тота к игнорированию внутренней систематики исследуемых им памятников. Так, анализируя употребление юсов в БПс (из рассмотренных в книге самая близкая к устоявшейся норме русского извода рукопись), И. Тот замечает, что «благодаря отсутствию в ней знаков ѫ, ѭ и ѩ в графической системе наблюдается больше нововведений, чем в ЖК, ЖФ, ТЛ, и она является более с л о ж н о й, чем графические системы рассмотренных выше памятников» (с. 103; разрядка наша.— *В. Ж.)*. Действительно, в описании И. Тота система выглядит непростой: после гласной ѧ этимологически правильно пишется в 37 случаях, но в 3 случаях вместо ѧ, ѩ пишется ꙗ; после согласных «сохраняется» написание ѧ, но не после шипящих и ц, где, как правило, пишется а, а этимологически правильное написание ѧ встречается лишь в двух случаях, и т. д. Графическая система БПс описывается, однако, очень простыми правилами (релевантными, кстати, для большого числа памятников русского извода):

/a/ → а /ä/ → ѧ;

в условиях нейтрализации

/ja ~ a/ → ѧ, ꙗ; /ш, ч, щ, ц + а ~ ä/ → а, ѧ.

Эти правила соотносят фонологические единицы с графическими и, видимо, отражают нормативные установки писца. Они не выводятся из протографов, и именно поэтому попытка описать дистрибуцию графем через южнославянские «праформы» дает столь запутанную и неясную картину.

Столь же неубедительной выглядит и попытка И. Тота доказать, что к древнеболгарским оригиналам восходит постановка диакритических знаков в ряде русских рукописей (с. 178, 188, 191, 196—197). Само употребление диакритик несомненно ориентировано на греческие образцы, которые одинаково значимы и для южных и для восточных славян. В ряде рукописей употребление диакритик систематично, т. е. определяется простыми правилами: постановка диакритик над гласной в начале слова или слога, на месте пропущенной буквы (чаще всего **ъ** или **ь**), для обозначения палатальности согласного. В этом случае мы имеем дело с орфографической системой данной рукописи (данного писца) и поэтому не располагаем никакими данными об орфографической системе оригинала. В ряде рукописей употребление диакритик бессистемно, т. е. нельзя сформулировать никаких правдоподобных предписаний, которыми мог бы руководствоваться писец при их расстановке. И в этом случае, однако, нельзя сказать, что писец перенес диакритики из оригинала, допустив при этом много погрешностей. Бессистемное употребление может указывать не на оригинал, а на орфографическую традицию, внешние черты которой и воспроизводит писец, воспринимающий диакритики как признак книжного письма, но не придающий им никакой функциональной значимости.

Неубедительные отсылки к оригиналу появляются у И. Тота и в ряде других случаев: то отсутствие написаний **о**, **є** на месте редуцированных (нормативное для ранних рукописей русского извода) оказывается свидетельством того, что в основе протографа лежал диалект без прояснения редуцированных в /о/, /е/ (с. 213, 220), то к протографу возводится написание **вҫь** (с. 265, — это сокращенное написание встречается во множестве русских рукописей XI—XV вв. и выступает как допустимый орфографический прием), то к «древнеболгарскому оригиналу» возводятся аористы **прињтъ**, **клѧтъ** (с. 246, — обычный для русских рукописей элемент книжной морфологии). Примеры можно умножить (ср. с. 211, 219, 241—242, 267). Они показывают, что автор слабо представляет себе лингвистические установки русских писцов, и это постоянно приводит к неверным и произвольным интерпретациям особенностей анализируемых рукописей.

3. Необоснованные заключения И. Тота о значении «древнеболгарских» оригиналов, об отражении их орфографии в правописании памятников русского извода оказываются следствиями нечеткой и непоследовательной методологии. Для того чтобы построить ясную картину формирования русской нормы, необходимо отчетливо представлять характер работы русских книжников, те факторы, которыми определялось в их сознании понятие о языковой правильности. Орфографическая норма диктовалась при этом двумя моментами: элементарным соотнесением графики и фонетики (книжного произношения) и специальными правилами книжного письма. Соотнесение графики и фонетики основывалось на обучении чтению: чтение по складам задавало фонетическое значение графем; орфографические правила были предметом специального профессионального обучения и в известных пределах могли варьировать от одного скрипториия (от одной орфографической школы) к другому (Живов 1984). Процесс формирования русской церковнославянской орфографии и состоял в том, что написания, отражающие русское книжное произношение и русские правила книжного письма, постепенно вытесняли написания, восходящие к инославянским оригиналам (например, в русском книжном произношении на месте *dj* звучало [ž], поэтому написания с **ж** постепенно вытесняли написания с **жд**). Те особенности письма, которые не подпадали ни под какие правила, не входили в норму; они могли допускать вариативность, причем характер этой вариативности прямого отношения к формированию русской нормы не имеет (например, написания с начальным **о** или **є/ѥ** в корнях **єдин-**, **єзєр-**, **єктєниꙗ** и т. д.).

3.1. Проблема источников нормализации остается в монографии И. Тота практически непоставленной. В результате ряд значимых фактов игнорируется, тогда как другие получают малоубедительную интерпретацию.

Так, в книге собран материал о смешении юсов с буквами для неносовых гласных. Истолкование этого материала, однако, вряд ли может удовлетворить читателя. Замену юсов буквами **оу**, **ю**, **а**, **ꙗ** автор объясняет тем, что русские «писцы более или менее сознательно стремились упрощать графику древнебол-

гарских рукописей, упрощая некоторые юсы» (с. 123). Установка на упрощение, как кажется, плохо согласуется с общим характером деятельности средневековых книжников. Вместе с тем движущий мотив данного процесса хорошо известен и не требует дополнительных оговорок: в русском книжном произношении носовые гласные отсутствовали, написание юсов не имело «фонологической опоры» и постепенно вытеснялось правописанием, соотносящим /u/ с ѹ, /ü/ с ю, а /ä/ с ѧ (Дурново 1933, 59—60 / 2000, 658—659).

Имеется, однако, ряд ранних памятников, в которых случаи этимологически правильной постановки юсов существенно превышают по числу случаи их смешения с буквами ѹ, ю, ꙗ. К таким памятникам относится Остромирово евангелие, Слова Григория Богослова, а из рассматриваемых И. Тотом памятников — СлПс, ТЛ, ЖФ и ЖК. Эти памятники ставят перед исследователем существенную проблему: не являются ли они остатками рукописного наследия такой русской школы книжного письма, которая старалась выдерживать различение юсов и гласных ѹ, ю, ꙗ, а, т. е. не было ли в формировании русского извода такого промежуточного этапа, когда указанное различение было орфографической нормой? Если такой этап имел место, у русских писцов должны были быть правила постановки юсов, и было бы интересно попытаться их реконструировать. И. Тот предлагает некоторые правила, которыми, на его взгляд, «руководствовался» русский писец (с. 88, 90—91, 93), — типа «сохранять буквы ѩ, ѧ в начале слова», «сохранять ѩ и ѧ... в начале слога», «сохранять ѧ после исконно смягченных согласных...» (с. 93). Понятно, однако, что руководствоваться такими правилами писец не мог. Они по существу сводятся к предписанию «переписывай внимательно», а вероятность такого предписания вызывает, как я уже говорил, большие сомнения (как И. Тот согласует подобные предписания с постулируемым им стремлением «упрощать графику древнеболгарских рукописей», остается и вовсе непонятным). Правила постановки юсов, если они существовали, должны были носить морфологический характер (Дурново 1924, 89—90 / 2000, 409—410). Не исключено, что определенное указание на эти правила дает ПА[2], где по данным И. Тота ѫ этимологически правильно употребляется преимуще-

ственно в суффиксах и окончаниях, причем в окончаниях этимологически правильное написание наблюдается в вин. ед., в 1 л. ед. ч. презенса и в 3 л. мн. ч. презенса после гласной; после согласной в 3 л. мн. ч. презенса **ѫ** последовательно заменен на **оу**. Этот вопрос явно нуждается в дальнейшем исследовании на более обширном и показательном материале.

Неадекватную интерпретацию получают и рефлексы сочетаний типа **tъrt*. Как известно, в русских рукописях наряду с написаниями типа **тръгъ**, отражающими южнославянскую традицию, и написаниями типа **търгъ**, нормативными для русского извода, встречаются и написания типа **търъгъ** (или **тър’гъ**). И. Тот отмечает по этому поводу лишь эквивалентность написаний типа **търъгъ** и **тър’гъ** (с. 275), что, вообще говоря, не нуждается в специальном доказательстве, поскольку уже была установлена возможность замены пропускаемых еров диакритическим знаком. Написания типа **търъгъ** — **тър’гъ** И. Тот трактует как имеющие «звуковое значение» (с. 276), и это, видимо, справедливо, поскольку наличие таких написаний в берестяных грамотах раннего периода позволяет с уверенностью сказать, что в живой речи гласные произносились по обе стороны плавного (Зализняк 1986, 124—126). Это, однако, лишь указывает на проблему, а не решает ее. В самом деле, написания типа **търъгъ** ~ **тър’гъ** всегда составляют лишь относительно небольшой процент от написаний другого типа, причем здесь можно выявить ряд закономерностей, подтверждаемых и обследованными И. Тотом рукописями (сам автор, к сожалению, проходит мимо этих фактов): если в рукописи есть написания типа **търъгъ** ~ **тър’гъ**, то в ней имеются и написания типа **търгъ**; если в рукописи есть написания типа **търъгъ** ~ **тър’гъ**, то написания типа **търгъ** представлены в ней существенно чаще, чем написания типа **тръгъ**. Это показывает, что написания типа **търъгъ** ~ **тър’гъ** развиваются в ходе формирования русской орфографической нормы как сопутствующие написаниям типа **търгъ**. Статус этих написаний остается, однако, неясным. Были ли они допустимым орфографическим вариантом или ошибкой? Отличалось ли книжное произношение от разговорного тем, что в первом гласный звучал только перед плавным, а во втором — и перед и после него и не отражали

ли написания типа **търгъ** этого книжного произношения, а написания типа **търъгъ** — живой речи писца? Или же книжное и разговорное произношение были в данном аспекте тождественны, притом что фиксация на письме гласного звука, следующего за плавным, оставалась за пределами строгой орфографической нормы?[8] И эти вопросы требуют дальнейшего статистического исследования на более обширном и показательном материале.

3.2. Последняя проблема связана со сложными вопросами соотношения орфографии и фонетики: фонетические характеристики отражаются в правописании лишь косвенным образом, причем в книжном тексте могут действовать и такие орфографические условности, за которыми не стоит никакая фонетическая реальность. Современная славистика далеко ушла от того этапа исследований, когда книжный текст рассматривался как своего рода транскрипция и можно было писать, как это делал В. Н. Щепкин, о «кирилловских звуках» (Щепкин 1899, 289). Тем не менее реликты этого подхода все еще сохраняются в научном сознании, и книга И. Тота дает этому немало примеров. Характерно, например, что он может писать об «архаичном з в у к о в о м облике» формы **олѣѥмь** (с. 164; разрядка наша. — *В. Ж.*). Точно так же, рассуждая о написании **ѣ** в СлПс, И. Тот пишет о двух тенденциях, «которые существовали в языке СлПс: 1) широкое произношение гласного /ě/, что засвидетельствовано написаниями буквы **ѣ** вместо **ꙗ** (**а**), 2) более закрытое произношение, что выражается в большинстве написаний, когда буква **ѣ** пишется этимологически правильно. Широкое произношение буквы **ѣ**, — замечает автор, — характерно для глаголических памятников…» (с. 285). Поскольку СлПс рассматривается как памятник русского происхождения, очевидно, что в произношении писца /ě/ выступал как фонема средне-верхнего подъема, что же касается смешения **ѣ** и **ꙗ**, его естественно отнести на счет протографа, скорее всего глаголического (хотя,

[8] Ср. в этой связи противоречивые данные кондакарей (Успенский 1973, 330—332) — кондакарная запись, как правило, в большей степени отражает книжное произношение, нежели обычное книжное письмо, и при этом может даже отступать от орфографических правил.

конечно же, не исключен промежуточный кириллический оригинал): оно является результатом неправильной транслитерации и о произношении не говорит ничего. Очевидно вместе с тем, что и употребление глаголицы не дает однозначных указаний на произношение /ě/: глаголический алфавит мог свободно употребляться и в тех славянских областях, где имела место оппозиция /ě/ и /ä/ (Лант 1949).

Некорректный переход от данных правописания к фонетике наблюдается у И. Тота и в других, более принципиальных случаях. Так, многочисленные случаи пропущенных еров в ограниченном наборе корней (*вьс*-, *дьн*-, *книг*-, *мног*-, *кът*-, *чьт*- и несколько других) рассматриваются И. Тотом как отражение падения редуцированных в «абсолютно слабой позиции» (с. 206, 211, 214, 228, 235, 253—254, 261). Отражение этого явления автор видит даже в написании **ѱалъма** в ЖК, а также в таких примерах, как **ѱаниѥ** (ЖК, ПА[2]), **наѱаниѥ**, **наѱати**, **ѱано** (РЕ), явно имеющих характер условного сокращения (с. 224, 230, 249). От фонетической трактовки не останавливают И. Тота и написания типа **всь** или **днь**, где опущен сильный редуцированный: в первом случае он видит влияние протографа (с. 265, — как будто это что-нибудь объясняет), а во втором пишет о положении «этимологически слабого редуцированного в сильной позиции» (разрядка наша.— *В. Ж.*) (с. 235, — какой смысл имеет этот оксюморон, не сказано); между тем орфографический прием сокращения выступает в этих случаях с полной очевидностью. При этом автор игнорирует большое число корней, в которых редуцированный находится в такой же «абсолютно слабой» позиции и для которых нет никаких свидетельств о раннем его падении. Любого из перечисленных обстоятельств достаточно для того, чтобы отказаться от прямой фонетической интерпретации и увидеть в этом, как указывал еще Н. Н. Дурново, «орфографический прием», который «восходит к южнославянскому правописанию» (Дурново 1925—1926, 111 / 2000, 433) (И. Тот и здесь почему-то игнорирует результаты, полученные замечательным русским славистом).

Неоправданный переход от графики к фонетике наблюдается в монографии и в рассуждениях о мягкости согласных. Так, отдельные написания с **ꙗ** после шипящих в ПА[2] (при

основной модели с а в этом положении) указывают, по мнению И. Тота, на мягкость *ж*, *ш* в говоре писца, а написания с ꙗ после других согласных (на месте этимологического ѧ) «могут свидетельствовать о вторичной мягкости согласных перед ’*а* < ѧ» (с. 81, ср. с. 150). На аналогичных основаниях делается и вывод о мягкости шипящих в ТЛ (с. 87). На основе анализа йотированных гласных и эквивалентных йотации диакритик И. Тот считает возможным предполагать для писца ЖФ, «как и для писца Мстиславова евангелия, троякое членение согласных: твердые, полумягкие и мягкие согласные» (с. 158). Написание ѧ в суффиксе имперфекта в РЕ позволяет, на взгляд автора, «установить, что... исконно смягченные согласные не отличались от вторично смягченных согласных, возникших на древнерусской почве» (с. 171). Указание на вторично смягченные согласные И. Тот находит и в написаниях суффикса имперфекта как -ꙗа- (хотꙗахѫ) в ЛВ (с. 172). Из постановки диакритических знаков над н, р, л выводится заключение о мягком произношении этих согласных перед /е/ (с. 192) и т. д. (ср. еще с. 204, 210, 211).

Очевидно между тем, что разбираемые орфографические системы в принципе не могут сообщить данных о так называемом «вторичном смягчении», о конкретной фонетической реализации шипящих, о совпадении первично смягченных и вторично смягченных согласных. Если, например, устанавливается соответствие /ä/ → ѧ, ꙗ, то из написания мѧ или мꙗ нельзя сделать никакого вывода о качестве /m/: фонологическая система может быть реконструирована так, что мягкость не входит в число различительных признаков, и анализируемые И. Тотом написания такой реконструкции не противоречат. Если даже процесс рефонологизации /mä/ > /m’a/ относить к рассматриваемому периоду, он не отражался и не мог отражаться в правописании. После шипящих (палатальных шумных) происходила нейтрализация гласных по ряду. Соответственно, в позиции после этих согласных могли с равным успехом писаться а и ѧ или ꙗ, ъ или ь. Мягкость не была релевантным признаком для палатальных, и поэтому выбор той или иной гласной буквы мог быть орфографической условностью, а отнюдь не обозначением фонетического качества.

Рефлексами сочетаний **nj*, **lj* и **rj* были первоначально палатальные сонорные, противопоставленные /n/, /l/, /r/ не по модальному признаку мягкости, а по месту образования (Лант 1949; Колесов 1980, 41). Палатальность сонорных могла обозначаться как с помощью диакритических знаков, так и с помощью йотированных букв; последний способ обозначения палатальности мог распространяться и на палатальные шумные. Последовательное употребление йотированных букв после л, н (как, например, в Остромировом евангелии) указывает на существование подобной фонологической оппозиции (но отнюдь не на «мягкое произношение» л, н; не могут указывать на него и обозначающие палатальность диакритические знаки). Существовала вместе с тем и орфографическая традиция, в которой палатальность никак не обозначалась; буквы ꙗ и ѧ могли выступать в ней как вариантные, потому из их написания после согласных нельзя сделать никакого вывода ни о релевантности признака палатальности, ни о мягкости несонорных согласных, ни о совпадении «первично» и «вторично» смягченных, ни тем более о тройном членении согласных на твердые, полумягкие и мягкие (Лант 1949; Живов 1984, 253). Развитие новой фонологической системы, в которой согласные противопоставлялись по мягкости, а палатальные сонорные совпали с мягкими, принципиально не могло отразиться в тех характеристиках правописания, которые анализирует И. Тот. Поэтому его выводы остаются схемами, перенесенными из исторической фонетики восточнославянских языков и бездоказательно связанными с отдельными чертами орфографических систем исследуемых рукописей.

3.3. Нечеткость и непоследовательность методологии, которую можно было видеть на рассмотренных выше примерах, не позволяет И. Тоту построить убедительную картину формирования русского извода церковнославянского языка. Такая картина в принципе предполагает определение факторов, воздействовавших на формирование тех или иных элементов русской нормы: книжного и диалектного произношения, инославянских орфографических традиций и т. д. Понятно, что при путанице в выявлении черт протографа, неясности в разграничении фо-

нетических и орфографических явлений не представляется возможным определить, как и на что воздействовал тот или иной фактор.

Еще менее убедительными представляются попытки автора установить хронологию отдельных явлений. Так, говоря об употреблении юсов, И. Тот предполагает, что древнейшими являются системы с тремя и четырьмя юсами, причем трехъюсовая орфография может быть старше четырехъюсовой, что четырехъюсовая была продуктивна в 1050—1080-е годы и что именно к 80-м годам XI в. относится ТЛ. Двухъюсовая орфография представлена Архангельским евангелием 1092 г., и на этом основании И. Тот считает, что она была продуктивной в 90-е годы XI в., и относит к этому периоду ПА[3], МД, СК[2] и РЕ[1] (с. 125—127).

В общих чертах история юсов в русской письменности достаточно ясна. Те орфографические системы, которые стоят в прямой зависимости от инославянских протографов, получают распространение в начальный период русской письменности: к ним принадлежит как четырехъюсовая, так и трехъюсовая система. Нет оснований для принципиального ограничения этих систем 70-ми или 80-ми годами XI в. — йотированные юсы исчезают с прекращением прямого влияния инославянских оригиналов, т. е. к началу XII в. Сказать точно, когда впервые появились двухъюсовые русские рукописи, мы не можем; относить продуктивность такой графики только к 90-м годам XI в. на основании одного Архангельского евангелия совершенно невозможно. Видимо, большая устойчивость ѫ — такой же излишней для русского извода графемы, как и йотированные юсы, — объясняется вхождением ѫ в стандартный алфавит, употреблявшийся при обучении чтению (Янин 1986, 53). Хотя двухъюсовые рукописи составляют меньшинство уже и для XII в., однако такую графическую систему можно наблюдать даже в Симоновской псалтыри последней четверти XIII в. (ср. еще последний почерк в Стихираре Син. 279 кон. XII в., л. 162 об.—168 об.). Поэтому из одного данного признака никакой датировки для ПА[2], МД и т. д. извлечь невозможно, так что хронологические домыслы в подобном случае неуместны.

То же самое можно сказать и о предположении И. Тота, согласно которому написание рефлексов **tъrt*, **tъlt*, **tьrt*, **tьlt* с

диакритикой после плавного является более древним, чем написание с ерами по обе стороны плавного (с. 279). Автор делает это предположение на основании одного недатированного памятника (ЖФ), забывая при этом о том бесспорном факте, что уже в первом датированном русском памятнике, Остромировом евангелии, имеются как те, так и другие написания (Козловский 1885—1895, 110—111). Этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы воздержаться от каких-либо гипотез о сравнительной древности.

Наивным выглядит и заключение И. Тота о том, что ни одна из обследованных им рукописей «не была написана после первой половины XII в.», поскольку в них не отразились «процессы утраты и вокализации редуцированных вместе со своеобразными последствиями их падения», впервые зафиксированные Добриловым евангелием 1164 г. (с. 282). Можно указать на целый ряд памятников конца XII — нач. XIII в., которые по правописанию еров мало чем отличаются от рассмотренных в монографии рукописей: Добрилово евангелие отнюдь не было памятником, установившим новую норму, которой следовали все писцы, работавшие после 1164 г. Хронологические гипотезы подобного рода относятся не к области научных исследований, а к области опережающей науку фантазии (ср. еще парадоксальное предположение Л. П. Жуковской о большей древности Реймсского евангелия сравнительно с Остромировым — Жуковская 1981); как таковые они обнаруживают недостаточное понимание подлинных проблем, стоящих перед историком языка.

Формирование русского извода церковнославянского языка было сложным и длительным процессом, включавшим переработку инославянских норм литературного языка по целому комплексу признаков. В ходе этой переработки одни признаки закреплялись как средство противопоставления литературного и живого языка, тогда как по другим признакам литературный язык сближался с диалектным языком восточнославянского населения. Это сближение шло неравномерно по разным признакам. Так, скажем, -**ть** в окончаниях 3 л. презенса входит в норму русского извода со времени самых первых известных нам памятников (формы на -**тъ** отмечаются лишь в Остромировом евангелии и СлПс). **Ж** на месте **dj* вытесняет **жд** существенно

медленнее: в наиболее ранних памятниках **ж** встречается значительно реже, чем **жд**, в памятниках рубежа XI—XII вв. **ж** постепенно берет верх над **жд**, и лишь в начале XIII в. **жд** оказывается за пределами нормы (ср. исправления **жд** на **ж** в Богословии Иоанна Дамаскина, ГИМ, Син. 108), хотя отдельные формы с **жд** отмечаются и в рукописях XIII в. Еще медленнее идет замена **рѣ** на **ре** в рефлексах **tert*: и в рукописях XIII в. пропорции написаний с **рѣ** и **ре** подвержены сильной вариации.

Каждый из релевантных для формирования русского извода признаков обладает своим характером изменения. При этом в рукописях наблюдается определенная взаимозависимость разных признаков. Например, если в рукописи последовательно выдержано **ре** в рефлексах **tert*, то в ней последовательно выдержано и **ж** в рефлексах **dj*; если в рукописи **ж** в рефлексах **dj* встречается чаще, чем **жд**, в ней отсутствует **-тъ** в 3 л. презенса. Наблюдения над подобными зависимостями разбросаны в славистической литературе (они есть и у И. Тота, см. с. 339), однако они не приведены в систему. Систематический анализ этих закономерностей является одной из актуальнейших задач истории русского литературного языка. С этой задачей связана и другая — выявление тех факторов, которые определили тот или иной характер эволюции признака.

Вместе с тем установление указанных закономерностей должно дать нам возможность построения относительной хронологии рукописей (отдельных почерков). Будучи охарактеризована по всем релевантным для формирования русского извода признакам, рукопись должна занять определенное место в истории складывания русской нормы. Для каждой пары рукописей (почерков) мы, вообще говоря, можем сказать, что одна из них относительно старше другой. Например, почерк, в котором последовательно проведено **ж** на месте **dj*, в 70% случаев пишется **ре** в рефлексах **tert* и т. д., будет относительно моложе почерка, в котором встречается **жд** на месте **dj*, в 40% случаев пишется **ре** в рефлексах **tert* и т. д.[9] Ясно, что прямого перехода от этой

[9] Конечно, в принципе могут быть и такие случаи, когда одна рукопись (почерк) «обгоняет» другую по одному признаку, но «отстает» от нее по

относительной хронологии к абсолютной нет и не может быть (хронологические гипотезы И. Тота и ряда других авторов обусловлены именно таким простым переходом), однако какая-то зависимость здесь наверняка существует. Чтобы получить возможность каких-либо обоснованных заключений в этой области, необходимо детально изучить все сохранившиеся рукописи (особенно для XI—XII вв., где число их весьма ограничено). При этом звеньями, соединяющими относительную хронологию с абсолютной, будут служить, с одной стороны, датированные рукописи, а с другой — сопоставление разных, но единовременных почерков одной рукописи (такое сопоставление показывает, какие относительно разновременные системы могут абсолютно сосуществовать). Исследования в этой области — также одна из актуальных задач истории русского литературного языка.

Монография И. Тота этих задач не ставит и не решает. Самый отбор материала предопределяет ограниченность проблем, решаемых в исследовании. Автор выбирает десять второстепенных памятников древнейшего периода, преимущественно небольших отрывков, в ряде случаев не способных дать материал для значимых статистических наблюдений. Общий объем всего рассмотренного материала — около 70 листов, т. е. менее трети обычной «целой» рукописи. Даже и при абсолютной методологической четкости на этом материале вряд ли можно хотя бы с относительной полнотой раскрыть вынесенную в заглавие тему — русская редакция древнеболгарского (т. е. церковнославянского) языка в конце XI — начале XII в. Данная тема безусловно требует привлечения всех сохранившихся рукописей рассматриваемого периода, и прежде всего таких основополагающих памятников, как Остромирово евангелие, Изборники 1073 и 1076 гг., Слова Григория Богослова, Слова Кирилла Иерусалимского, Синайский патерик, Чудовская псалтырь, Типографские и Синодальные минеи и т. д. Это очень трудоемкая

другому. Такие пары колеблющихся признаков также должны быть предметом особого изучения; ясно, что лишь немногие признаки могут образовать такие пары.

работа, но это же и единственный путь к получению значимых выводов. Заменить этот труд изучением нескольких отрывков невозможно. Между тем работа с отрывками является, видимо, принципиальной установкой И. Тота, поскольку он оперирует с фрагментами не только в том случае, когда это все, что дошло до нас, но и тогда, когда рукопись сохранилась в более пространном виде: из 310 листов ПА выбрано 7, из 144 листов БПс (вместе с синайской частью) выбрано только 9[10].

Такой подход к изучению процессов формирования русского извода нельзя назвать перспективным. И по объему рассматриваемого материала, и по широте ставящихся задач исследование И. Тота оказывается в стороне от той плодотворной славистической традиции, которая обозначена трудами А. И. Соболевского, И. В. Ягича, А. А. Шахматова, Н. Н. Дурново, Г. Ланта. Проблемы формирования русского извода ждут своего исследователя. Надо полагать, что он — среди прочих материалов — воспользуется и работой И. Тота. Собранные им данные (часто, видимо, с иной интерпретацией) найдут свое место в общей истории русского литературного языка. Эта история, основанная на всем дошедшем до нас богатейшем рукописном материале, должна раскрыть один из важнейших аспектов развития русской культуры в эпоху Средневековья.

Литература

Альтбауэр 1978 — An Early Slavonic Psalter from Rus’. Vol. I: Photoreproduction / Ed. by M. Altbauer with the collaboration of H. G. Lunt. Cambridge Mass.: Harvard Univ. Press, 1978.

---

[10] Между тем фототипическое воспроизведение всей рукописи легкодоступно (Альтбауэр 1978). Замечу, что рассматривая лишь фрагмент этой рукописи, И. Тот высказывает странное предположение, что она является памятником «скорее южного, нежели северного происхождения» (с. 49). Поскольку в синайской части отражается цоканье, такое предположение нуждается в каком-то особом обосновании.

Я бы считал вместе с тем, что лишь при стремлении к полному охвату рукописей XI в. (и лишь с оговорками) в корпус исследуемых текстов можно вводить СлПс, дошедшую до нас в копии, которую трудно считать достоверной во всех деталях.

Дурново 1924 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. 1924. Кн. 4. С. 71—94.

Дурново 1925—1926 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. 1925—1926. Кн. 5. С. 93—117.

Дурново 1926—1927 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнословенски филолог. 1926—1927. Кн. 6. С. 11—64.

Дурново 1929 — *Дурново Н. Н.* Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов // Byzantinoslavica. 1929. Roč. 1. С. 48—85.

Дурново 1933 — *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // Slavia. Roč. 12 (1933). Seš. 1—2. С. 45—82.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Живов 1984 — *Живов В.* Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian Linguistics. 1984. Vol. 8. № 3. С. 251—293.

Живов и Успенский 1984 — *Живов В. М.*, *Успенский Б. А.* Оппозиция рефлексов **ě* и **e* в книжном произношении и историческая диалектология // Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровнего взаимодействия в истории языка). Ужгород, 18—20 сентября 1984 г.: Тез. докл. и сообщений. Т. 2. М., 1984. С. 217—218.

Жуковская 1981 — *Жуковская Л. П.* Гіпотези и факти про давньоруську писемність до XII ст. // Літературна спадщина Київської Руси і українська література XVI—XVIII ст. Київ: Наук. думка, 1981. С. 9—35.

Зализняк 1986 — *Зализняк А. А.* Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *Янин В. Л.*, *Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М.: Наука, 1986. С. 89—219.

Исаченко 1980 — *Issatscheiiko A.* Geschichte der russischen Sprache. 1. Bd. Von den Anfangen bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1980.

Козловский 1885—1895 — *Козловский М. М.* Исследования о языке Остромирова Евангелия // Исследования по русскому языку. Т. 1. СПб.: Отд-ние рус. яз. и словесности имп. АН, 1885—1895. С. 1—127.

Колесов 1980 — *Колесов В. В.* Историческая фонетика русского языка. М.: Высш. шк., 1980.

Лант 1949 — *Lunt H. G.* The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. University microfilms. Ann Arbor, 1949.

Лант 1984 — *Lunt H. G.* On Writing the History of the Language of Old Rus' // Semiosis. Semiotics and the History of Culture: In Honorem Georgii Lotman. Ann Arbor, 1984. P. 303—319. (Michigan Slavic Contributions; № 10).

Марти 1984 — *Marti R. W.* Old Church Slavonic Nasal Vowels: V̨ or VN? // New Zealand Slavonic Journal, 1984.

Толстой 1961 — *Толстой Н. И.* К вопросу о древнеславянском языке как общем литературном языке южных и восточных славян // Вопр. языкознания. 1961. № 1. С. 52—66.

Успенский 1971 — *Успенский Б. А.* Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования): Автореф. дис. … докт. филол. наук. М., 1971.

Успенский 1973 — *Успенский Б. А.* Древнерусские кондакари как фонетический источник // Славянское языкознание: VII Междунар. съезд славистов. Варшава, август 1973 г.: Докл. сов. делегации. М.: Наука, 1973. С. 314—346.

Успенский 1983 — *Успенский Б. А.* Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М.: Изд-во МГУ, 1983.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энциклопедия славянской филологии; Вып. XI, 1).

Щепкин 1899 — *Щепкин В. Н.* Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899.

Янин 1986 — *Янин В. Л.* Новгород. Берестяные грамоты № 540—614 // *Янин В. Л.*, *Зализняк А. А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977—1983 гг.). М.: Наука, 1986. С. 13—76.

Приложение

Н. Н. Дурново и его идеи в области славянского исторического языкознания *

Николай Николаевич Дурново родился 23 октября (4 ноября) 1876 г. в деревне Парфенки Рузского уезда Московской губернии в семье Николая Николаевича Дурново-старшего. Его отец был известным церковным публицистом и издателем довольно консервативного направления, писавшим, в частности, не без славянофильских тенденций по вопросам православия у славян и на христианском Востоке. Матерью Н. Н. Дурново была Елизавета Ивановна Вельменинова, которой и принадлежала деревня Парфенки; отец же был небогат и никакой земельной собственности не имел. Н. Н. Дурново был старшим из трех братьев, хотя именно он в наследство получил одного кота.

В 1895 г. Н. Н. Дурново окончил 6-ю московскую гимназию с серебряной медалью и поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Здесь его интересы были сосредоточены вокруг древнерусской литературы, в области которой его учителем был М. И. Соколов, и языкознания — Московскую лингвистическую школу возглавлял Ф. Ф. Фортунатов. В своей биографии 1904 г. Дурново писал: «На выбор специальности оказали влияние интересы отца и его библиотека, заключавшая много книг по церковным и политическим вопросам, по славянской этнографии и истории и истории государства и права» (Сумникова 1995, 74). Тогда же, по словам

---

* Впервые опубликовано в кн.: *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. vii—xxxvi.

Дурново, развился его «интерес к классическим писателям и языкознанию. Интерес к диалектологии поддерживался жизнью в имении» (там же). В 1899 г. Дурново окончил университет с дипломом первой степени и был оставлен при кафедре русской словесности для подготовки к магистерскому экзамену; и здесь его руководителями были М. И. Соколов и Ф. Ф. Фортунатов.

В годы магистратуры Дурново активно занимается русской диалектологией и древнерусскими литературными памятниками. Он публикует «Описание говора деревни Парфенок Рузского уезда Московской губернии» (Дурново 1900—1903), содержащее монографическое описание говора не только в его отличиях от литературного языка, но как законченной системы. В 1901 г. Дурново вместе с другими учениками Фортунатова (Н. Н. Соколовым, Д. Н. Ушаковым и др.) организует Кружок по изучению истории и диалектологии русского языка, который в 1903 г. преобразуется в Московскую диалектологическую комиссию при Отделении языка и словесности Академии наук; работой комиссии руководит Ф. Е. Корш, ее поддерживает А. А. Шахматов. Забегая вперед, стоит заметить, что русская диалектология как научная дисциплина и была создана работами Комиссии; по составленным членами Комиссии (прежде всего Дурново) программам для собирания сведений о русских говорах обследовались диалекты большинства губерний Европейской части России, и на основе этих сведений была создана классификация восточнославянских диалектов и составлена диалектологическая карта русского языка в Европе. Это было, однако, уже позже, в 1914 г., а в 1903 г. Дурново издает «Диалектологическую карту Калужской губернии», важную как первый для Дурново опыт лингвистического картографирования.

В 1904 г. после сдачи магистерских экзаменов и пробных лекций Дурново становится приват-доцентом Московского университета. Он читает курс диалектологии русского языка, ведет занятия по современному русскому языку и просеминарий по древнерусской литературе. Хотя по видимости ученая карьера Дурново складывается достаточно гладко, он сталкивается с постоянными трудностями жизнеустройства. Как замечает Т. А. Сумникова, «[п]риват-доцентское жалованье в университете, к тому же при неполной и непостоянной нагрузке,

не обеспечивало нормальной жизни даже неженатого человека, и Н. Н. Дурново вынужден был преподавать еще в двух частных гимназиях. Работа в МДК велась на общественных началах. Лишь в 1906 г. Н. Н. Дурново, будучи ученым секретарем комиссии, получил стараниями А. А. Шахматова от Отделения русского языка и словесности стипендию в 900 руб. с ежемесячной выплатой „для поддержания научной деятельности“ ‹…› В 1906 г. Н. Н. Дурново женился на соседке по имению, дочери состоятельных помещиков Рукиных — Екатерине Евгеньевне. Ее письма к мужу за 1909—1910 гг. полны сетований на нехватку необходимого: „… дело было… в вечном безденежье“, „живем впроголодь“» (Сумникова 1995, 77—78).

В силу этих обстоятельств Дурново в 1910 г. перешел в Харьковский университет, оставаясь приват-доцентом и ведя одновременно преподавание на Высших женских курсах и в двух частных гимназиях. Как свидетельствует семейная переписка (Сумникова 1995, 78), в материальном отношении положение его улучшилось лишь незначительно, а в жизни возникли новые трудности; например, Дурново еженедельно ездил из Харькова в Москву на заседания Московской диалектологической комиссии. В 1912 г. Дурново пытается вернуться в Москву и занять должность «инспектора народных училищ в г. Москве или в одном из участков Московской губернии» (там же), однако получает отказ, обусловленный, по предположению Т. А. Сумниковой, политическими причинами — дальним родством Н. Н. Дурново с П. Н. Дурново, в 1905—1906 гг. министром внутренних дел, позднее статс-секретарем, сенатором и членом Государственного совета, известным своими консервативными убеждениями. Сыграло ли действительно роль это дальнее родство, при том что реальных отношений с петербургскими сановниками у Н. Н. Дурново не было, а род Дурновых был многочислен и никаким родовым единством не отличался, остается неясным, однако более конкретный политический подтекст все же мог существовать.

О политических симпатиях Н. Н. Дурново нам мало что известно. В анкете арестованного 1933 г. говорится: «В партиях не состоял. В политических выборах не участвовал. Политической деятельностью не занимался» (Ашнин и Алпатов 1993, 54).

Семья, однако, была монархической, православной, чуждой не только каких-нибудь радикальных увлечений, но и кадетского либерализма. Нет никаких оснований думать, что политическая ориентация ученого существенно расходилась с ориентацией его близких[1]. Весьма показательна в этом плане его позиция в отношении студенческих беспорядков 1905—1906 гг. В бумагах Дурново сохранилась записка к нему семи студентов-филологов: «[П]росим Вас освободить нас от Вашего присутствия на лекциях Миллера и Кирпичникова, так как после прошлогоднего известного Вам инцидента считаем оскорбительным для себя пребывать в одной аудитории с Вами» (Сумникова 1995, 80). Инцидент состоял, как можно понять, в том, что Дурново назвал бастующих студентов негодяями[2]. Такая реакция была

---

[1] Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов характеризуют политические взгляды Дурново как «либерально-демократические и чуждые крайностей, что проявляется и в его документах 30-х годов» (Ашнин и Алпатов 1993, 56). Для этого, кажется, нет никаких оснований, кроме собственных либеральных пристрастий авторов. Документы 30-х годов, т. е. протоколы допросов и показания прокурору Акулову 1934 г., вряд ли были теми бумагами, в которых Дурново мог и хотел подробно изложить свои воззрения тридцатилетней давности. На допросах он упоминает, что «[б]ыл членом „Союза 17 октября“ в 1906 г. В 1907 г. отошел от практической работы ввиду несогласия с программой» (Сумникова 1995, 79; Ашнин и Алпатов 1994, 19). В чем состояло несогласие с программой октябристов, Дурново не указывает. Т. А. Сумникова предполагает, что это было вызвано изменением программы октябристов «в сторону царизма» на 2-м съезде партии в 1907 г. (Сумникова 1995, 81). Столь же правдоподобны, однако, и прямо противоположные основания. Отец Дурново и его братья вступают в Союз русского народа, находившийся существенно справа от октябристов, видимо, в силу разочарования в октябристском реформизме и реакции на либерализм. В 1906 г. брат Н. Н. Дурново Михаил Николаевич пишет ему о земском собрании в Рузском уезде: «Почему кадеты взяли такой верх? — больно стало от такой вести» (там же, 80), — и, видимо, рассчитывает на сочувствие брата. Так что расхождение с октябристами, если оно вообще было, могло быть справа, а не слева. Не исключено, однако, что после катаклизмов 1905—1906 гг. Дурново просто отстраняется от партийного противоборства.

[2] В архиве Дурново сохранилась его объяснительная записка об инциденте со студентом Яковлевым, который назвал Дурново подлецом и

редкостью среди университетских преподавателей, настроенных, как правило, либерально и в той или иной степени сочувствовавших студентам. Позиция Дурново была явно ближе позиции А. И. Соболевского, резко выступавшего против студенческих комитетов, чем позиции либеральной профессуры (о конфликтах в академической среде этого времени см. Пуришкевич 1914). Никак не свидетельствует о каких-либо симпатиях к либерализму деятельность Дурново в земских учреждениях или в качестве помощника предводителя дворянства (см. об этой общественной деятельности Дурново: Сумникова 1995, 81—82). Политические позиции подобного типа могли сыграть роль в судьбе Дурново: и в академической, и в учебной, и в художественной среде господство либерализма обращалось в преследование несогласных.

Как бы то ни было, в 1915 г. Дурново все же вернулся в Москву, хотя работа приват-доцента никак не избавляла его от материальных трудностей (см. Сумникова 1995, 79). После смерти Ф. Е. Корша в 1915 г. председателем Московской диалектологической комиссии стал Д. Н. Ушаков, а Дурново сделался его заместителем. В 1916 г. он наконец защитил магистерскую диссертацию, ею стала его фундаментальная работа «Материалы и исследования по старинной литературе. I. К истории Повести об Акире» (Дурново 1915). Как именно он пережил 1917 год, мы сведениями не располагаем. В 1918 г. открылся университет в Саратове, куда перешел ряд профессоров Дерптского университета, в новом университете Дурново получил по конкурсу должность профессора и уехал в Саратов вместе с семьей и отцом. 13 октября этого же года Дурново в Петроградском университете защитил докторскую диссертацию, которой стали его «Диалектологические разыскания в области великорусских говоров».

В Саратове Дурново пробыл недолго. Осенью 1920 г. Поволжье охватил голод, и университет, приютивший многих видных

толкнул его из-за того, что Дурново накануне в разговоре нелицеприятно отозвался о бастующих студентах. Дурново писал: «Я нахожу, что Яковлев имел такое же право обругать меня подлецом, какое я имел право назвать бастующих студентов негодяями» (Сумникова 1995, 80).

ученых, начал распадаться. В 1921 г. покидает Саратов и переезжает в Москву, хотя в Москве у него никакой работы не было. Вообще, по многим свидетельствам, Дурново был непрактичен и лишен всякой житейской цепкости, и в условиях большевистского режима ему от этого приходилось особенно тяжело. Д. Н. Ушаков ввел Дурново в комитет по составлению общедоступного словаря русского языка, однако этот комитет просуществовал лишь до 1923 г., да и жалованье было весьма скромным. В 1923 г. Дурново остался вовсе без работы. Как он позже показывал на допросе, «[с] 1923 г. по VIII.1924 г. работал в качестве товарища председателя Московской диалектологической комиссии и занимался научной работой» (Ашнин и Алпатов 1994, 20). В это время Дурново издает три книги: «Повторительный курс грамматики русского языка», «Грамматический словарь» и «Очерк истории русского языка» — и пытается источником пропитания сделать научную работу. Вообще же тяжелые обстоятельства способствовали парадоксальным образом интенсивности ученого труда; именно в этот период Дурново обследует восточнославянские рукописи XI—XII вв., и собранные при этом данные служат материалом для его позднейших работ по истории книжного (церковнославянского) языка. В 1924 г. Дурново избирают членом-корреспондентом Академии наук — конфликты между либералами и консерваторами явно перестают быть актуальными перед лицом большевистской диктатуры, а Академия еще сохраняет некоторую независимость.

В 1924 г. Дурново уезжает из России. В своих показаниях 1933 г., цитируемый фрагмент которых кажется вполне достоверным, он писал: «В конце 1923 г. из-за ликвидации комитета по составлению общедоступного словаря русского языка я остался без работы. В таком положении я был и в 1924 г. Неопределенность моего положения и мое отрицательное отношение к Советской власти привели меня к решению искать возможности для выезда за границу. В августе 1924 г. я получил гонорар за мои книги „Очерк истории русского языка“ и „Повторительный курс русской грамматики“. Мне удалось получить от Академии наук командировку в Чехословакию на 4 месяца, и я выехал за границу. Я ехал с твердым намерением в Советскую Россию не возвращаться и остаться в эмиграции» (Ашнин и Алпатов

1994, 20). Дурново эмигрировал, но благополучия не нашел и в эмиграции. Во-первых, он надеялся, что за ним последует его семья, однако советский режим отказал им в разрешении на выезд. Во-вторых, перспективы устроить жизнь в Чехословакии были неутешительны. В период между двумя войнами Чехословакия более других стран старалась помочь эмигрировавшим из России ученым, однако ее возможности были ограничены и для всех места не находилось.

О Дурново хлопочет Р. О. Якобсон, бывший его учеником и работавший в то время в советском полпредстве в Праге. Дурново получил пособие для русских эмигрантов от чехословацкого Министерства иностранных дел, Чехословацкая академия предоставила ему средства для диалектологической поездки в Закарпатье. Наконец, на весенний семестр 1926 г. он был приглашен философским факультетом Университета им. Масарика в Брно в качестве профессора-гостя; переработкой этих лекций стала его книга «Введение в историю русского языка», изданная в 1927 г. в Брно (Ашнин и Алпатов 1994, 21). Это, собственно, и были все успехи в Чехословакии. Дурново оказался в эмиграции без семьи и без постоянной работы. 17 мая 1927 г. он пишет Б. М. Ляпунову: «Мое материальное и семейное положение начинает становиться катастрофическим, и я совершенно не могу представить, когда я буду иметь финансовую возможность вернуться из своей просроченной за отсутствием средств заграничной командировки» (Робинсон и Петровский 1992, 69). В этих условиях Дурново и решает вернуться в Советский Союз.

Подтолкнуло его к этому предложение работать в Белоруссии, в Белорусской академии наук, которое сделал ему П. А. Бузук. В Белоруссии активно создавали национальную культуру и, соответственно, национальную филологию, и столь крупный ученый, как Дурново, был для них неоценимым приобретением. Дурново избирают академиком незадолго перед тем созданной Белорусской академии наук, и в феврале 1928 г. он переезжает в Минск, где получает место как в Институте белорусской культуры, так и в университете. Пришедшее здесь относительное благополучие было призрачным и кратковременным. С начала 1930-х годов Сталин начинает построение коммунистической империи, и национальные культуры, равно как и вся система

гуманитарного образования и науки должны были вписаться в новую коммуно-имперскую парадигму. В национальной политике это означало прекращение того строительства автономных национальных культур, которое стимулировалось самими же большевиками в предшествующий период — тогда в противовес русской национальной традиции; перемена же политики воплощалась прежде всего в уничтожении основных деятелей, проводивших более ранние установки. В области науки и образования новая линия реализовалась в реформировании и полном подчинении партийному руководству старых институций, которые теперь должны были обслуживать культурную политику советской империи. Ученым предстояла перековка; забракованных для перековки уничтожали, как сорняки, по возможности вместе с памятью об их делах и трудах.

Первый этап осуществления новой политики был ознаменован процессом Промпартии, «делом историков» (С. Ф. Платонов и др.), арестами по делу Трудовой крестьянской партии (Н. Д. Кондратьев, А. В. Чаянов; процесс не состоялся, но арестованные отправились в лагеря и тюрьмы), борьбой с «буржуазными националистами» (аресты в национальных республиках; процесс «Союза освобождения Украины» в Харькове в 1930 г.). В Белоруссии с 1929 г. расправлялись с так называемыми нацдемами (национальными демократами), и те, кто еще не был арестован, торопились избавиться от подозрительного окружения. Дурново был исключен из Белорусской академии[3], оставаться в Минске было опасно и невозможно, и в начале 1930 г. он вновь

---

[3] Нет нужды специально указывать, что никакого отношения к белорусскому национальному движению Дурново не имел, а к деятелям белорусского национального строительства, в 1920-е годы санкционированного большевиками, относился достаточно скептически. Так, например, из Минска он писал Б. М. Ляпунову: «Они безграмотны, не понимают настоящей науки и только роняют имя белорусской „Академии Наук“ ‹…› Их белорусский патриотизм часто выливается в форму нелепого и вредного шовинизма. Но они или большинство из них не шарлатаны» (Робинсон и Петровский 1992, 71). Именно последнее обстоятельство до времени утешало Дурново. Позже (в 1931 г.) Дурново обвинялся в том, что «выступал в своих работах, трактуя белорусский язык как наречие русского языка», и «заявлял, что марксизм не имеет и не может иметь ни-

возвращается в Москву. Однако тучи над русской наукой сгущались, и перспектив в Москве не было никаких. В 1930 г. его, правда, еще выдвигают в академики на место, освободившееся за смертью А. И. Соболевского, но эти попытки обречены на неудачу. Академия была совсем не той, что в 1924 г., когда Дурново избрали членом-корреспондентом. В 1929 г. в Академию пропихивают большевистскую пятую колонну: сначала Бухарина, Кржижановского и Губкина, затем Деборина, Фриче и Н. М. Лукина, а под конец Луначарского и В. П. Волгина, который сменяет С. Ф. Ольденбурга на месте непременного секретаря. Изменения вносятся в устав Академии, появляются «материалистическое мировоззрение», «нужды социалистической реконструкции», и становится возможным исключение из Академии тех членов, чья деятельность «направлена во вред Союзу ССР». Разматывается «дело историков», арестованы С. Ф. Платонов, М. К. Любавский, Н. П. Лихачев, В. Н. Бенешевич, С. В. Бахрушин, С. В. Рождественский, А. М. Мерварт, Я. Н. Ростовцев, С. К. Богоявленский, В. И. Пичета (как и Дурново, академик Белорусской академии). Понятно, что ни кандидатура Дурново, ни кандидатура Л. В. Щербы не проходят, избранным оказывается Н. С. Державин, креатура большевиков (Перченок 1991). Звание члена-корреспондента никакой защитой больше не служит, скорее оно оказывается знаком беды.

Беда не заставляет себя долго ждать. Правда, еще три года Дурново перебивается в Москве, существуя на мизерную академическую пенсию и нерегулярные заработки («Карманный чешско-русский словарь», статьи в зарубежных журналах, чтение одного курса для аспирантов в Научно-исследовательском институте языкознания). Тем временем чекистская террористическая машина работает без перебоев. Деятелей науки, промышленности, культуры усмиряют по разрядам, и в 1933 г. очередь доходит до филологов, преимущественно славистов. Н. Н. Дурново и его старший сын А. Н. Дурново (начинающий славист) были первыми жертвами. Поводом послужил оговор М. Н. Скачкова, знакомого Дурновых, арестованного по обви-

---

какого отношения к теории языка» (там же, 72). В этой травле принимал участие и пригласивший Дурново в Минск П. А. Бузук (там же, 73).

нению в участии в эсеровской организации и назвавшего Дурново «участником националистической организации, ведущей активную антисоветскую работу» вместе с М. Н. Сперанским, Г. А. Ильинским и М. С. Грушевским (Ашнин и Алпатов 1994, 12). В ночь на 28 декабря 1933 г. Н. Н. Дурново и А. Н. Дурново арестовали, через три дня 31 декабря была арестована Варвара Трубецкая, невеста А. Н. Дурново и племянница Н. С. Трубецкого, еще через несколько дней ее отец, брат Н. С. Трубецкого, В. С. Трубецкой.

Подбор первого эшелона арестованных не был случайным. Для начинающегося «дела славистов» ОГПУ выбрало евразийский сюжет. Этот сюжет, видимо, был среди давних заготовок чекистов, поскольку многие евразийцы были их агентами. Евразийцы во главе с Н. С. Трубецким не только формулировали существенно новое понимание судеб России, сохраняющее определенное значение и по сей день, но и вынашивали некоторые политические амбиции. Они пытались образовать политическую организацию, централизованную и конспиративную, занятую пропагандой своих идей, причем не только в эмиграции, но и в Совдепии, где должно было расти число их сторонников. Политические игры не были безобидными, ОГПУ за ними наблюдало и готово было при случае использовать. Одним из таких случаев и стало «дело славистов».

Ни Н. Н. Дурново, ни большинство других обвиняемых никакого отношения к евразийству не имело и евразийских идей не разделяло[4]. Подлинные убеждения никого, естественно, не

---

[4] Исключением, возможно, был А. Н. Дурново. У него при обыске была изъята записная книжка под названием «Мысли для себя» с выписками из евразийских сочинений. Как замечают Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов, эта книжка «была затем основным источником для формулировки в материалах дела „идейных основ“ „Российской национальной партии“» (Ашнин и Алпатов 1994, 13). Свидетельствуют ли эти выписки об усвоении евразийской идеологии или лишь отражают интерес молодого человека (А. Н. Дурново было 23 года) к новым историософским идеям, выяснить, конечно, невозможно.

Об отношении к евразийству Н. Н. Дурново будет сказано ниже. Вряд ли правы Ф. Д. Ашнин и В. М. Алпатов, полагая, что следователи по «делу славистов» были «явно не искушенным[и] в тонкостях евразийства» (там

интересовали. Подследственные обвинялись в создании антисоветской организации, которая ставила целью насильственное свержение советской власти, была связана с иностранными правительствами и зарубежными антисоветскими центрами и готова была на применение любых средств, включая террор. Идеологическая мотивация самостоятельной роли не играла и нужна была лишь для полноты картины. Техника получения нужных показаний была хорошо отработана в предыдущих процессах, и Дурново начал давать показания уже 6 января 1934 г., назвав целый ряд имен; часть из них была, видимо, подсказана следователями, во всяком случае в своих показаниях, написанных в Соловках и содержащих отказ от сделанных на следствии признаний, Дурново указывает, что «мне с самого начала было предъявлено обвинение в том, что я входил в организацию, возглавляемую Сперанским» (Робинсон и Петровский 1992, 78; Ашнин и Алпатов 1994, 109).

Следствие продолжалось недолго, и в конце марта появилось «Обвинительное заключение по спец. делу №2554». Привлеченные к делу обвинялись по 58-й статье в создании контрреволюционной организации Российская национальная партия «по прямым указаниям заграничного русского фашистского центра, возглавляемого князем Н. С. Трубецким, Якобсоном, Богатыревым и другими», основными линиями деятельности которой являлись «вербовка кадров для организации», «создание повстанческих ячеек и приобретение оружия для организации», «вредительство», «террор» (Ашнин и Алпатов 1994, 70—72).

же, 58). Во всяком случае о такой неискушенности никак не свидетельствует определение евразийства как «русского фашизма». Непонятно, почему авторы книги о «деле славистов» считают, что «Н. С. Трубецкой всегда был противником фашизма» (там же). В 1920-е годы евразийская концепция идеократии, несомненно, ассоциировалась с итальянскими социальными экспериментами, о которых Трубецкой нигде отрицательно не отзывается. Параллели между идеологией этих экспериментов и евразийством не единичны и неслучайны: в обоих случаях исходным моментом теоретических построений является постулат, согласно которому демократия (европейский парламентаризм) себя полностью изжила. Позднее Трубецкой отрицательно относился к немецкому нацизму, но это уже другое время и другое явление.

Дело было представлено на рассмотрение коллегии ОГПУ, рассмотрено на заседании коллегии 29 марта 1934 г., и Н. Н. Дурново был приговорен к десяти годам заключения в исправтрудлагерь[5]. В апреле местом заключения были определены Соловки, куда он и был доставлен в середине мая того же года.

Сведения о пребывании Дурново на Соловках скудны. Он был помещен в «сторожевую» роту для инвалидов и поэтому на общие работы не выводился. В заключении он пытается заниматься научной работой, разбирая документы Соловецкого музея, пишет сербскохорватскую грамматику и пытается переслать ее в Москву, беспокоится о семье, слепнет, страдает от болей в сердце. Для историка более всего интересны обширные показания, которые Дурново дал в августе 1934 г., когда на Соловки приехал прокурор И. А. Акулов (публикацию этих показаний см. Робинсон и Петровский 1992, 77—82; Ашнин и Алпатов 1994, 108—118). В них он отказывается от показаний, данных на следствии, прежде всего относящихся к существованию контрреволюционной организации, и излагает свои настоящие политические взгляды — видимо, с определенными ограничениями, налагаемыми жанром документа. Он пишет: «К идее коммунизма и принудительного коллективизма я отно-

---

[5] В части, относящейся непосредственно к Н. Н. Дурново, обвинительное заключение гласило: «1) Входил в состав центра контрреволюционной организации „Российская национальная партия“. 2) Был связан с руководителями русского национал-фашистского центра за границей — князем Трубецким Н. С. и Якобсоном, от которых получал директивные указания по работе националистических организаций в СССР. 3) За время своего приезда из-за границы привез полученную им от Трубецкого Н. С. нелегальную евразийскую литературу, в частности, сборник Трубецкого „К проблеме русского самопознания“. Распространял и популяризировал этот сборник среди участников организации и лиц, намеченных к вербовке. 4) Являлся инициатором созыва совещания участников организации по вопросам практической контрреволюционной деятельности. 5) Поддерживал связь с французскими интервенционистскими кругами в лице проф. Мазона. 6) Поддерживал связь с Чехословацкой миссией в Москве и через нее осуществлял связи с Якобсоном, информируя его о политическом положении в Советском Союзе, т. е. в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-4, 58-11 УК РСФСР. Виновным себя признал полностью» (Ашнин и Алпатов 1994, 74).

сился отрицательно; но не менее отрицательно относился и к фашизму, не говоря уже о той форме, в какую он вылился в Германии. В то же время, однако, я признаю, что те формы государственного строя — абсолютизм, сословная монархия или республика, демократическая монархия или республика, какие существовали до окончания войны, являются формами отжившими, на что указывают перманентные правительственные кризисы во всех парламентских странах». Ни капитализм, ни коммунизм не представляются Дурново приемлемым социальным строем, «[а] возможно ли что-нибудь третье, я не знаю» (Робинсон и Петровский 1992, 78; Ашнин и Алпатов 1994, 109—110).

Эти взгляды определяют отношение Дурново к евразийству. Он с самого начала говорит, что евразийскую теорию Трубецкого полностью не разделяет, а «из его политической программы» ценит «только критическую часть». Не разделяет Дурново прежде всего концепцию идеократии (см. Трубецкой 1995, 428—435). «Примерами такого нового строя, — пишет Дурново, — является, с одной стороны, Советский Союз, с другой — фашистская Италия. По этому типу Трубецкой хочет построить и будущую конституцию Евразии. В Евразии должна установиться диктатура определенной партии; все дети и юношество будут воспитываться в государственных школах, где в них будет внедряться только одна идеология правящей партии. Наука, литература, искусство должны подчиняться директивам партии, другая идеология не должна допускаться ‹…› Насколько его критика аристократического строя мне казалась меткой, настолько положительная часть его программы меня не удовлетворяла и производила на меня, как на ученого, дорожащего свободой мысли, жуткое впечатление» (Робинсон и Петровский 1992, 79; Ашнин и Алпатов 1994, 112—114). Конфликт Дурново с Трубецким описан здесь, видимо, достаточно точно. Разделяя с Трубецким исходное для евразийства переживание заката Европы (ср. Трубецкой 1995, 764), Дурново не готов принять предлагавшийся евразийцами новый порядок мира, реальный опыт которого Дурново получил при коммунистическом режиме; этот опыт приводит его в ужас.

Показания, данные в Соловках, облегчили, вероятно, совесть Дурново, но, естественно, не облегчили его участи. В доклад-

ной прокурора было сказано, что «Соловки на его убеждения не повлияли» и что он «связь с закордонными кругами евразийцев подтвердил» (Ашнин и Алпатов 1994, 119—120), и Дурново был оставлен отбывать наказание на Соловках. В 1937 г. дела заключенных и сосланных в предшествующий период пересматривались с целью ужесточения наказания, новых сроков, расстрелов. Н. Н. Дурново был приговорен к расстрелу особой тройкой УНКВД 9 октября 1937 г., 27 октября приговор был приведен в исполнение (там же, 133—134). 5 января 1938 г. был расстрелян в Ташкенте сын Николая Николаевича Андрей Николаевич Дурново. В том же году был арестован и расстрелян и младший сын ученого Евгений (там же, 136, 139). Коммунистические палачи истребили всех, кого могли, и надеялись, что не оставили в этом мире не только людей, но и следа от них. Но Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им.

* * *

Н. Н. Дурново остался в славянской филологии весомо и бесспорно, его идеи и поставленные им проблемы принадлежат к основным достижениям восточнославянской диалектологии, истории славянских языков, русской грамматики, истории древнерусской литературы. Его работы продолжают быть нужными и читаемыми не только как источники для истории славянского языкознания, но и как необходимое пособие в каждодневной работе слависта. Это понятно, поскольку Дурново был открыт для новых идей, усваивал их критически и плодотворно, и эта интеллектуальная подвижность сообщает его трудам притягательную силу живой науки.

Для лингвистов Пражского лингвистического кружка Н. Н. Дурново был старшим коллегой, принадлежавшим скорее поколению их учителей, и, поскольку структурализм в свои юные годы был воинствен, пражцы с этим поколением воевали. Достаточно взглянуть на письма Н. С. Трубецкого Р. О. Якобсону, чтобы увидеть, какую напряженную неприязнь испытывали новаторы языкознания к приверженцам традиционных лингвистических методов, прежде всего к апологетам исторического метода. Трубецкой планировал кампанию против старшего по-

коления филологов как военную операцию. Знаменательно, что Дурново в число этих врагов не входил. Напротив, у пионеров структурализма он был одним из главных собеседников, одновременно восприимчивым и критически вдумчивым. Если формально Дурново и не был членом Пражского лингвистического кружка, он был все же автором одной из частей Пражских тезисов (а именно, четвертого — см. Кайперт 1999; ср. ниже), и это побуждает рассматривать его как одного из основоположников современного славянского языкознания.

Дурново был в полной мере в курсе современного ему развития языкознания, хорошо понимал проблемы, обусловившие появление структурализма, и ни в малой степени не отрицал возможности структурных исследований. Однако Дурново обладал куда большим опытом конкретных диалектологических и историко-лингвистических исследований, чем молодые новаторы, слишком большим интересом к языковому узусу в его социальном и историческом варьировании, чтобы ограничить свои интересы исключительно «внутренним» изучением языка. История языка не была для него хаосом, убегающим от всякого системного описания, но динамической системой, которая и должна изучаться в своем системном качестве. Сказывались ли в подобном подходе принципы, усвоенные Дурново у его московских учителей (прежде всего Ф. Ф. Фортунатова), или знакомство с современной ему немецкой философией истории и культуры, трудно сказать однозначно. Бесспорно, однако, что Дурново понимал систему языка иным, нежели Соссюр, образом, не как множество элементов, упорядоченных исключительно своими отношениями друг к другу, но как коммуникативный механизм, выполняющий «внешние» — социальные и культурные — функции.

Откликаясь на концепцию Соссюра, Дурново в 1927 г. писал:

> В последнее время некоторые языковеды придерживаются отрицательной точки зрения в отношении чисто исторического исследования языка. Они говорят, что основной целью научного языкового исследования является познание системы языка в целом. Этого же якобы можно достичь лишь при помощи синхронического, а ни в коем случае диахронического изучения языка, поскольку каждый

язык только с синхронической точки зрения является целым, все члены которого находятся в тесной взаимосвязи и образуют одну реальную систему; изменения же, возникающие в языке с течением времени, не являются сами по себе изменениями языковой системы, а лишь отдельными фактами, часто случайными и не находящимися в какой-либо связи друг с другом (Дурново 1969, 10).

Изложив основной постулат соссюровской концепции, Дурново продолжает:

Я убежден, что эти языковеды правы, когда они говорят о значении и цели научного синхронического языкового исследования, но я решительно не могу согласиться с их взглядом на сущность исторического развития языка; они представляют себе это развитие как ряд изменений, которые в то время, как нам кажется, что они касаются часто только единичных языковых фактов, все же неизбежно связаны со всей языковой системой и обусловлены этой системой. Поэтому история языка является не наукой об отдельных сепаратных изменениях в языке, а наукой об изменении самого языка как системы и является в науке о языке не менее важной частью, чем синхроническое изучение языка, поскольку они одинаково оперируют с языковой системой как целым (там же).

К пониманию истории языка как структурной динамики Дурново, видимо, приходит постепенно. Это понимание он формулирует как ответ на соссюровскую дихотомию синхронии и диахронии, обобщающий его опыт работы с диалектным и историческим материалом. Основную роль, надо думать, сыграли здесь многолетние диалектологические разыскания Дурново, в процессе которых и формировалось его представление о диалекте как системе и о соотношении диалектов как соотношении систем. Проекция диалектных отношений на историческую ось закономерно приводит к концепции лингвистического развития как преобразований одной системы в другую. Подобное понимание отчетливо сказывается, например, в проводимом Дурново различении переходных и смешанных говоров. В введении к «Опыту диалектологической карты русского языка в Европе», написанном Дурново совместно с Н. Н. Соколовым и Д. Н. Ушаковым, говорится:

В смешанных говорах влияние другого наречия выражается в простых заимствованиях отдельных слов или даже форм, но не изме-

> няет звукового строя говора. Смешанным в той или иной степени является всякий говор, переходным же далеко не всякий. В переходных — изменения звуковой стороны, возникшие под влиянием другого наречия, носят закономерный характер, так как в них заимствования из другого наречия послужили образцом для переработки звукового строя, иначе говоря, проведены в качестве фонетического закона по всему говору (т. е. по всем соответствующим случаям). Надо иметь в виду, что в результате таких фонетических изменений, какие происходят в переходном говоре, только случайно могли бы получиться фонетические черты вполне тождественные с чертами наречия, послужившего образцом для подражания; в действительности переходные говоры обыкновенно представляют отличия от тех говоров, к переходу в который они, так сказать, стремятся, между прочим именно в тех явлениях, которые возникли в них в силу подражания. Так, например, аканье переходных в.-р. говоров с с.-в.-р. основой отличается от ю.-в.-р. аканья, под влиянием которого оно возникло. Таким образом, переходный говор представляет собою третий, новый тип говора по сравнению с теми двумя, из которых он образовался (Дурново, Соколов, Ушаков 1915, 1—2).

Эту аргументацию Дурново повторяет и в позднейших своих работах (ср. Дурново 1918, 6; Дурново 1924, 73—74).

Можно видеть, что, хотя Дурново и сохраняет младограмматический дискурс, его занимают преобразования системного характера: разграничиваются именно случайные изменения (заимствование отдельных элементов) от изменений системных, преобразующих звуковой строй и создающих новые отношения между элементами языка, — именно взаимодействие элементов внутри системы порождает «новый тип говора», так что происхождение элемента (которое преимущественно интересовало традиционную историю языка) перестает определять его функциональный статус и быть основным предметом внимания. В конечном счете именно этот — системный — подход лежит в основании диалектологических трудов Дурново, лишь отчасти сказываясь в его ранних работах (таких, как монографическое описание говора Парфенок Рузского уезда, — Дурново 1900—1903, — первое описание такого рода в русской диалектологии), но вполне проявляясь в поздних обобщающих исследованиях (например, в «Очерке истории русского языка» — Дурново 1924).

Вместе с тем для Дурново с самого начала были важны не только преобразования системы как таковые, но и те «внешние» условия, в которых они происходили и с которыми они были так или иначе связаны. Так, скажем, в рассуждении о переходных говорах читаем:

> Возникновение переходных говоров, вызываемое влиянием одних говоров на другие, возможно в широком размере лишь при определенном культурном (образовательном, социальном, политическом) превосходстве одной части населения над другою. Понятно отсюда, что распространение переходных говоров в данном месте и в данный момент возможно лишь в одном направлении (от наречия более сильного в указанном отношении населения), и для изменения направления, для возникновения обратного влияния необходимо решительное изменение культурных отношений (Дурново, Соколов, Ушаков 1915, 2).

Таким образом, изучая диалектный узус, Дурново анализировал его в контексте культурных и социальных связей носителей языка (отдельные замечания о социокультурных параметрах функционирования говора разбросаны и в его конкретных диалектологических работах). Системность с его точки зрения не означала единственности имманентного подхода, а существование внешних факторов изменения не противоречило системности узуса.

Эти воззрения на историю языка служат отправным моментом и для собственно историко-лингвистических работ Дурново, написанных в основном в 1920-е годы. Наиболее показательным в теоретическом отношении исследованием этого периода является доклад Дурново на первом съезде славянских филологов в Праге в 1929 г. «К вопросу о времени распадения общеславянского языка» (Дурново 1931). В время пребывания в Чехословакии Дурново находится в тесном общении с Н. С. Трубецким и Р. О. Якобсоном, и их работы по истории славянских языков несомненно сказываются на постановке проблемы, разбираемой в этом докладе. Решает ее, однако, Дурново в соответствии со своими собственными установками. Он приводит мнение Трубецкого о том, что временем распадения общеславянского языка является эпоха падения редуцированных, и задается во-

просом, что именно должно означать это — поддерживаемое им — суждение.

Дурново начинает с перечисления тех различий между славянскими диалектами, возникновение которых может быть отнесено к времени до падения редуцированных. Он не ограничивается, однако, замечанием, что «славянские диалекты до середины X в. различались не больше, чем диалекты любого нынешнего языка более или менее значительного народа, во всяком случае не больше, чем нынешние диалекты великорусского или украинского или польского или сербохорватского языка» (Дурново 1931, 521). Те изменения «общеславянского достояния», которые являются общими для нескольких славянских языков и «могут быть датированы эпохой до падения глухих», возникают в разных славянских наречиях не независимо, они вызваны общими тенденциями и осуществляются в рамках одной системы. К таким изменениям Дурново относит эволюцию сочетаний *dj*, *tj* в палатальные согласные, устранение сочетаний *or*, *ol*, деназализацию носовых, развитие «*g* в *г*, откуда позднее *h*» и т. д. (там же, 524 / Дурново 2000, 635). Дурново тем самым связывает «внутрисистемность» (т. е. реализацию в рамках единой системы) данных инноваций с их общностью для нескольких славянских наречий (т. е. диалектов общеславянского, развившихся позднее в отдельные языки). После падения и прояснения редуцированных развиваются инновации, невозможные в рамках единой системы и вместе с тем отграничивающие отдельные славянские языки. К ним Дурново, в частности, относит «различный характер ударения ‹...›, этимологическое ‹читай: фонологическое› различение долгих и кратких гласных или долгих и кратких согласных, различение и неразличение по качеству ударяемых и неударяемых гласных, наличие или отсутствие этимологически различаемых твердых и мягких вариантов согласных, зависимость или независимость качества гласных от соседних согласных или от гласных соседних слогов и т. п.» (там же, 521/632). Отсюда вывод: «Все названные различия свидетельствуют о полной коренной перестройке о.-сл. звуковой системы, следовательно, о полном разрыве между диалектами о.-сл. языка и образовании самостоятельных славянских языков» (там же, 521—522/632). Таким образом, характер

инновации в отношении к системе оказывается для Дурново обстоятельством, определяющим ее место в исторической динамике.

Здесь вновь стоит отметить, что развитие системы языка Дурново соотносит с социально-историческими параметрами динамики узуса. Говоря о единстве общеславянского вплоть до эпохи падения редуцированных, Дурново указывает, что лингвистическое единство должно поддерживаться «единством политическим и единством культурным» (там же, 525/636). О политическом факторе Дурново пишет в связи с Великой Моравией, объединявшей западных и южных славян, и в связи с державой «Святослава Русского со столицей в Преславе» (там же). Дурново полагает, что «[с]ильнее и глубже [были] объединительные тенденции и факторы в области культуры» (там же). Определяющее значение имела здесь, по мнению Дурново, кирилло-мефодиевская традиция и существование у славян общего литературного языка как части этой традиции. Дурново пишет:

> Константин и Мефодий, не знающие другого славянского языка, кроме языка славян солунских, едут смело в Моравию и успешно выполняют свою миссию. Мало-по-малу их язык становится не только церковным, но и литературным языком всего славянского мира: в конце X и в XI в. на нем пишут, читают, проповедуют и служат и в Новгороде и в Киеве и в Преславе и в Охриде и в Велеграде и на Сазаве ‹…› Единство литературного языка само по себе еще не свидетельствует о единстве языка живого, но во всяком случае распространение старославянского литературного языка во всем славянском мире при неблагоприятной политической ситуации легче всего находит себе объяснение в общепонятности этого языка и в единстве славянского живого языка; в то же время единство славянского литературного языка было тем фактором, который должен был способствовать сохранению единства разговорного общеславянского языка, если оно было в то время, когда старославянский стал единым литературным языком всего славянства (там же, 526/637).

Как можно видеть, Дурново достаточно четко отграничивает историю разговорного языка как системы от внешних факторов, влияющих на динамику этой системы. Однако, разграничивая, он не отсекает, т. е. не стремится ограничить проблематику

истории языка чисто имманентным анализом. На этом подходе основаны два обобщающих курса, опубликованные Дурново в 1920-х годах: «Очерк истории русского языка» (Дурново 1924) и «Введение в историю русского языка» (Брно, 1927; см. Дурново 1969). Конечно, их синтетический характер в существенной мере обусловлен тем, что они воспроизводят курсы, читавшиеся Дурново в университетах: Очерк — тот курс, который Дурново читал в Харьковском университете (литографированный курс 1914 г., в издании 1924 г. подвергшийся существенной переработке), Введение — тот курс, который Дурново читал в 1926 г. в Брно[6]. Тем не менее вряд ли все сводится к дидактической задаче. Для Дурново речь идет не только о порядке изложения, разнородного материала, но и о нахождении закономерных связей разнородных явлений: диалектного членения и социально-политических процессов, культурной ориентации и языкового поведения, религиозных установок и характера эволюции литературного языка.

При таком подходе к лингвистическому анализу вполне понятным был интерес Дурново к истории литературного языка, первоначально, видимо, возникший в контексте традиционной критики древних памятников письменности как свидетельств истории разговорного языка. Если взглянуть на то, как использовались памятники письменности в работах по истории русского языка в конце XIX — начале XX в., т. е. до Дурново (в частности, в таких классических трудах, как «Лекции по истории русского языка» А. И. Соболевского (Соболевский 1907) или «Очерк древнейшего периода истории русского языка» А. А. Шахматова (Шахматов 1915)), становится очевидной

---

[6] Собственно, издание отражало лишь первую часть читавшегося курса, в котором давался обзор источников истории русского языка. Оно планировалось как первый том двухтомника. Второй том должен был «содержать методологические замечания и объяснения некоторых явлений так называемой праславянской эпохи, относительно которых мое мнение отличается от мнений других славистов, а также историю развития церковнославянского языка русской редакции в XI и XII вв.» (Дурново 1969, 8). Второй том издан не был и до нас ни в каком виде не дошел. Первый том был переиздан в 1969 г. и по сей день служит незаменимым пособием для филолога-русиста.

методологическая ущербность существовавшей практики. Из рукописей извлекались отдельные примеры, в написании которых предположительно отражалось реальное произношение писцов, и при этом в качестве исходного и не обсуждаемого постулата считалось, что писец рабски воспроизводит свой оригинал, время от времени не справляясь со своей задачей и делая ляпсусы. Эти-то ляпсусы, когда усердный копиист, забывшись, записал свою речь, и отлавливает историк языка, отбрасывая как ненужный мусор многие листы ничего не говорящего текста. Письменный язык выступает, таким образом, как источник атомарных фактов, так что самая мысль о какой-либо системности оказывается полностью чуждой этому направлению лингвистического анализа.

Именно этот подход воспринимается Дурново как глубоко неадекватный, не позволяющий отделить пшеницу от плевел, т. е. оценить значимость тех фактов, на поиски которых было затрачено столько энергии. Эта значимость может быть определена только в контексте всей рукописи, рассмотренной как реализация системы, на которой основывался данный писец. Системность в случае памятников книжного письма специфична, это не системность разговорного языка, которой с теми или иными оговорками может быть приписан атрибут спонтанности, а системность, отрефлектированная как норма, т. е. как последовательная реализация представлений пишущего о правильном узусе. «[П]ри анализе старинных памятников со стороны их правописания и языка, — пишет Дурново, — первой задачей исследователя является определение норм литературного языка и правописания, какими руководились их писцы. Без этого нельзя составить понятие и о чертах живого некнижного языка писцов, отражающихся на написаниях памятников» (Дурново 1933, 48 / 2000, 647).

В этой перспективе встает проблема определения того, как формируется норма «литературного» языка, каковы ее составляющие, какие принципы лежат в основе присущей ей упорядоченности. Именно игнорирование этой проблемы составляло, на взгляд Дурново, фундаментальный недостаток в трудах его предшественников, с критики которых он начинает свою классическую работу «Славянское правописание X—XII вв.»: «При

суждении о языке прошлых эпох по письменным памятникам исследователи часто недостаточно учитывают роль правописания и орфографических навыков писцов, а также принципиальное различие между языком книжным и живыми говорами писцов» (Дурново 1933, 45 / 2000, 644). И далее Дурново приводит характерные суждения «самых видных исследователей» (В. Н. Щепкина, А. А. Шахматова, В. В. Виноградова), указывающие на непонимание ими данной проблематики [7].

В чем же состояло это непонимание?

> Нередко в работах, посвященных анализу правописания старинных памятников языка, — пишет Дурново, — все написания памятника сводятся к двум источникам: написаниям оригинала и передаче живого произношения писца. Несомненно, такой подход ошибочен. Как правило, писцы вообще не стремятся к передаче своего личного произношения. Это видно из того, что в любом старинном тексте ряд особенностей произношения писца проскальзывает только в виде немногих ошибок против принятого писцом правописания. Не менее ошибочно думать, что сколько-нибудь грамотные писцы стремились к точной передаче написаний своих непосредственных оригиналов (там же, 45/644).

Дурново указывает, каковы были источники той нормы, которой следовали восточнославянские писцы: «Анализ правописания русских рукописей XI и XII в. привел меня к выводу, что бóльшая часть русских писцов в своем правописании руководилась не столько написаниями своих непосредственных оригиналов и своим живым произношением, сколько усвоенной ими традиционной орфографией и особым книжным или церковным произношением» (Дурново 1924—1927, IV, 73 / 2000, 392).

---

[7] Нельзя сказать, что работы Дурново радикально исправили ситуацию. Исследования восточнославянских рукописей, игнорирующие специфику норм книжного языка, продолжают появляться и по сей день, и неправомерные суждения, которые критиковал Дурново, повторяются вновь и вновь. Можно отметить даже, что и сам Дурново не во всех случаях избегал тех ошибок, которые ясно видел у других исследователей. Однако методологические основы лингвистического анализа письменных памятников были им созданы. Они сохраняют свое значение и в настоящее время, и именно это делает столь важным переиздание трудов Дурново (часто труднодоступных) в данной области.

Древними восточнославянскими рукописями Дурново занялся в 1920-е годы, когда у него не осталось возможности преподавать и ездить в диалектологические экспедиции. Об «условиях, чрезвычайно неблагоприятных для научных занятий», Дурново упоминал уже в предисловии ко второму выпуску «Диалектологических разысканий» (Дурново 1918, 7), и в начале двадцатых годов положение существенно не улучшилось. В этот период Дурново проделал огромную работу, обследовав «бóльшую часть рукописей московских рукописных собраний, которые можно относить к XI и первой половине XII в.» (Дурново 1924—1927, IV, 73 / 2000, 392). Данные, собранные тогда Дурново и обобщенные им в статье «Русские рукописи XI и XII вв., как памятники старославянского языка» (Дурново 1924—1927, IV—VI), больше напоминающей напечатанную по частям монографию, до сих пор остаются наиболее полными и достоверными для многих рукописей [8]. Как тщательность анализа, так и его направленность были вполне новаторскими, а ряд конкретных проблем истории языка был по существу поставлен впервые (например, об условиях различения є и ѥ в славянской письменности, о характере неразличения ѣ и є). Последующая разработка этих проблем (см., например, работы: Лант 1949; Успенский 1987; Живов 1984) основывалась на результатах, полученных и осмысленных Дурново.

Как видно из названия обсуждаемой работы, Дурново первоначально ставил перед собой задачу привлечь данные восточнославянских рукописей для изучения старославянского языка, поскольку, по его мнению, «русские рукописи, восходящие к ю.-сл. орфографической традиции первой половины XI в., име-

---

[8] Ряд рукописей, исследованных Дурново, был впоследствии издан, снабжен указателями и наново обследован. К их числу относится Изборник 1073 г., Изборник 1076 г., Синайский патерик, Пандекты Антиоха, Архангельское евангелие, Мстиславово евангелие, Успенский сборник (см. данные об изданиях и библиографию в изд.: Сводный каталог 1984; для Архангельского евангелия — Архангельское евангелие 1997; для Пандектов Антиоха — Поповски 1989). Ряд текстов, однако, остается неизданным, к ним относится Типографский устав, Типографское евангелие, Устав Патриаршей библиотеки (ГИМ, Син. 330).

ют большое значение, помогая судить и о самом ст.-сл. языке и об эволюции его у южных славян в XI и XII вв. с бо́льшей ясностью, чем это можно сделать, пользуясь памятниками только ю.-сл. письма» (Дурново 1924—1927, IV, 73 / 2000, 392). Выводов о старославянском языке в статье тем не менее нет, возможно, потому, что она, видимо, осталась неоконченной[9]. Очевидно вместе с тем, что эта заявленная тема отступает по ходу изложения на второй план. Она уступает место проблемам, относящимся к собственно восточнославянскому развитию: тому, из каких источников формировалась правописная норма восточнославянского извода церковнославянского языка, в каком отношении находилась она к южнославянским образцам и к живым диалектам восточных славян, до какой степени зависела она от типа воспроизводимого текста и т. п. Дурново, таким образом, обращается, ограничиваясь, правда, орфографией, к развитию книжного («литературного») языка восточных славян (церковнославянского) как самостоятельному феномену.

Фундаментальные вопросы, возникавшие в рамках этого исследования, обсуждаются Дурново в его уже упоминавшейся статье «Славянское правописание X—XII вв.» (Дурново 1933). Здесь он четко формулирует те принципы, на которых основывалось освоение церковнославянского языка у восточных славян — во всяком случае в том, что касается орфографической нормы. Дурново полагал, что «[с]тарославянский язык, представлявший сначала литературное оформление одного из македонских говоров, со стороны своего произношения ‹…› всю-

---

[9] Во второй части этой статьи Дурново перечисляет ставящиеся им вопросы, к числу которых относятся «3. где написаны те ю.-сл. рукописи, которые проникли на Русь в X и XI вв. и послужили оригиналами или образцами для русских писцов и 4. кто были те южные славяне, у которых русские учились старославянскому языку» (Дурново 1924—1927, V, 93 / 2000, 415). Он говорит при этом, что рассмотрение данных вопросов он откладывает «до конца своей работы», однако статья заканчивается разбором случаев смешения *ѣ* и *е*, так что к поставленным задачам он так до конца и не возвращается. Неисчерпанным остается и список параметров рассмотрения восточнославянских рукописей (Дурново 1924—1927, IV, 76 / 2000, 394—395), так что кажется, что большая часть работы либо осталась незавершенной, либо оказалась утерянной.

ду в той или другой мере приспособлялся к местному живому произношению. ‹…› Таким образом создались различавшиеся по произношению областные варианты или диалекты старославянского языка» (Дурново 1933, 48—49 / 2000, 648).

Приспособление состояло прежде всего в устранении таких звуков и звукосочетаний, которые противоречили фонологической системе данного местного диалекта. Не свойственные живому языку звуки и звукосочетания сохранялись лишь в редких случаях, «[б]óльшая часть их сводилась к особенностям в произношении иностранных слов» (там же, 51/650); Дурново приводит в качестве примера произношение заимствований из греческого с палатальными *ḱ*, *ǵ*, *x́* перед передними гласными и чтение греч. *φ* или лат. *f* как *f*. В основном же не свойственные местному диалекту звуки и звукосочетания заменялись их «этимологическими» коррелятами, т. е. теми звуками и звукосочетаниями, которые носители языка находили в соответствующих словах своего диалекта (например, в восточнославянском книжном произношении *žd* в соответствии с **dj* заменялось на *ž*). Это не значит, однако, что элиминировалось само противопоставление книжного и некнижного произношения, «литературное старославянское или церковнославянское произношение если не всюду, то по бóльшей части отличалось от живого народного произношения» (там же, 49/648). Отличия эти возникали главным образом за счет того, что «в соответствующих словах и формальных частях слов в литературном языке вместо одних звуков народного говора произносились другие звуки, имевшиеся в этом говоре в тех же положениях, но в других словах» (там же, 51/650); в качестве примера Дурново указывает на то, что «в русском книжном произношении принято было в XI—XII вв. ъ и ь читать как *о* и *е*, а ѣ как *е*» (там же)[10]. Таким образом,

[10] Точка зрения Дурново на книжное произношение ѣ, развивающая мнение, высказанное Шахматовым (Шахматов 1915, 162, 170), вряд ли оправдана. Приводимые Дурново данные могут интерпретироваться иным образом, тогда как ряд фактов, и прежде всего последовательное различение ѣ и є в большинстве древних рукописей, свидетельствуют о том, что ѣ и є противопоставлялись и в книжном произношении (см.: Успенский 1987, 108—115).

адаптация церковнославянского на восточнославянской почве начиналась в сфере орфоэпии (книжного произношения) и уже из этой сферы распространялась на правописание.

Эволюция церковнославянского правописания имела дело с уже сложившейся орфоэпической нормой и именно на нее была ориентирована. Этот процесс описывается следующим образом:

> Старославянское правописание, основанное на фонологическом принципе соответствия звуковой системе одного из южнославянских говоров, с течением времени стало применяться и там, где звуковая система местного говора была несколько иной; да и в том говоре, в котором создалось это правописание, звуковая система со временем тоже изменилась. Как мы видели, эти различия между звуковой системой говора, легшего в основу старославянского языка, и звуковыми системами других славянских говоров, представители которых усваивали старославянский язык в качестве литературного, вызвали появление местных литературных диалектов старославянского языка, звуковая система которых отличалась от его первоначальной звуковой системы, но не совпадала со звуковыми системами соответствующих живых местных говоров. Это отличие новых местных литературных диалектов старославянского языка от его первоначального типа вызвало и приспособление правописания к ним, а не непосредственно к тем живым говорам, на почве которых они возникли. Т. е. произношение, существовавшее в том или другом живом местном говоре, могло влиять на изменение норм правописания только в том случае, если оно становилось литературным для данной области. Само же живое произношение, поскольку оно не усваивалось литературным языком, могло отражаться на правописании писцов лишь в более или менее частных, в зависимости от их грамотности, ошибок (там же, 58/657—658).

Таким образом, правописание ориентировалось на книжное произношение и изменялось под его влиянием. Это изменение, однако, было постепенным, куда более постепенным, чем адаптация на орфоэпическом уровне. Скорость приспособления зависела от разных факторов, которые Дурново подробно не анализирует, хотя общий характер динамики правописания определен им вполне четко:

> Правописание, как везде, и у славян в X—XII вв. не сразу приспособлялось к звуковой системе местных литературных диалектов

старославянского языка. В течение известного времени оно продолжало сохранять традиционные написания, не оправдываемые звуковой системой местного литературного диалекта. К таким традиционным написаниям в части рукописей XI и XII в. принадлежат написания, сохраняющие этимологическое различение между **ѫ**, **ѭ**, **ѧ**, **ѩ** с одной стороны и буквами, передающими заменившие их в местном произношении неносовые гласные, с другой стороны (там же, 59/658) [11].

Традиционные, восходящие к старославянским оригиналам написания постепенно уступали место написаниям, согласным с местным книжным произношением, и именно так формировалась правописная норма восточнославянского извода церковнославянского языка.

Изучение правописания древних рукописей привело Дурново к новому осмыслению проблем литературного (книжного) языка. В литературном языке системность реализуется иным образом, чем в языке живом, она осуществляется как норма, и именно динамика нормы должна изучаться историками литературного языка. Динамика нормы обусловлена иными факторами, чем развитие разговорного языка, и Дурново, кажется, рассматривает этот процесс как равнодействующую, складывающуюся из опосредованного воздействия развития живого языка и культурно-языковой традиции. Сама эта традиция также не есть константа, располагающаяся в прошлом, но пересматриваемая

---

[11] Наиболее важный момент, которому Дурново вовсе не уделяет внимания, — это характер овладения книжным произношением, свойственным славянской книжной культуре. Книжное произношение усваивалось на Руси не столько в результате прямого подражания церковному чтению южнославянских книжников, сколько в результате обучения чтению по складам. Скажем, склады **бѫ** и **боу** читались одинаково, и именно это закрепляло произношение **ѫ** как [u] в восточнославянском книжном произношении. Точно так же одинаково читались склады **бъ** и **бо**, что и обусловливало книжное произношение **ъ** как [o]. Характер обучения чтению определял и существенные моменты формирования правописной нормы. Так, буквы **ѭ** и **ѩ** исчезают из восточнославянских рукописей много ранее, чем буква **ѫ**, и это, видимо, связано с тем, что **ѫ** имелся в обычном алфавите и поэтому выучивался при обучении чтению, тогда как йотированные юсы в алфавите отсутствовали и их употребление поддерживалось исключительно южнославянскими протографами.

и реформируемая преемственность. Характерно, что в 1930-е годы Дурново обращается к такой теме, как раскол и никоновская книжная справа, т. е. именно к процессам реформирования нормы книжного языка. Р. О. Якобсон писал Н. С. Трубецкому 20 июня 1931 г.: «Дурново написал статью о русском расколе. Он установил, что никакого никоновского исправления книг на деле не было, а просто Никон хотел ввести общероссийский канон, в основе которого положил почти без изменения украинские издания церковных книг. Это вызвало отпор» (Якобсон 1975, 291). Статья эта, к сожалению, до нас не дошла.

Мы не знаем, каковы были дальнейшие научные планы Дурново, как далеко он собирался двигаться в этом, тогда почти вовсе не развитом направлении: коммунистический режим уничтожил и самого ученого, и его архив. Одной проблемой, однако, Дурново успел заняться, а именно, определением статуса старославянского как литературного языка и вопросами дифференциации преемников старославянского — локальных изводов церковнославянского языка. Принципиальные вопросы были поставлены в статье «Sur le problème du vieux-slave» (Дурново 1929), напечатанной в первом томе пражских *Travaux*, открывавшихся Тезисами Пражского лингвистического кружка. Статьи первого тома давали развернутое обоснование тезисов, и работа Дурново соотносится с четвертым тезисом «Les problèmes actuels du slave d'église», авторство которого и может быть приписано Дурново (Кайперт 1999)[12]. Основные идеи состоят в том, что старославянский является общеславянским литературным

---

[12] Странным образом, статья Дурново, напечатанная в *Travaux*, выпала из оглавления этого тома. Поэтому, возможно, она оказалась пропущенной в библиографии работ Дурново, составленной Л. И. Почкай (Дурново 1969, 267—284), а в результате обойденной вниманием нескольких поколений славистов. Незамеченным оказалось и участие Дурново в составлении Пражских тезисов; сам ученый пишет об этом в письме Б. М. Ляпунову от 2 января 1930, говоря о «мыслях, изложенных в тезисах Пражского лингвистического кружка, предложенных съезду» (Робинсон и Петровский 1992, 75). На авторство Дурново и на соответствие четвертого тезиса его статье в *Travaux* и идеям, развитым в более поздних работах (Дурново 1931), обратил недавно внимание Г. Кайперт (Кайперт 1999).

языком; его развитие должно рассматриваться в соответствии с «принципами, управляющими историей литературных языков» (Тезисы 1929, 22). Старославянский распадается на ряд «литературных диалектов» (редакций), ни один из которых не совпадает с «живыми славянскими языками или диалектами, отражающимися в правописании текстов в ошибках и несистематических исключениях из принятых ‹в данной редакции› правил» (Дурново 1929, 141 / 2000, 696). Неоправданно рассматривать лишь один из этих диалектов как «правильный», а остальные — как отклонения от него (Тезисы 1929, 22). Каждый из диалектов, в том числе и болгарский, представляет собой результат взаимодействия усвоенной традиции, восходящей к свв. Кириллу и Мефодию, и местного диалекта, к которому данная традиция приспособляется. «Для понимания происхождения и состава старославянского» важно «реконструировать тот живой говор, который был положен Кириллом и Мефодием в основание созданного ими литературного языка» (Дурново 1929, 142 / 2000, 697); при решении этой задачи следует обратиться к глаголической нумерации, сочинению Храбра, азбучным акростихам и абецедариям (там же, 144—145/699). Вместе с тем актуальна задача изучения эволюции церковнославянского: от старославянского и среднему церковнославянскому («moyen slave d'église») в его различных диалектах и новому церковнославянскому («nouveau slave d'église») (там же, 142/697).

Более подробно эта проблематика обсуждается в статье «Мысли и предположения о происхождении старославянского языка и славянских алфавитов» (Дурново 1931). В младограмматической традиции, которая восходила к А. Лескину и к которой примыкал, в частности, Шахматов, старославянский рассматривался прежде всего как письменная фиксация одного из болгарских (или македонских) говоров (отсюда и именоваться он мог «староболгарским»). Именно этому пониманию Дурново противопоставляет концепцию старославянского как литературного языка:

> Свв. Кирилл и Мефодий своими переводами положили начало тому славянскому литературному языку, который в древнейшей известной нам его форме мы называем *старославянским*. Из определения его, как литературного, вытекает, что под этим термином

> следует понимать известную норму, которой стремились следовать писатели, переводчики и писцы, писавшие на этом языке, и которую нельзя отождествлять с их индивидуальным языком или живым говором. Старославянскому языку принадлежат только те из языковых черт, извлекаемых нами из его древнейших памятников, которые проводятся пишущими на нем, как *нормы*, с тою последовательностью, какую им дозволяет их грамотность ‹…› Из того же определения следует, что хотя в основе старославянского языка лежал живой говор, ‹…› мы не имеем права предполагать без достаточных оснований, что старославянский язык, каким мы его знаем, всеми своими чертами совпадал с тем или другим славянским языком или говором (Дурново 1931, 48—49 / 2000, 567).

В этот контекст Дурново помещает и историю отдельных славянских литературных языков:

> Являясь литературным языком разных славянских народов, старославянский язык представлял разные варианты в зависимости от различий в языке пользовавшихся им народов и с течением времени испытал всюду сложную эволюцию, значительно удалившую выросшие из него позднейшие литературные славянские языки, как например, церковнославянский язык болгарской, сербской, русской и чешскоморавской редакции и, наконец, русский литературный язык, от старославянского языка в его первоначальном виде (там же, 49).

Существенно, что Дурново говорит здесь об э в о л ю ц и и церковнославянского, т. е., в отличие от своих предшественников, рассматривает язык церковнославянской письменности как живую и развивающуюся систему. Эти мысли Дурново (развить их он не успел) перекликаются с типологией славянских литературных языков, которая была предложена Н. С. Трубецким в его известной работе 1927 г. «Общеславянский элемент в русской культуре» (Трубецкой 1995, 162—210), и отражают те дискуссии о проблемах литературных языков, которые шли в Пражском лингвистическом кружке и среди близких к нему лингвистов и нашли выражение в «Тезисах Пражского лингвистического кружка», в том числе и в тезисе, предложенном Дурново. Дурново оказался вполне восприимчив к новому направлению и вместе с тем обогатил его и новыми, часто более тонкими и нюансированными идеями, и конкретным анализом

обширного материала, остававшегося недоступным его младшим коллегам.

Диалектологические работы Дурново легли в основание всех последующих построений восточнославянской диалектологии, так что результаты его исследований оказались в полной мере освоенными, прошедшими тем путем зерна, который и есть подлинная награда ученого труда. До определенной степени это относится и к исследованиям Дурново по древнерусской литературе; не создав в этой области нового направления, они тем не менее не утратили своего значения: специалисты, занимающиеся теми же текстами или теми же темами, знают и ценят вклад Дурново в их изучение. Труды Дурново по истории славянских языков, и в особенности по истории церковнославянского, не были в той же мере восприняты славянской филологией. Хотя для определенного круга специалистов они стали исходным пунктом всей дальнейшей работы, заблуждения, которые он истреблял, продолжают мирно существовать и воспроизводиться в разнообразных исследованиях языка древней славянской письменности. Отчасти это связано с цензурой в науке сталинского периода: на Дурново не ссылались, а часто в силу этого и не читали. Отчасти, однако же, это объясняется именно тем, что статьи Дурново разбросаны по разным, порою трудно доступным изданиям, а его «Очерк» 1924 г. отсутствует во многих библиотеках. Эту длящуюся несправедливость и призвана исправить настоящая публикация.

Литература

Архангельское евангелие 1997 — Архангельское евангелие 1092 года: Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели / Изд. подгот. Л. П. Жуковская, Т. Л. Миронова. М.: Скрипторий, 1997.

Ашнин и Алпатов 1993 — *Ашнин Ф. Д.*, *Алпатов В. М.* Николай Николаевич Дурново // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 1993. Т. 52, № 4. С. 54—68.

Ашнин и Алпатов 1994 — *Ашнин Ф. Д.*, *Алпатов В. М.* «Дело славистов»: 30-е годы. М.: Наследие, 1994.

Дурново 1900—1903 — *Дурново Н. Н.* Описание говора деревни Парфенок Рузского у. Московской губ. // Рус. филол. вестник. 44 (1900). № 3—4. С. 153—216; 45 (1901). № 1—2. С. 227—268; 46 (1901).

№ 3—4. С. 129—151; 47 (1902). № 1—2. С. 119—151; 49 (1903). № 1—2. С. 297—321; 50 (1903). № 3—4. С. 64—147, 285—297.

Дурново 1915 — *Дурново Н. Н.* Материалы и исследования по старинной литературе. I. К истории Повести об Акире. М.: Синод. тип., 1915.

Дурново 1918 — *Дурново Н. Н.* Диалектологические разыскания в области великорусских говоров. Ч. I. Южновеликорусское наречие. Вып. 2. Б. м.: Тип. Шамординской женской пустыни, 1918.

Дурново 1924 — *Дурново Н. Н.* Очерк истории русского языка. М.; Л.: Гос. изд-во, 1924.

Дурново 1924—1927 — *Дурново Н. Н.* Русские рукописи XI и XII вв. как памятники старославянского языка // Јужнославенски филолог, IV (1924). С. 72—94; V (1925—1926). С. 93—117; VI (1926—1927). С. 11—64.

Дурново 1929 — *Durnovo N. N.* Sur le problème du vieux-slave // Mélanges linguistiques dediés au Premier Congrès des philologues slaves. Prague, 1929. P. 139—145. (Travaux du Cercle linguistique de Prague; I).

Дурново 1931 — *Дурново Н. Н.* К вопросу о времени распадения общеславянского языка // Sborník prací I. Sjezdu slovanskych filologů v Praze, 1929. Praha, 1931. С. 514—526.

Дурново 1933 — *Дурново Н. Н.* Славянское правописание X—XII вв. // Slavia. Roč. 12 (1933). Seš. 1—2. С. 45—82.

Дурново 1969 — *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. 2-е изд. М.: Наука, 1969.

Дурново 2000 — *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. М.: Языки рус. культуры, 2000.

Дурново, Соколов, Ушаков 1915 — Опыт диалектологической карты русского языка в Европе с прилож. очерка русской диалектологии / Сост. *Н. Н. Дурново*, *Н. Н. Соколов* и *Д. Н. Ушаков*. М.: Синод. тип., 1915. (Труды Московской диалектологической комиссии; Вып. 5).

Живов 1984 — *Живов В. М.* Правила и произношение в русском церковнославянском правописании XI—XIII века // Russian Linguistics. Vol. 8 (1984). № 3. С. 251—293.

Кайперт 1999 — *Keipert H.* Die Kirchenslavisch-These des Cercle linguistique de Prague // Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag / Hrsg. von E. Hansack, W. Koschmal, N. Nübler, R. Večerka. München: O. Sagner, 1999. S. 123—133. (Die Welt der Slaven; Sammelbände, 5. Bd.).

Лант 1949 — *Lunt H. G.* The Orthography of Eleventh Century Russian Manuscripts. University Microfilms. Ann Arbor, Michigan, 1949.

Перченок 1991 — *Перченок Ф. Ф.* Академия наук на «великом переломе» // Звенья: Ист. альм. Вып. 1. М.: Прогресс-Феникс-Atheneum, 1991. С. 163—235.

Поповски 1989 — *Popovski J.* The Pandects of Antiochus. Slavic Text in Transcription. — **Полата кънигописьнаꙗ.** № 23—24. January 1989.

Пуришкевич 1914 — *Пуришкевич В.* Материалы по вопросу о разложении современного русского университета. СПб.: Рус. Народный Союз им. Михаила Архангела, 1914.

Робинсон и Петровский 1992 — *Робинскон М. А.*, *Петровский Л. П.* Н. Н. Дурново и Н. С. Трубецкой: проблема евразийства в контексте «дела славистов» (по материалам ОГПУ — НКВД) // Славяноведение. 1992. № 4. С. 68—82.

Сводный каталог 1984 — Сводный каталог славяно-русских рукописных книг, хранящихся в СССР. XI—XIII вв. М., Наука, 1984.

Соболевский 1907 — *Соболевский А. И.* Лекции по истории русского языка. 4-е изд. М., 1907.

Сумникова 1995 — *Сумникова Т. А.* Николай Николаевич Дурново (штрихи к портрету) // Изв. АН. Сер. лит. и яз. 1995. Т. 54. № 5. С. 73—82.

Тезисы 1929 — Thèses [du Cercle linguistique de Prague] // Mélanges linguistiques dediés au Premier Congrès des philologues slaves. Prague, 1929. P. 5—29. (Travaux du Cercle linguistique de Prague; I).

Трубецкой 1995 — *Трубецкой Н. С.* История. Культура. Язык / Сост., подгот. текста и коммент. В. М. Живова. М.: Прогресс-Универс, 1995.

Успенский 1987 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка (XI—XVII вв.). München: O. Sagner, 1987.

Шахматов 1915 — *Шахматов А. А.* Очерк древнейшего периода истории русского языка. Пг., 1915. (Энциклопедия славянской филологии; Вып. XI, 1).

Якобсон 1975 — *Jakobson R. O.* (ed.). N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes / Prepared for publ. by R. Jakobson with the assist. of H. Baran, O. Ronen, and M. Taylor. The Hague; Paris: Mouton, 1975.

Указатель

Список сокращений

БАН	—	Библиотека Академии наук в Петербурге
ГИМ	—	Государственный исторический музей
РГАДА	—	Российский государственный архив древних актов
РГБ	—	Российская государственная библиотека
РНБ	—	Российская национальная библиотека

Виктор Маркович Живов

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ XI—XIII ВЕКА

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление обложки
А. Григорьева

Оригинал-макет подготовлен Л. Кисличенко

Художественный консультант Л. М. Панфилова

Подписано в печать 9.07.2006. Формат 60x90 $^{1}/_{16}$.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная.
Усл. печ. л. 19,5. Тираж 500. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Phone: **207-86-93**
E-mail: **Lrc@comtv.ru** Site: **http://www.lrc-press.ru**

*

Виктор Маркович Живов родился в Москве в 1945 г. В 1969 г. окончил филологический факультет Московского университета по отделению структурной и прикладной лингвистики. С 1969 по 1989 г. работал в Московском университете. Занимался теоретическим языкознанием и структурной типологией языков, в 1980 г. опубликовал книгу «Очерки по синтагматической фонологии». С середины 1970-х годов диапазон его интересов смещается в сторону русистики, славистики, истории русской и византийской культуры. В 1991 г. выходит его книга «Культурные конфликты в истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века», ее переработанный и расширенный вариант появляется затем в виде монографии «Язык и культура в России XVIII века» («Языки русской культуры», 1996). Проблематика языка и культуры исследуется также в его монографии «Очерки исторической морфологии русского языка XVII – XVIII веков» («Языки славянской культуры», 2004). Историко-культурным проблемам посвящены книги «Святость. Краткий словарь агиографических терминов» («Гнозис», 1994), «Разыскания в области истории и предыстории русской культуры» («Языки славянской культуры», 2002), «Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы» (Новое литературное обозрение, 2004). С 1989 г. работает в Институте русского языка РАН, в настоящее время возглавляет сектор истории русского литературного языка. С 1995 г. профессор Отделения славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли.